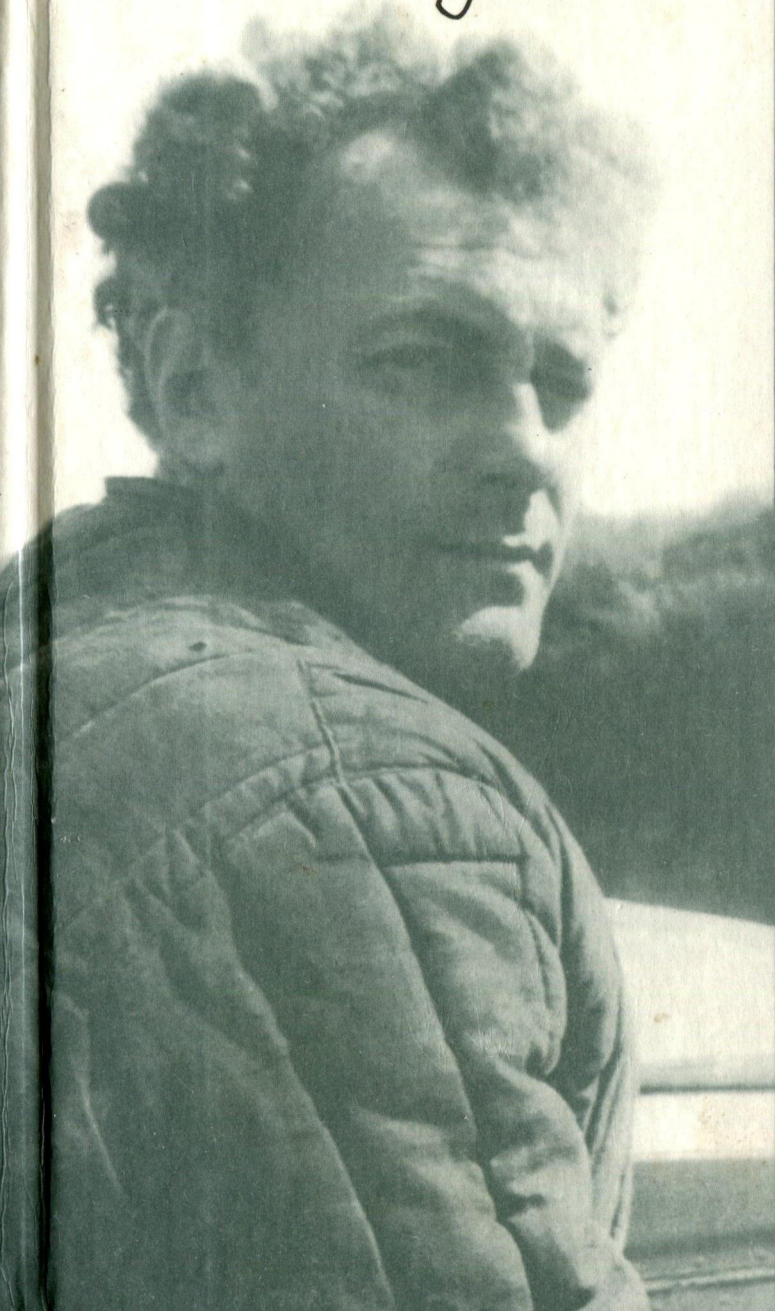


Шесть зим
и одно лето

Александр Коноплин





Александр КОНОТЛИН

ШЕСТЬ ЗИМ И ОДНО ЛЕТО

Роман



Ярославль
«Верхняя Волга»
2001

Коноплин А. В.
К64 Шесть зим и одно лето: Роман-хроника. —
Ярославль: Верхняя Волга, 2001. — 272 с.

ISBN 5-7415-0577-5

Роман «Шесть зим и одно лето» не столько о ГУЛАГе — о нем уже много написано — сколько о становлении личности в экстремальных условиях. Герой его Сергей Слонов, бывший фронтовик и солдат Отечественной, нашел в себе силы и мужество не сломаться. В конечном счете он победил, ибо вышел из большевистского ада не просто порядочным человеком, но еще и писателем.

В этой книге нет вымысла, все написанное выстрадано автором, а благодаря остроте сюжета читается с интересом.

К 4702010201 01
М139(03)—01

ББК 84Р7

© А. В. Коноплин, 2001

ISBN 5-7415-0577-5

Александр Коноплин родился в Ярославле 26 августа 1926 года.

Вместе с родителями много ездил по стране — у отца была работа, связанная с проектом «Большая Волга». В детстве Александр подолгу жил у деда-врача в городе Данилове, где очень рано пристрастился к чтению — в доме имелась большая библиотека.

Когда началась война, отец ушел добровольцем на фронт и вскоре погиб. Александр попал на фронт семнадцати лет, со школьной скамьи, осенью 1943 года. После войны продолжал службу, но в августе 1948 года был арестован контрразведкой СМЕРШ вместе со многими однополчанами. Просидел одиннадцать месяцев в одиночной камере, неоднократно попадал в карцер «за строптивость» — не хотел подписывать «липовые» протоколы. Затем военный трибунал приговорил его к десяти годам ИТЛ¹.

Сочинять Коноплин начал в одиночке Минской центральной тюрьмы — сначала стихи, затем прозу. Не имея бумаги, заучивал каждую строчку наизусть. На этапах, на пересылках «читал» по памяти эти «опусы» товарищам.

В лагере появилась бумага, и Коноплин продолжил начатое. Писать приходилось ночами, днем горбатился на лесоповале. Так рождался роман «Шесть зим и одно лето».

О своей лагерной одиссее он не только не жалеет, но считает все случившееся чуть ли не подарком судьбы. «Судьба уготовила мне суровые испытания, но и дала, в силу их, возможность повстречаться с интереснейшими людьми, — говорит автор. — Я находился в ГУЛАГе в те годы, когда там отбывали срок ученые, врачи, писатели, белоэмигранты, военные, соратники Ленина и Дзержинского, разведчики, бывшие солдаты, офицеры и генералы Отечественной войны».

¹ Исправительно-трудовые лагеря.

Роман «Шесть зим и одно лето» — это интересная и нужная книга. Здесь нет традиционных для подобной литературы «страшилок», каждое событие Коноплин осмысливает и приходит к убеждению, что репрессии, начиная с 1917 года, запланированы Лениным и внедрены в повседневность компартией Сталина — руками и безумством членов ЦК и их исполнителей — ВЧК-ГПУ-ОГПУ-МГБ.

Роман Александра Коноплина — это ярый протест против тоталитарного режима и в то же время это история становления личности в экстремальных условиях: как бы то ни было, ГУЛАГ родил писателя...

Печататься Коноплин начал с прозы о войне. В издательствах Москвы и Верхней Волги выходили его книги — повести и рассказы, получившие высокую оценку читателей. По одной повести киностудия им. Горького сняла цветной художественный фильм под названием «Собака», телевидение неоднократно экранизировало его произведения, рассказы и отрывки из романа «Время дождей» транслировались центральным и местным радио. Писатель и сейчас много ездит по России, встречается с людьми. В настоящее время он редактирует на общественных началах книгу памяти «Не предать забвению» — книгу о жертвах политических репрессий в Ярославской области. Шестой том этой книги готовится к выпуску. Память сердца не слабеет с годами.

Свидетельством тому — издание книги, которой Александр Викторович К. встречает свое семидесятилетие.

Владимир Кутузов

Часть
первая

СОЛДАТУШКИ—
БРАВЫ РЕБЯТУШКИ

Глава первая

ШАГИ

*И предал я сердце мое тому,
чтоб исследовать и испытать
мудростью все,
что делается под небом:
это тяжелое занятие дал Бог
сынам человеческим...*

Книга Екклезиаста, гл. 1, ст. 13

— Серега! — жаркий шепот в ночи. — Очнись!

Это мой кореш Мишка Денисов — старший сержант. Он спит как раз подо мной, на нижних нарах. Он помощник командира огневого взвода и одновременно командир первого орудийного расчета, я — второго, третьим командует сержант Полосин, четвертым сержант Шевченко, но их места у противоположной стороны казармы, возле расчетов. Денисов старше меня на год, Полосин на год моложе, Шевченко — «годок». Когда я пришел на батарею, Денисов был уже сержантом, а когда появился Полосин, мы с Шевченко имели по две «лычки» на погонах.

— Сержант Слонов! — орет Мишка. — Подъем!

— Чего ты? — не выдерживаю я. — Людей разбудишь.

— Да они не спят, — оправдывается Мишка и подвигается, давая место подле себя.

Некоторое время мы молчим, прислушиваясь к звукам, вот уже третью ночь подряд будоражащим полк. В основном это шаги. Реже — шум борьбы и крики. Но шаги не просто торопящихся в галюн полусонных солдат, а другие — шаги людей, обутых не в кирзовые, как мы, на резиновом ходу, а в яловые сапоги с кожаной подошвой и металлическими подковками — на резине подковки не держатся. Эти-то подковки и производят на чугунных ступеньках этакий странный перестук. Начинается он, как правило, в половине первого ночи и длится час-полтора. Пушкинские казармы на Логойском тракте под Минском вовсе не пострадали во время войны, и наш полк разместился даже с некоторым комфортом — прибывший вместе с нами из Германии двести шестой пока что ютится в землянках. У нас большие застекленные окна, крыша под железом и крепкие чугунные лестницы с широкими перилами. Есть даже канализация и водяное отопление, которые при немцах, говорят, работали, у нас же постоянно ремонтируются. Топимся мы наполовину ворованным углем: в десяти километрах от Минска проходит узкоколейка на Логойск, вдоль насыпи лежат горы каменного угля для городской ТЭЦ. С вывозкой угля электростанция не справляется — нет машин, зато у нас их навалом. Грузят уголь ночами и на его добычу посылают новобранцев вроде моего Лисейчикова или Сапижака. Послать меня или моего друга Денисова, конечно, можно, но что из этого получится? Война научила нас не только воевать, но и сачковать...

— Слышь, Серьга, это опять они, — говорит Мишка.

Я чувствую, как напряглось его тело под тонким байковым одеялом. Неужто, в самом деле, у нас в полку завелась контра? Мишка молчит, и я слышу дыхание кого-то третьего над своим ухом.

— Вчера из второго дивизиона двенадцать человек взяли, — говорит этот третий, — сперва двух, потом... обратно двух, а к утру и остальных.

— И позавчера.

Это еще один голос, словно дуновение ветерка. И чего они все дрейфят? Ведь не за ними же пришли!

Будто подслушав мои мысли, Денисов говорит внушительно:

— Ты, Остапенко, панику не наводи. Берут из второго дивизиона, там половина под немцем побывала, проверить надо...

— Так проверяли же! Сколько можно? Как освободили из-под немца, так и проверяли. Тогда — СМЕРШ¹, а теперь неизвестно кто.

— Известно, — язвит кто-то, — ты на погоны глянь.

— Да не наше это дело! — повышает голос Мишка, но я вдруг понимаю, что он боится. Мишка Денисов, прошедший огни и воды!

— Мишк, — спрашиваю я, — чего ты их боишься?

— Чокнулся, что ли? — Денисов тянет одеяло на себя, забыв, что половина его подо мной. — Пускай виноватые в портки кладут, а мне ихние страхи — до лампочки.

Кто-то вздохнул, кто-то сказал невнятно «оно, конечно, само собой», кто-то закурил украдкой и полез, расталкивая других, на свое место, а я лег на спину и стал думать.

Третью или даже четвертую ночь к нашим казармам подъезжают грузовики, вдоль забора с колючкой выстраивается редкая цепь солдат в фуражках с красными околышами и какие-то люди, гремя подковками, поднимаются на третий этаж в распоряжение второго артдивизиона и уводят наших товарищей. Многие из тех, что исчезли накануне, не были ни львовянами, ни гродненцами, ни даже минчанами, а родились и выросли в центре России. И арестовывают не одних солдат. Недавно увели старшего лейтенанта Снегирева. Вечером он сдал дежурство лейтенанту Мячину и ушел домой, однако там не появился. Утром приходила его жена, но в распоряжение части ее уже не пустили. Стоя за проходной, она плакала. Потом ей сказали, что ее муж арестован органами контрразведки и теперь ей надлежит обращаться в другие инстанции. Однажды не явился на службу

¹ «Смерть шпионам» — военная контрразведка 1941—1945 гг.

капитан Вавилин. Сегодня утром младший лейтенант Алексеев из второй батареи передал Полосину письмо к родным и очень просил отослать его гражданской почтой, если с ним, Алексеевым, что-нибудь случится.

Аресты начались с одного, как мне вначале показалось, пустяка. Недели полторы назад тихой августовской ночью на дверях полковой столовой появилась карикатура: на бегущем во всю прыть слоне сидит товарищ Сталин и держит в руках удочку, на конце которой привязан клочок сена с надписью «коммунизм». На слоне написано слово «народ», а на Сталине — «правительство».

Плакатик с карикатурой первыми увидели трое: сменный повар Глаголев и два солдата, возвращавшихся с кухни в казарму после чистки картошки. Поставили, посмеялись и... пошли дальше. Арестован был в ту ночь только один солдат, по фамилии Трешкин. После дежурства на кухне он страдал расстройством желудка, а поскольку дневальные на своих этажах дристунов в туалет не пускали, ему приходилось всякий раз бегать через весь военный городок. И вот, пробегая в очередной раз мимо столовой, Трешкин увидел плакат, но ни удивиться, ни возмутиться не успел, как был схвачен двумя офицерами и доставлен в контрразведку.

О случившемся начальство, надо полагать, было извещено в ту же ночь, партийный актив и комсорги батарей узнали об этом три дня спустя. По причине малограмотности Трешкина и отсутствия способностей к рисованию автором карикатуры его никто не считал, но не исключали, что именно он повесил тот плакатик на стену.

Поиски врагов народа начались уже на следующий день после ареста Трешкина. Первым был взят писарь техчасти Филатов, исполнявший обязанности полкового художника, и завклубом младший лейтенант Ракитин. Арестовали за несвоевременный донос и повара Глаголева, и двух солдат, случайно проболтавшихся, что видели тот плакатик первыми. Затем аресты перекинулись на личный состав артполка.

Интересно: кого возьмут сегодня? Выйти и посмот-

реть? Но у дверей опять стоит краснопогонник с автоматом. Крики «мне в галюн!» в расчет не принимаются.

— Не маленький, потерпишь.

Утром мы опять ищем ответа у своих командиров. Лейтенант Кукурузин молчит, младший лейтенант Хизов задумчиво смотрит на нас глазами навыкате и говорит буднично и спокойно:

— Значит, так: с нашего взвода десять человек на чистку матчасти, одного на кухню, остальных в распоряжение старшины батареи. А сейчас, после подъема, всех на физзарядку.

Он смотрит на часы. Издали мне видно, как дежурный по казарме тоже смотрит на свои трофейные. Еще секунда — и он заорет благим матом ненавистное для солдата:

— Под-ъе-о-ом!!

Как подброшенные пружинами, солдаты срываются с нар и, застегивая на ходу ширинки, выстраиваются посреди казармы. Затем, по команде старшины, делают поворот направо и, наступая друг другу на пятки, бегут в коридор к туалету. Дверь в него опять заколочена, и взвода устремляются к лестнице. На площадке мы вливаемся в поток, несущийся с третьего этажа. На лестнице становится тесно, старинные перила выдерживают, новые, нашей работы, трещат, и передние орут на задних, чтобы не напирали.

На первом этаже находятся службы, но есть помещения, где живет комендантский взвод — не то двадцать, не то тридцать человек. Обычно они выбегают на оправку последними или не выбегают совсем, но сегодня что-то произошло в верхних, командных слоях, и «сачки» устремляются в общий поток. Трещат перила, трещат двери, пропуская стадо полуголых с одинаковыми круглыми головами и оттопыренными ушами.

— Выходи строиться! — кричат снаружи. — Первый взвод, становись!

Оба дивизиона устремляются на задний двор, где стоит дощатое, кое-как сколоченное сооружение с загаженным полом и надписями на стенах. Минувя его, взвода выстраиваются вдоль колючей проволоки,

ограждающей нас от внешнего мира, а этот мир — от нас.

— Свернуть курки, открыть затворы!

Это не команда. Ритуал. Или, если угодно, здоровый солдатский юмор. Струи мочи ударяют одновременно, и какое-то время слышен сплошной гул. По ту сторону проволоки проходит Логойский тракт, по нему спешат на работу редкие прохожие. Хорошо, что еще слишком рано и нас видят не все...

После оправки взвода срываются с места и мчатся к умывальникам. Там уже давка: на третьем этаже опять что-то засорилось — и на втором сбились в кучу два дивизиона. Над головами первогодков видны широкие плечи старшего сержанта Денисова. Бриголовые почтительно уступают место, те, что с прическами «в два пальца», не уступают и сантиметра: подумашь, старший сержант! Но с Мишкой спорить трудно. Одно движение могучих плеч — и кто-то уже летит под ноги ревущих от восторга первогодков. Денисова уважают. Он слегка туговат на ухо — в конце войны, под Франкфуртом, получил легкую контузию, — но и это нравится молодым: не всякое слово должно доходить до командира... Командиру батареи Мишкина глухота — поперек горла, ибо он понимает: Денисов своей глухотой иногда спекулирует...

Между нами он старший только по возрасту, а вообще среди «мушкетеров» — так мы прозвали свою боевую четверку — лидера нет, мы равны, разве что один любит поэзию, другой разбирается больше в музыке, третий — отличный знаток лошадей.

По нашим телам можно изучать полевую хирургию: у Денисова ранение в плечо, у меня в бедро, у Шевченко в голень, у Полосина в шею. Характеры тоже разные. Денисов спокойный, медлительный, не слишком разговорчивый, давно кидающий службу «через палку», — поговаривают о демобилизации, да все никак не растелятся там, наверху. Нам еще служить, но и у нас к службе отношение однозначное: Полосин видит во сне родной колхоз и коней, Шевченко бредит учебой в институте, мне просто осточертело все казенное — распорядок дня, долбежка уста-

вов, чистка никому не нужной матчасти — устаревших пушек образца тридцать девятого года.

Совсем недавно я мечтал о сапогах: всю войну и долго после мы носили уродливые ботинки и обмотки, и вот теперь наконец мне выдали желанные кирзачи, но я больше ничего не хочу, кроме свободы, и готов идти домой по шпалам в майке и трусах... Кстати, старые кадровики, отслужившие действительную еще до войны, рассказывали, что в казенном обмундировании они ехали только до райвоенкомата. Там его снимали и далее, в деревню, добирались в своем гражданском, которое либо хранилось в военкомате, либо привозилось родными из деревни. Рассказывали об одном шутнике (а может, хитром парне), который, раздевшись догола по приказу начальства, сел в военкомате на скамейку и наотрез отказался уходить. Бились с ним сутки, на вторые военком не выдержал и разрешил — в порядке исключения — вернуть неимущему его обмундирование. Так был нарушен приказ наркома Ворошилова номер такой-то... Хотел бы я оказаться на месте того парня!

Между тем умывание закончилось, на плацу полковой трубач Генка Ханырин принялся с усилием выдувать знакомое: «Бери ложку, бери ба-а-к, а не хочешь — иди та-а-ак...» По звуку трубы мы безошибочно узнаем, до какой степени Ханырин был пьян накануне.

В столовую полагается идти строем, и обязательно с песней, а поскольку расстояние от казармы невелико, поющие взвода дважды обходят столовую кругом, пока их допустят внутрь.

Кроме наших огневииков в дивизионах есть «сачки» — привилегированная часть населения Пушкинских казарм — пэфээсники¹, гэсээмники², каптерщики, кладовщики, прачки, сменные повара, сапожники, портные, писаря. Все они пробираются в столовую первыми, но не строем, а поодиночке, реже — по двое, и не всегда через парадное крыльцо... Огневики по

¹ ПФС — продовольственно-фуражный склад.

² ГСМ — горюче-смазочные материалы.

лестнице не идут, а летят, — так велико желание дорваться до горячей жратвы, — но именно здесь, возле столов с мисками, их ждет сюрприз: дежурный по столовой тоже хочет показать свою власть. Хорошо поставленным голосом он командует: «Встать!» — и минут пять читает батарею нотацию относительно того, как положено вести себя бойцу Советской Армии, готовящемуся принять пищу. Дежурными по столовой обычно назначают «дезертиров пятилетки» — свержсрочников.

В отутюженной «комсоставской» гимнастерке, начищенных до блеска яловых сапогах, в фуражке с высокой тульей и с одиноко болтающейся медалью ЗБЗ¹ на груди, ходит он мимо замерших в скорбном молчании солдат и читает проповедь, стараясь нажимать на баса. По Уставу мы не имеем права вмешиваться — «дезертир» старше нас по званию, — но иногда не выдерживаем и посылаем его к «Бениной маме» — солдата положено кормить горячим... После завтрака опять построение и марш в обратную сторону, но уже без кружения вокруг столовой — поджигает время политзанятий. Усевшись на длинных деревянных скамейках в Ленкомнате, говорим об одном и том же — о ночных арестах. Нас удивляет молчание командиров.

— Да всё они знают! — говорит Денисов, загоняя своих солдат в Ленинскую комнату. — Только сказать не хотят.

На политзанятиях мы всегда сидим вместе: Денисов, Полосин, Шевченко и я. Как и у Дюма, нас не трое, а четверо. Тема сегодня — как, впрочем, и вчера, и третьего дня, и неделю назад — «Десять Сталинских ударов».

Шевченко приходит последним и, садясь, шепчет: — Подоляку с Захарченкой взяли.

Мы смотрим на ведущего политзанятие и молчим. Странно, но я совсем не слышу его голоса. Подоляку знаю с весны сорок четвертого. В апреле наша часть вошла в небольшую деревушку Сольцы, к вос-

¹ ЗБЗ — медаль «За боевые заслуги»

току от Минска, названную в сводках Совинформбюро «крупным населенным пунктом». Первым, кто встретил нас у околицы, был высокий ростом, нескладный боязливый парень в домотканых портках, лаптях и накинутой на плечи немецкой шинели. За его спину пряталась девочка лет семи в рваной солдатской телогрейке и шапке-ушанке. Вместо юбки на ней был немецкий бумажный мешок с несмываемым орлом спереди и номером сзади.

Наш brave капитан Хижняк, пружинно выпрыгнув из кабины тягача, сказал, глядя поверх головы парня:

«Ну что, удрали твои хозяева?» — так он начинал каждую встречу с местными жителями.

«Ни, — простодушно признался парень, — хозяев хрицы постриялы, ось, тильке их дочка осталась, — он легонько подтолкнул девочку вперед. — Нэ бийсь, це — наши...»

Не ожидавший такого оборота капитан каплянул и покосился на девочку.

«Стало быть, она хозяйская дочь. А ты кто? Батрак, что ли?»

«Ни, батраки у них не було. Маты моя и ее — сестры. Як моя померла, Подоляки мене до своей хаты взялы, бо батьки у мене не було зовсим. А що? Воны Подоляки, я теж Подоляка...»

«А кормили как?» — все поняв, крикнул с тягача Остапенко. Воспитанный дружной семьей детского дома, он в жизни больше всего ценил харч.

«Та добре кормилы, — поднял на него глаза парень, — умисты йилы».

«Ладно, — капитан Хижняк решил, что пора ставить точку. — Родине хочешь служить?»

Подоляко нерешительно посмотрел на нас — измученных долгим походом, глядящих на него из-под надвинутых на лбы касок.

«Як кажете. Мени б тильке ее куда пристроить, Ганночку. Малэнька це...»

«Шевченко! — крикнул Хижняк. — Возьмешь запряжающим. Дай ботинки Яцкова и шинелку, если подойдет, а не то заberi у старшины, скажи, я приказал».

Так житель деревни Сольцы Иван Подоляко стал орудийным номером. Был общителен, честен, с товарищами доброжелателен, ровен, на глаза начальству не лез, но приказы выполнял добросовестно и старательно. Если в армии вообще можно говорить о любви, то его любили.

— За что ж Подоляку-то? — спрашиваю я, хотя сам знаю, что на этот вопрос никто не ответит.

От нечего делать я смотрю на ведущего политзанятия нашего взводного — младшего лейтенанта Хизова. Ему двадцать три, он не женат и, наверное, никогда не женится — в самом конце войны пальной осколком мины порвал у него какой-то нерв, ведающий жизнедеятельностью мужского органа. В результате вынужденной девственности Хизов выглядит намного моложе своих лет, на полных щеках играет девичий румянец. Младший лейтенант от природы честен, и, когда требуется повесить начальству лапшу на уши, его заменяют другим, не таким щепетильным, — командиром взвода Кукурузиным. Он бабник и лодырь. Утомленный ночными похождениями, приходит в полк отдыхать. На этот счет у него есть отработанный прием: как только начальство, проведя утреннее построение, отбывает за проходную, следом линяет и Кукурузин. К нему равнодушен престарелый начальник политотдела полковник Свиридов. У Кукурузина средняя школа и училище, у Свиридова — пять классов приходской школы. Начав войну с политрука роты, он вырос до начальника политотдела дивизии, но остался неграмотным. Это загадка. Ответ может быть один: если сейчас Кукурузин пипет за него все бумаги, значит, в учебных заведениях, которые Свиридов все-таки кончал, за него тоже работали «негры».

Но вот политзанятия окончены, и трубач Ханырин возвещает о всеобщем построении. Теперь мы знаем точно: накануне Ханырин был пьян в стельку.

Выбегая на плац, мы уже знаем, что половина артиллерии опять пойдет в парк Челюскинцев на строительство увеселительных сооружений. С начала весны мы работаем там землекопами, плотниками, лесорубами — гражданское начальство Минска догово-

рилось с нашим о поставке рабочей силы. Мы не против. От казармы на Логойском тракте до парка Челюскинцев путь лежит через развалины кварталов. Под ними в норах живут минчане. Они охотно берут у нас мыло, гимнастерки, сапоги в обмен на самогон. Но наш интерес не только в этом. Под развалинами живут женщины и девушки. Бледными сусликами возникают они над своими норками всякий раз, как слышат нашу бравую строевую песню.

Наблюдают, между прочим, и за нами, и за развешанным на веревках бельем...

С одним из таких сусликов у Полосина завязалось знакомство. В парк он стал ходить не иначе как в диагоналевой «комсоставской» гимнастерке со всеми медалями на груди. Остановившись возле одной из землянок, всякий раз говорит: «Вы идите, а я догону» — и скрывается под землей. Подругу его зовут Тэклей. Узналось это позже, а при первом знакомстве она назвалась Татьяной. После войны белорусские девушки почему-то стеснялись своих истинных имен. Лично я ее не видел. Денисов видел и похвалил, не забыв, однако, заметить, что если б ей тут и тут добавить, а там малость убрать, то была бы и вовсе ничего. Мишка не любит длинных и голенастых, ему по сердцу крутогрудые, жопастые, ниже среднего росточка. Встретить упитанных в городе, где недавно люди пухли от голода, трудно, но Мишка не торопится. В его трофейном сундучке хранятся письма заочниц числом не менее тридцати. На половину из них Мишка возлагает надежды — девицы что надо. Денисов как-то умеет по одному лицу на фотографии угадать всю фигуру... Судя по тому, что Полосин каждый раз встречает нас в конце рабочего дня у той же землянки, ему везет в любви.

Участок нашего дивизиона в парке самый отдаленный и заброшенный. Если вблизи Московского шоссе сосновый бор относительно чист, то здесь сплошной бурелом. Однако именно здесь встречается больше человеческих костей. Наткнулись мы на них в первый же день работы. Закончив тесать столбы для качелей, я и Денисов сели покурить. И увидели бегущего к нам со всех ног рядового Сапижака.

— Товарищ старший сержант, там... — он бестолково махал рукой в сторону небольшой рощицы. — Там, товарищ старший сержант...

— Мина небось? — Денисов вопросительно смотрит на меня. — Не должно вроде, саперы проверяли... Ладно, идем.

Он поднимается и нехотя идет за солдатом. Я пока остаюсь. Мина здесь не диво. Если Мишка ее увидит, махнет рукой, я просемафорю командиру взвода, тот саперам — и все дела. К тому же у Денисова должна быть ракетница. Но он не семафорит. Подождав немного, я иду тоже и нахожу его на краю только что вырытой траншеи — их копают под фундамент каких-то павильонов. У Мишкиных ног на желтом песочке лежат черепа. В траншее видны другие, а также кости и целые скелеты. Никто из солдат не работает — все выбрались наверх и стоят поодаль.

— Меня до вас ехврейтор Рыжков послал, — как бы извиняясь, говорит Сапижак.

— Продолжать работу? — спрашивает Рыжков.

— Пока — отставить, — Денисов вынимает ракетницу.

Минут через десять, не спеша, прибывает старший лейтенант Мудров с двумя саперами и миноискателем.

— Мина или бомба? — спрашивает он еще издали, а подойдя — снимает фуражку. — Ну и жарница! А это — не наше дело. Зверства фашистов. Вызывайте политотдельцев, пусть собирают митинг — всё как положено. — И уходит.

Еще через пять минут появляются наши взводные — Хизов и Кукурузин. От обоих пахнет одеколоном, тонкие усики Кукурузина аккуратно подбриты. Он узколиц, сухощав и жилист, занимается боксом и должен скоро жениться на дочери генерала — командира нашей дивизии.

— Все ясно, — говорит Кукурузин, — зверства фашистов. Здесь закопать, отмерить десять шагов влево и вырыть по новой.

Кукурузин отвечает за всю стройку. Отмерили десять шагов, начали копать, но на глубине около метра снова наткнулись на кости.

— Может, сообщим в политотдел? — спрашивает Хизов.

— Да тут их много, — возражает Кукурузин, — если им понадобится для митинга, еще найдем, а нам сегодня надо фундамент заложить, а то кирпич разворуют.

Я всмотрелся. Только на некоторых захороненных сохранилась одежда, остальные, надо полагать, были похоронены голыми.

— Баб и тех не пощадил гад! — лютует ефрейтор. — Нет, мало я их уложил за войну!

У Рыжкова шесть медалей и «звездочка». Из рядового состава он самый старый на батарее, к нам прибыл из госпиталя уже после войны.

— Странно, — говорит Хизов, — на костях почти не осталось мягких тканей, а ведь здесь песок. За четыре года должны были только мумифицироваться...

— Вот и я гляжу! — вмешался Денисов. — У нас за деревней кладбище было. Когда шоссе строили, половину оттапали. Мы с мальчишками бегали смотреть: лежат как живые — которые лет пять назад похороненные, черные только и высохшие, вроде копченой рыбы.

— Получается, что эти — намного раньше? — Хизов в задумчивости гладит пальцем левую бровь — привычка, как он пояснил, с детства. Мой отец, помнится, в минуты раздумий тоже гладил пальцем вихор на лбу, отчего у него к тридцати годам образовалась маленькая лысинка...

— Товарищ младший лейтенант, — вспоминает Денисов, — у Слонова в расчете боец Лисейчиков до войны работал в музее. Как-то про мумии рассказывал. Я приведу, а вы расспросите.

Он вернулся с моим солдатом. Длинный и нескладный Лисейчиков был еще сутул и очкаст, с вечно хлюпающим носом. По его ногам в каптерке у Климова не нашлось брюк, поэтому между брюками и обмотками у Лисейчикова видны кальсоны.

— Старший сержант Денисов говорит, что до войны вы работали в музее, — начал Хизов. — В каком отделе?

— В отделе древностей, — ответил Лисейчиков. Голос у него был тонкий, женский, и это вызывало постоянные насмешки солдат.

— Вам приходилось иметь дело с мумиями или мощами? — Хизов ко всем солдатам обращался на «вы».

Лисейчиков кивнул.

— Я слышал, как раз перед войной где-то в монастыре под Минском нашли несколько хорошо сохранившихся мумий. Кажется, монахов.

— Протоиерея и его сестры, — поправил Лисейчиков.

— Наверное. А можно, хотя бы приблизительно, определить их возраст?

— Это устанавливается с точностью до пяти лет. Кроме того, на надгробных плитах, как правило, имеется дата.

— В таком случае — определите возраст этих скелетов, — Хизов посторонился, давая возможность солдату заглянуть в траншею, но тот не двинулся с места и даже сделал шаг назад.

— Хотя бы примерно, — настаивал Хизов.

Лисейчиков странно напрягся, вытянулся, но в траншею не заглянул.

— Понимаю вас, — сказал Хизов, — зрелище не из приятных. Но мне нужно знать...м-м... в воспитательных целях.

С Лисейчиковым творилось что-то странное. Его лицо, минуту назад нормальное, побелело и стало походить на солдатскую простыню, а губы посинели, со лба стекал каплями пот.

— Ладно, идите, — сжалился Хизов и, когда Лисейчиков ушел, спросил: — Он ведь, кажется, местный?

— Минск, Красноармейская, пять, — вспомнил я, — дома старая бабка, брат девяти лет и сестренка.

— Чокнутый он у тебя, — сказал Денисов, — комиссовать надо. Да все они, которые под немцем были, чокнутые.

— Он нормальный, — сказал Хизов, — только чего-то боится.

— Само собой, — согласился Денисов, — запугал их немец до смерти, чуть чего — в портки кладут.

— Побыл бы ты на их месте, поглядели бы мы на тебя, — тихо проговорил Шевченко. Я не заметил, как он подошел сзади. Из нашей «мушкетерской» компании он самый воспитанный, его родители преподают в каком-то вузе, и Сашка, кроме родного украинского, знает русский и немецкий.

Странно, но его слова, в общем-то необходимые, взбесили всегда спокойного Денисова.

— На ихнем месте я быть не мог! Понятно? Никогда! — крикнул он и вдруг обратил гнев на столпившихся вокруг солдат. — А ну, разойдись! Развесили уши, сачки! — И, когда солдаты разбежались, повернулся к Шевченко: — Я тебя уважаю, токо ты меня с ними не равняй. Ты знаешь, почему они под немцем очутились? В партизаны не захотели! Струсили! Лучше в немецких холуях ходить.

— Сам ты холуй, — опять почему-то очень тихо сказал Шевченко, — только не немецкий, а... — он не договорил, махнул рукой и пошел к своему расчету. Похоже, наша мушкетерская дружба дала первую трещину.

— Таких, как Лисейчиков, в партизаны не брали. У него иждивенцев трое, кто их кормить будет? И потом, из него стрелок — как из твоего хрена шкворень. И еще у него плоскостопие. В мирное время таких вообще в армию не призывали.

— Чегой-то он на меня взъелся? — не слушая меня, спрашивает Мишка. — И с чего это я — холуй?

Нет, с Мишкой порядок. Да, если разобраться, не так уж он и виноват. Шестой год подряд разные Свиридовы вколачивают нам в головы идиотский принцип разделения людей на чистых и нечистых. Чистые — это мы с Мишкой, Полосин, еще кое-кто; нечистые — все, кто был под немцем. Раз был, значит, виноват. Только вот что никак не укладывается у меня в голове: эвакуировали-то в первую очередь заводы, важные учреждения, семьи больших начальников, а на счет остального люда отдавались распоряжения вроде: «...уходить из города по Московскому шоссе в сторону Орши»; «Не оставлять врагу ни скота, ни построек, ни хлеба»; «...колодцы разрушать, амбары поджигать». Таких указаний, что такой-то район города

едет на грузовиках, которые будут поданы тогда-то и туда-то, а такому-то району собраться на вокзале для погрузки в эшелоны, я что-то не припомню. Не подавались грузовики под лисейчиковых, антоновичей, сапижаков и прочих неорганизованных. Разве что вместе с заводом кому-то посчастливилось убраться отсюда. А Мишка — что! Он всего лишь рупор полковника Свиридова или что-то вроде патефона: какую пластинку поставят, ту и играет. Шевченко как-то сказал: «И что же это за идеология такая? Будь ты вором, отъявленным мерзавцем, но если «не был», «не привлекался», «не состоял», значит, свой в доску, тебе можно верить, а будь самым распрекрасным и честнейшим человеком, но, если «был» хоть два дня, нет тебе доверия! Не наш ты человек. И до конца дней своих будешь страдать не по своей вине!»

* * *

Назавтра было воскресенье. Это мой день. В воскресенье я всегда убегаю в самоволку, в Минск. Только, в отличие от сослуживцев, мои «культпоходы» через окно в сортире — не в кабаки и бардаки, а в Театр оперы и балета, или в драматический имени Янки Купалы, или в ТЮЗ. Дом Советской Армии я посещаю редко. Здесь у патрулей что-то вроде диспетчерской, да и праздно шатающийся в фойе офицер, раздраженный отсутствием буфета, опасен. С его «легкой» руки я попадаю прямым ходом на гарнизонную гауптвахту.

Но даже если «культпоход» получался удачным — спектакль досмотрен до конца, на обратном пути не встретились патрули — по прибытии в казарму меня все равно ждала «губа»: за мной следили все, кто отвечал за дисциплину и моральный облик советского воина. Однако количество отсиженных на «губе» суток значительно меньше отпущенных щедрой рукой начальства: когда меня сажали, останавливалась важная отрасль идеологического воспитания — художественная самодеятельность, где я был «и швец, и жнец, и на дуде игрец». Запертые в военном городке блюстителями нравственности, молодые солдаты

очень ждали наших концертов. Дав мне время раскаяться, начальник политотдела полковник Свиридов через сутки-двое посылал за мной. У политотдела всегда висели на врату важные мероприятия — окружной смотр, встреча фронтовиков с молодежью, спортивные состязания и прочее, которые без нашей самодеятельности не звучали.

В Театре оперы и балета встретить офицера нашей части труднее, чем верблюда в тундре. Чужие попадались, но всегда в обществе дам, и проверять увольнительную у сержанта не торопились. Однако полное раздолье для меня было только в драматическом. Кроме помощника гримера Семена Шимко у меня имелся там еще один друг — милая, нежная Зося Венцева, швея, костюмерша, существо без предрассудков с целым набором достоинств.

Швея и гример заняты не весь вечер. Во время спектакля им делать нечего. Если пьеса попадалась знакомая, я вылезал из своего тайника — пустой суфлерской будки — и шел к Зосе, в ее крохотную, как мышеловка, комнатку, отгороженную от бутафорской дощатой перегородкой.

Когда Зося была занята, шел к Семену и под щебет любимой канарейки старшего гримера Когана в сотый раз слушал рассказы Шимко о его героической борьбе против немецких оккупантов. Расчувствовавшись, Семен вытирал слезу и лез в шкафчик. Достав бутылку, говорил:

— Давай, Серега, за упокой моих товарищей-партизан и твоих однополчан. Сложили ребята головы за наш родной красавец Минск.

С моими однополчанами все было в порядке: никто из них Минск не освобождал, но вот как Семен мог попасть в партизаны — оставалось загадкой. Летом сорок первого года он отдыхал в санатории под Москвой. Когда началась война, его мобилизовали, но до сорок четвертого года держали в тылу, в резерве. Летом сорок четвертого его полк двинули вслед за наступающими войсками, но догнать фронт полку почему-то не удалось — он осел на старой границе. Оттуда в сентябре сорок пятого Семен демобилизовался и поехал к себе в Минск. Разве что

по дороге завернул в Брянские леса проводить знакомых бендеровцев?

Сказать так — все равно что выбросить самого себя с третьего этажа театра — у Семена рост около двух метров, разряд по боксу, полное отсутствие чувства юмора и бедность воображения. Однажды, спасаясь от патрулей, я забежал к нему и попросил найти для меня укромное местечко в гримерной.

— Ты что, к нам поступаешь? — в восторге заорал Семен. — Тогда иди к главрежу, он сам Когану скажет, а то старик не поверит.

Спасла меня Зося. Спрятала в бутафорской, помогла надеть женское платье — кажется, эпохи Людовика XIV — и роскошный парик.

Одевание заканчивалось, когда в бутафорскую ворвались патрули. Капитан с ногами старого кавалериста и огромными усами стал открывать ящики и срывать со стен драпировки.

На столике, возле моего локтя, каким-то чудом оказался Зосин паспорт. Капитан раскрыл его, сличил фотографию с моим лицом и сказал:

— Вот что, девушки: если увидите длинного, в нашем обмундировании, звоните в комендатуру, я вам тут телефончик оставлю. — Он послунил карандаш и написал на «мраморной» колонне номер. — Сегодня на вокзале кассу грабанули.

Когда патруль ушел, из всех щелей начали выполнять бутафоры, осветители, рабочие сцены, плотники. В послевоенном Минске погони и обыски никого не удивляли, но люди старалисьшний раз не попадаться на глаза военным. Ночами в городе стреляли, ходили слухи о какой-то «черной кошке» — банде, которая проникает в дома, грабит и убивает. Еще говорили, что бандиты одеты во все военное... Судача об этом, театральная публика косилась на меня, кое-кто даже посоветовал вернуть патрулей, но тут вошел Семен Шимко и, положив огромную лапищу на мой кружевной воротник, сказал:

— Серега — мой кореш. Вместе кровь проливали за Белорусь. Он театр любит, так что прошу больше не возникать.

Больше никто не возникал.

Однажды мне дали увольнительную. Первую за полтора года службы. В драмтеатре имени Янки Купалы давали «Любовь Яровую», отрывки из которой мы как раз собирались ставить у себя в полку. Полковник Свиридов хотел, чтобы идеологическая работа была на высоте. Текст я знал наизусть, кроме того, году в сорок третьем худрук Грачев из клуба железнодорожников дал мне сыграть роль революционного матроса — Швандю — взамен слесаря, игравшего эту роль, но неожиданно взятого в армию. С того дня моя жизнь дала резкий крен в искусство: друзья удили рыбу, резались в карты, гоняли в футбол, а я сидел дома, обложенный пьесами, и зубрил роли. Гамлет, Шмага, король Лир, Труфальдино, Отелло, Яго, секретарь Берест сменяли друг друга перед большим бабушкиным зеркалом. Пробовал я и женские роли, но любил больше всего комедийные.

«Любовь Яровая» комедией в афишах не значилась, но гениальный Тренев вложил в уста героев реплики, которые делали пьесу довольно злой сатирой.

На последней репетиции пожелал присутствовать сам полковник Свиридов. Когда она закончилась, я спросил:

— Ну как, товарищ полковник? Есть замечания?

Свиридов глубоко задумался.

— Кто у тебя Дуньку играет?

— Сержант Шалопаев из второго дивизиона.

— Скажи, чтоб о стенку не чесался — декорацию повалит.

— Слушаюсь.

— На роль Яровой все-таки лучше взять женщину.

— Да где ж ее возьмешь, товарищ полковник? Комполка Грищенко даже в кино их запретил пускать — нравственность блюдет...

— Возьми у меня в политотделе машинистку Веру Александрову.

— Да ведь она блядь, товарищ полковник!

— Ну, во-первых, не все об этом знают, а во-вторых, издали не видно...

До нашей премьеры оставалось несколько дней, и я убедил Свиридова отпустить меня на этот спектакль в настоящий театр.

Лично подписывая мою увольнительную, Свиридов сказал:

— Чтоб все как у них! Никакой отсебятины! И чтоб Дунька больше не чесался!

Спектакль я, как и прежде, смотрел из суфлерской будки, хотя на этот раз мог бы и с галерки. Будка пустовала по той причине, что новый режиссер требовал от артистов знать роли назубок. Актеры к этому не привыкли и то и дело бросали тревожные взгляды на суфлерскую будку... Как мог, я им помогал.

«Да ты кто такой?» — артист Ковальчик голосом Грозного спрашивал артиста Мониина, игравшего Горностаева.

«Я профессор Горностаев», — отвечал Монин.

«Профессор кислых щей! — острил Грозной, рисуясь перед Пановой. — Ну, так чего ты хочешь?»

На репетиции реплика почему-то понравилась Свиридову.

— Это хорошо. Пусть остается. Знаю я этих профессоров. Интеллигенция — она всегда с червоточинкой...

«Книжки твои мы в читальню заберем, — говорил далее Грозной, а когда жена Горностаева возражала, пояснял: — У него, может, тыща книг на одного, а у народа на тыщу человек одна книга! Это порядок?»

— Вот видишь, — сказал Свиридов, — он и мыслит правильно. Это ведь ленинский принцип!

Симпатии Свиридова к Грозному все возрастали, а я ждал финала первого акта, когда Кошкин уличает Грозного в мародерстве. Просмотрев эту сцену, Свиридов задумался.

— Знаешь что, убери-ко ты этого Грозного совсем! Он же за советскую власть воевал! Кошкин о нем что говорит? «Грозной мне кровью спаянный брат», а у тебя получается — он вроде бы грабитель. Зритель может не понять...

— Но он же грабил!

— А кто не грабит на войне? Ты сам небось в Германии в сорок пятом помогал загружать «пульманы» барахлом своего начальства. Ваш Грищенко одних «опелей» штук пять вывез. Зачем ему столько?

— Трофеи, товарищ полковник. Немцы бросали, мы подбирали...

— Что, и буфеты зеркальные, и диваны кожаные, и сервизы хрустальные — тоже на дороге валялись? Нет, они в шкафах стояли, в домах. Хотел я вашего Грищенку прижать — позорит армию, стервец, — да остальные члены бюро не поддержали. У них рыльце тоже в пушку...

Причина откровений начальника политотдела была мне понятной: он вот-вот должен был выйти в отставку по возрасту.

В тот раз я Свиридова не подвел — явился в часть тютельница в тютельство. Другое дело сегодня. Сегодня я в самоволке. Хотя и по тому же поводу.

После второго акта в суфлерскую будку протиснулась Зося. Щекоча мое ухо своими длинными волосами, зашептала:

— Не убегай сразу. У меня день рождения!

Я приуныл. Вот дуры бабы! Почему не сказать до спектакля? Сейчас бы с этим мероприятием уже закончили...

В комнатке Зоси собрались бутафоры, костюмеры, гримеры, кое-кто из артистов. Они держали в руках бутафорские тарелочки из папье-маше и настоящие, граненого стекла, чайные стаканы. Шимко откупоривал бутылки, Зося раздавала в протянутые руки соленые огурцы.

— Жаль, что ты приходишь к нам только раз в неделю, — покровительственно хлопая меня по плечу, говорил премьер Голубов, мужчина лет пятидесяти с хвостиком, с лысиной и геморроем, — отслужишь, приходи в театр. Суфлером будешь, я посодействую.

Голубов забывал не только роли. В спектакле Корнейчука «Фронт», играя генерала Огневого, забыл за кулисами фуражку и докладывал начальству, прикладывая руку к непокрытой голове...

Шампанское, хоть и самодельное, не солдатское питье. Из своего стакана я переливал содержимое в Зосин. Закусив лишь огурчиком, она быстро захмелела и смотрела на меня с нежностью.

— Останься, Сережа, мне страшно одной...

Она жила здесь же, в театре, как, впрочем, большинство актеров, только у тех были отдельные комнаты,

а у Зоси — закуток. Фанерная стенка не доставала до потолка, и запах казеинового клея заглушал слабый аромат духов, которыми Зося сегодня капнула на свою сорочку...

В свою часть я возвращался глубокой ночью. Перейти через проходную не имело смысла — там меня ждали. В подъезде казармы на первом этаже, вероятно, тоже, поэтому я решил вернуться, как уходил: через окно в нужнике. Веревку убрали — я сам видел, но есть еще водосточная труба. Правда, она сгнила...

А что, если попробовать? Метрах в ста от проходной в заборе имеется лаз — две доски аккуратно заходят одна за другую и возвращаются на место... Теперь вокруг казармы — и к трубе. Окно в гальюне открыто, но света там нет. К чему бы это? Подхожу к трубе, трогаю проржавевшую жечь, нижнее колено с грохотом валится на землю.

И вдруг сверху голос Денисова:

— Серьга, ты? Держи!

К моим ногам падает конец веревки. Карабкаюсь вверх. В темном окне стоит Мишка и еще кто-то. Наверное, дневальный.

— Заждались! — язвительно говорит Мишка, помогая мне перелезть через подоконник. — Все глазыньки проглядели. У, котище! — и дает мне легкий подзатыльник.

Я бросаюсь в казарму, но Мишка ловит меня за рукав.

— Куда, дубина? Раздевайся!

Снимаю все, кроме трусов, и важно выхожу из туалета. Дежурный по дивизиону подозрительно провожает меня глазами. За мной идет Денисов в подштанниках и майке, за ним дневальный с ведром, в котором лежит обмундирование.

— Будь моя воля, — говорит Денисов, — я бы вас всех кастрировал.

Ну вот, и он мне не верит! Хотя на сей раз Мишка прав: обломилось мне сегодня солдатское счастье! Радость моя нежданная, Зосенька!

Засыпая, я прижимаю верхнюю губу к нижней и слышу едва различимый запах Зосиных духов.

В понедельник наш взвод в парк не посылали, а назначили на уборку территории. Но именно в этот день в моем орудийном расчете произошло ЧП — тронулся умом рядовой Лисейчиков. Накануне за ужином ничего не ел, был рассеян и кого-то не приветствовал. За это получил два наряда вне очереди.

Однако, вместо того чтобы сразу после отбоя идти драить пол в штабе полка, взял ведро и швабру, а вместо тряпки — веревку, чем вызвал подозрение у дневального. Веревкой пользовались те, кто отправлялся в самоволку. Новобранцы в это число не входили.

Увидев, что Лисейчиков взял из-за шкафа это самое имущество, дневальный пошел за ним. Окно, через которое бегали в город, находилось в туалете. Выждав с полминуты, дневальный резко распахнул дверь и увидел Лисейчикова висящим в петле. На крик первым прибежал Денисов и перочинным ножом обрезал веревку. Полузадушенный солдат рухнул к его ногам. Денисов послал за мной. Втроем мы отнесли Лисейчикова в санчасть и доложили дежурному.

— Теперь пойдут таскать: кто первым да кто последним его видел, — ворчал Денисов — он был опытен в таких делах, — да кто может подтвердить, что он — сам... Ничего, дневальный тертый калач, его не собьешь, расскажет, как было.

— Еще спросят, из-за чего хотел повеситься, — напомнил я.

— А при чем тут мы? — насторожился Денисов. — Может, ему накостьлял кто? Так, по дурости. Нет? Вот и я думаю, не должно. Он до отбоя всякие разные истории рассказывал. Замполита так бы слушали!

Неожиданно вернулся из командировки огневой расчет сержанта Полосина и был отправлен в санчасть, где тут же определен в стационар — у всех се-

мерых сильнейшее расстройство желудка. Среди медиков началась паника. Начальник медсанчасти Твардовский уже собирался доложить в санупр о начавшейся в дивизии эпидемии, но все разъяснилось. Три дня назад расчет Полосина был направлен в один из дальних районов Белоруссии на заготовку леса для нашей части сроком на один месяц. Продукты выписали соответственно, а поскольку на складе ПФС не оказалось в данный момент ни комбижира, ни маргарина, составлявших основную солдатскую добавку в жирах, расчету выдали натуральное сливочное масло из офицерского запаса. По той же причине вместо пшенки был получен первоклассный рис, а вместо солонины — американская тушенка и консервированные сосиски.

Счастливичков провожал весь дивизион. Утешая себя и других, Денисов презрительно говорил:

— Подумаешь, сосиски! Из обезьяньего мяса они! Недавно на политзанятиях разъясняли: мы с Америкой — по-честному, а они нам — обезьяньи сосиски!

К вечеру того же дня расчет Полосина прибыл на место, а утром следующего дня в сельсовет пришла телеграмма с приказом расчету Полосина срочно вернуться в распоряжение части, а все продукты сдать на склад — заготовка леса отменялась.

Солдаты сначала приуныли, но потом пришли к выводу, что отдавать такие продукты на склад неразумно — их надо съесть. В большой котел заложили сразу весь рис, все масло и всю тушенку. Когда невиданный кулеш был готов, расчет сел вокруг котла и вооружился ложками.

Мне приходилось участвовать в пиршестве, когда вчетвером съедалось целое ведро картофельного пюре, но то было немасленное, безвредное, каша же сержанта Полосина, по словам солдат, плавала в жире, да и объем ее на душу солдатскую оказался более чем велик.

Через час полосинцы помчались к лесной опушке. Здесь, сняв штаны, долго оглашали окрестность непристойными звуками, после чего вернулись к котлу.

Вторую пробежку повторили через полчаса, следу-

ющую — минут через пятнадцать, а потом дристали без перерыва. К вечеру всех семерых на телеге доставили на железнодорожную станцию и погрузили в поезд.

— А сосиски? Сосиски где? — допытывался Денисов, склонившись над смертельно бледным Полосиным. — Сосиски ведь вы в котел не закладывали?

Полосин не отвечал — его тошнило.

* * *

Дня через два меня вызвал к себе уполномоченный контрразведки СМЕРШ майор Нестеренко. Этот красавец-брюнет был известен в дивизии своими амурными похождениями и веселостью. Меня он встретил сурово:

— Инструкцию в отношении бывших под оккупацией знаешь?

— Так точно, знаю.

— Почему не выполняешь?

Я подумал, что речь пойдет о повышении бдительности.

— Если вы о Лисейчикове, то этот солдат подозрений не вызывал.

— Не вызывал? А почему хотел повеситься? Боялся, что мы раскроем? Прятал связи с фашистским подпольем?

— С каким подпольем? — я пожал плечами. — А что, в Минске есть фашистское подполье?

Майор не ответил, пошелестел бумагами.

— Почту проверял?

— Ему никто не писал, он местный. И потом, проверять почту помимо цензуры не моя обязанность, а сержанта Слюнькова.

— Он сам об этом говорил вам?

— Об этом все и так знают. И еще он стукач...

Нестеренко помолчал.

— Ладно, со Слюньковым мы разберемся. Домашний адрес твоего висельника?

— Красноармейская, пять.

Майор записал.

— Кто еще, кроме тебя, младшего лейтенанта Хи-

зова и твоего дружка Денисова, слушал, что рассказывал Лисейчиков возле траншей, где были похоронены замученные фашистами советские люди?

— Да он не сказал ни слова!

— Странно. Почему? Такая удобная возможность проводить антисоветскую агитацию!

— Какую агитацию? И чего это он должен нас агитировать? — Внезапно мою голову осенила интересная мысль: — А что, товарищ майор, разве это не немцы расстреливали? Тогда кто же?

— Немцы, немцы, кто же еще... — Нестеренко поднялся, обошел стол и сел рядом со мной. — Ну, хватит про покойников. Расскажи за жизнь, мушкетер.

— А... что рассказывать? — я был обескуражен. С Нестеренко до этого я разговаривал только один раз, да и то не в служебном кабинете, а в одном шалмане в Минске. Был я тогда не в самоволке, а в законном городском увольнении и держался спокойно. По просьбе девушек рассказывал анекдоты, даже показал несколько карточных фокусов, чем вызвал восторг Нестеренко. Потом мы с ним выпили «на брудершafft», я говорил ему «ты» и на время забыл о разнице в звании и служебном положении. Интересно, помнит ли он о той встрече? Оказалось, помнит.

— Тот бардачок посещаешь? Кстати, почему вас, четверых, зовут мушкетерами? Не выветрилась школьная романтика? И сколько вас в этой компании?

— Как — сколько? — опешил я. — Четверо. Больше не полагается.

— А не врешь? — он смотрел прямо, прищулив один глаз. — Может, десять или пятнадцать?

— Да вы что? — Дабы он окончательно поверил, я сказал: — У нас и союз наш называется — СДПШ. А «мушкетеры» — это раньше...

Нестеренко насторожился.

— Какой союз? Ну-ка повтори!

Я повторил, он записал.

— Любопытно. Ну, а что означают буквы?

— Как — что? «Слонов, Денисов, Полосин, Шевченко» — разве не понятно? Это я к тому, чтобы вы не сомневались, что нас четверо. Да и зачем еще кому-то?

Он захохотал, спрыгнул со стола.

— Вот именно — зачем? Ну, мальчишки! Ну, мушкетеры! Слушай, а ты не врешь насчет союза? Ведь если — союз, то и устав должен быть, и программа какая-то.

— Как же, есть устав, я его в дневнике записал. Так ведь он — ради шутки, да и все пункты в нем — юморные...

— Ну вот видишь! — Нестеренко был в восторге. — Я же знал! Думаешь почему?

— Почему? — машинально переспросил я.

— Да потому, что у каждого из нас все это было! У тех, разумеется, кто доучился до девятого-восьмого класса. Кто проучился пять-шесть — такого не было. Это издержки образования. Вот скажи: кому из твоих друзей пришла идея создать свою организацию? Да еще в армии, да еще при наличии комсомола? Только тебе. А почему? Потому что денисовы и полосины рано оторвались от школы — им семью надо было кормить, — а у тебя детство продолжалось. Да в тебе и сейчас жив школяр.

— Почему только во мне? — я почти возмущился. — А Сашка Шевченко? Да он, если хотите знать, даже стихи сочиняет!

— Ну, стихи — это другое дело. — Нестеренко поскущел. — Стихи все сочиняют. У кого получается. А вот докатиться до такого, чтобы создать союз, — на такое не у каждого фантазии хватит. Кстати, ты тут о своем дневнике говорил. Может, там тоже — фантазии? Очень бы хотелось взглянуть.

— Зачем вам смотреть, товарищ майор? Дневник ведь — очень личное. Мало ли что в голову придет.

— Значат, все что в голову пришло, — ты в дневник. Не думая? Слушай, принеси его мне. Я никому не скажу. А мне польза: вдруг да что-то новенькое найду. Свежую мыслишку поймаю. Этаким оригинальный взгляд на самое обычное.

От него я не вышел, а вывалился. Так из раскрывшегося кузова вываливается мешок с опилками. Купиться, клюнуть на пустой крючок! Положим, в нашем союзе нет ничего предосудительного, а вот в дневнике... Я веду его третий год и успел позабыть, что записал когда-то, может, что и не совсем достой-

ное настоящего солдата. Например, стихи о любви... За них мне заранее стыдно — слишком несовершенны, все собирался уничтожить, да руки не доходили — дневник хранится в каптерке Климова, беру я его редко, особенно в последние недели. Еще какие-то наброски, попытки написать очерк о Зосе — я ей сочувствовал, у нее тяжелая судьба и в то же время интересная: Зося была угнана немцами в Германию, работала у бауэра, затем на заводе в Силезии, а после освобождения нашими войсками успела побывать на юге Франции и в Италии. Очерк не получился, как я понимаю, из-за обилия материала, но ведь и публиковать его я не собирался! И снова стихи. Я писал их на посту, в карауле, на гауптвахте. Как такое показать майору?

В течение дня Нестеренко вызывал поочередно всех, кто был в тот день в парке Челюскинцев. Последним, вторично, вызвал Денисова. Вернулся Мишка поздно, после «отбоя». Лежал, думал.

— И чего он копает? Ну, хотел парень повеситься — кому какое дело? Может, невеста другому подвернула.

— Солдат — человек казенный. Вроде вот этой тумбочки. Батарейное имущество, и мы с тобой за него в ответе.

Мои глаза слипались. Не припомню случая, чтобы когда-нибудь я засыпал дольше минуты...

— А я знаю чего! — вдруг вскидывается Мишка. — Неувязочка вышла с покойниками! Растрезвонили насчет зверств фашистов, а трупам-то не четыре годочка, а все одиннадцать! Откуда в тридцать седьмом году здесь фашисты?

— Каким трупам? — я успел задремать. — Ах, этим... И чего вы к ним привязались? Мало ты их видел за войну... — но тут я просыпаюсь окончательно. — Слушай, выходит, это — еще до немцев? То-то они все голые, и руки... Я хотел сказать, кости скручены колючей проволокой. И потом, немцы в затылок не стреляли, они — из автоматов, очередью...

Мишка нашел мои глаза в полутьме казармы.

— Прозреваешь помаленьку? Долго же до тебя до-

ходит. Тут главное лицо — твой Лисейчиков. Нестеренко его прямо в санчасти допрашивал. Мне Лешка Боев сказал.

— Вот здорово! — я привстал на локте. — Выходит, Лисейчиков знал и не сказал? Завтра схожу к нему и всё...

Мишка свистнул.

— Завтра его здесь не будет.

— Действительно... Тогда, может, сейчас, пока не поздно?

Мишка с минуту раздумывает.

— Вот что, ты туда не ходи. Контрразведка — это тебе не шуточки, а я с ними умею разговаривать. Помкомвзвода все-таки, а он мой боец... — Надевая гимнастерку, зачем-то информирует:

— В отдельной палате он. И часовой у двери. Ну, пока. Если взводный спросит, скажешь, к Полосину пошел. Сигарет просил кореш.

После его ухода я мгновенно засыпаю. Блаженны эти минуты на солдатчине. Никогда после, в самой мирной распрекрасной жизни, не будет ни у кого из нас такого одуряющего, ошеломительно сладкого и крепкого, как бимбер¹, сна. Однако солдатчина научила и другому: просыпаться в точно назначенное время. Без пяти шесть я был уже на ногах. И с удивлением увидел, что Денисова, на нарах нет. Потрогав холодный тюфяк, пошел в коридор — иногда, перед ненастьем, у Мишки болело плечо, он выходил из казармы покурить. Но и в коридоре его не было. Дневальный его тоже не видел. Надев гимнастерку, ремень и пилотку, я вышел из казармы. В подразделениях, как петухи на утренней заре, перекликались дневальные — орали «подъем». От казармы до санчасти метров сто. Пустынен плац, но даже в такой час одинокому бойцу не полагается передвигаться шагом. Только рысью! Ибо не может быть одинокого бойца, шествующего сам по себе, а есть солдат, исполняющий чье-то приказание. Поэтому я побежал.

Здание санчасти было самым старым во всем ком-

¹ Польский спирт.

плексе Пушкинских казарм и, как и сами казармы, за последние сто лет не изменяло своему назначению. Даже стены в нем пропахли карболкой и йодом, а дубовые ступени на лестнице стерлись до такой степени, что сучки выпирали вверх сантиметра на полтора. Эти ступени помнили шаги минского генерал-губернатора и польских легионеров, революционных матросов и немецких солдат.

И, конечно, мои. В санчасти работает санитаром Лешка Боев — мой земляк и бывший однокашник по средней школе, а поскольку с фармацевтами здесь туго, он заведует святой святых — аптечкой, где хранится спирт. У каждого уважающего себя полкового «сачка» есть своя «кабинка» — крохотная комнатка под лестницей или на чердаке с топчаном, тумбочкой и портретом товарища Сталина на видном месте. А также своя гордость. Лешка — прохиндей, стонига и жмот, его два раза били в клубе и один — в городе. Но еще ни разу никому он не открыл своей аптечки. Никому, кроме меня. Ради такого исключения я должен изображать уважение к его особе.

А также, время от времени, в людном месте «вспоминать», что Лешка Боев — бывший студент первого курса медицинского института, что его мама работает в областном комитете партии, а папа состоял в личной охране товарища Ленина...

Убедившись, что рядом никого нет, я осторожно стучу согнутым пальцем в фанерную дверь. Сегодня мне не до спирта. Сегодня я обеспокоен: пропал мой лучший друг Мишка Денисов! Исчез после того, как побывал здесь!

На стук никто не отозвался. Повторив, я припал губами к замочной скважине.

— Леша, это я, Серега Слонов, твой земляк!

Кто-то крепко взял меня сзади за оба локтя. Повернув голову, я увидел двух незнакомых сержантов, выше меня на целую голову.

— Вы чего, ребята? — я сделал попытку освободиться и вскрикнул от боли — мне заломили руку за спину. — Вы что, охренели? Больно же!

В ту же секунду я получил такой удар «под дых», что глаза полезли из орбит, и — следом — удар

ладонью по почке. Профессионалы. Переведя дыхание, спросил:

— Скажите хоть за что. Что я такого сделал?

— Что сделал, расскажешь сам, — произнес кто-то сзади.

Скосив глаза, я увидел майора Нестеренко. Он смотрел на меня и улыбался.

— Товарищ майор! — обрадовался я. — Скажите им! Ненормальные какие-то...

— Уже сказал, — ответил майор и качнул головой: — Ведите, Булыгин.

Все дальнейшее еще много дней спустя казалось мне сном. Влекомый сержантами, я двинулся по песчаной дорожке в сторону ворот, миновал казарму, возле которой строилась вторая батарея.

Вывели за проходную, в которой вместо наших были краснопогонники с автоматами, и вышли на Логойский тракт. У проходной стоял «студебеккер», крытый брезентом, поодаль еще три. Сильные руки подхватили меня под мышки и подняли наверх, прямо через борт. Там другие, такие же сильные, швырнули на дно кузова. Сержанты сели на скамейки, и один из них, пнув меня сапогом в бок, сказал:

— На спину ляжь! Порядка не знаешь?

Я лег на спину. «Студебеккер» тронулся.

ПЯТЫЙ
УГОЛ

*Человек не может
стать совершенным,
не посидев какое-то время
в тюрьме.*

Р. Тагор

Меня арестовали в день рождения, двадцать шестого августа тысяча девятьсот сорок восьмого года. Сутки держали в подземелье с кирпичным полом и сводчатым потолком. Никогда не видевший тюрьмы, я решил, что это и есть моя темница, и упал духом. Над дверью тускло светила лампочка, откуда-то сильно дуло.

Обследовав помещение, я обнаружил в каменной нише зарешеченное окно. Подвал был старый, кирпичи от сырости кое-где вывалились, поэтому мне удалось без труда добраться до окна и просунуть руку между прутьями. Стекла не было. У стены стоял пустой ларь. Я лег на него и хотел уснуть, — на солдатчине нельзя пропускать мимо три вещи: женщину, сон и обед, — но в замке лязгнул ключ, дверь со скрипом отворилась, и бравый старшина-краснопогонник зычно крикнул:

— Принимай баланду, контра!

Бритоголовый солдат в гимнастерке без погон и ремня, с очень бледным, неживым лицом, опустил помятую алюминиевую миску в бак и протянул мне.

— Ложка есть? — спросил старшина, почему-то внимательно ко мне присматриваясь. — Какой же ты солдат без ложки? Евстигнеев, дай ему свою.

Бритоголовый протянул мне ложку, шепнув:

— Из какой части? Когда взяли?

— Не разговаривать! — рявкнул старшина.

От еды я, наверное, не откажусь и на эшафоте.

— Пайку возьми, — сказал старшина, любуясь моим аппетитом, — тебе сегодня не положено, да делать нечего: свой.

Я всмотрелся и узнал бывшего помкомвзвода второй батареи Лазарева, отчисленного из части год назад. Ходили слухи, что его направили в какое-то военное училище, но были и другие, согласно которым как раз в это время в воинских частях проходил набор в войска МВД и МГБ — стране социализма не хватало штатных конвойных, исполнителей и тюремных надзирателей.

— Вот ты где, — не скрывая радости, произнес я: хоть и тюремщик, а все-таки свой...

— Да со мной все в порядке, я на месте, а вот как ты попал к нам, в КПЗ¹? Сюда за драку не сажают, на то есть гауптвахта.

— Не знаю, — честно признался я, — схватили ни с того ни с сего да еще накостыляли.

— Ни с того ни с сего у нас не хватают, — сказал старшина, предварительно оглянувшись. — Кого еще из наших взяли?

— Да, наверное, меня одного. Ты дай мне карандаш и бумагу с конвертом, домой напишу, чтобы не волновались.

— Вот это правильно, — одобрил Лазарев, куда-то отлучился и вернулся с конвертом и бумагой, — заодно и дружкам своим черкни, мол, так и так... Психуют, поди.

¹ Камера предварительного заключения.

— Им — тоже, — беспечно согласился я и стал писать. Сначала маме. Но о чем? О том, что меня вдруг посадили в тюрьму? Глупо. На «губе» случилось сидеть и по пятнадцати суток и то не писал, а тут дня не прошло — жалуюсь... Я скомкал листок и попросил другой, Лазарев безропотно дал. Написав о главном, я сложил листок пополам, вложил в конверт и чернильным карандашом вывел адрес: в/ч 67985, первая батарея, Денисову, Полосину, Шевченко. Передавая письмо Лазареву, заметил, что он чем-то недоволен.

— Не доверяешь? Пиши кому надо, доставлю точно.

— А это и есть — кому надо.

Он повертел конверт в пальцах.

— Так то ж — в часть. У тебя что, в городе нет дружков? Может, бабенка имеется?

Я подумал о Зосе, но вспомнил майора Нестеренко и промолчал.

— Ну, как хочешь, — сказал Лазарев, — через три дня будет тебе ответ. Раньше не жди.

Он ушел. Я лег на ларь и стал думать. Когда письмо дойдет до моих «мушкетеров», они поднимут бучу — пропал комсорг, отличник боевой и политической подготовки, фронтовик, артист полковой самодеятельности и прочее — и двинут в политотдел. Медлительный на поворотах, но, в общем, неплохой мужик Свиридов вызовет на ковер уполномоченного контрразведки СМЕРШ майора Нестеренко...

Грохот ключа в замке прервал мои приятные мысли. Вопли уже знакомый мне верзила Булыгин и коренастый кривоногий солдат с монгольскими скулами.

— Собирайсь с вещами, — мрачно произнес Булыгин.

— Готов! — я вскочил. — Всё выяснили, да? А шинель, ремень где?

Вместо ответа Булыгин взял меня рукой за шею и толкнул в коридор. Тотчас кривоногий солдат, на которого я нечаянно наткнулся, ударил меня кулаком в живот.

— Вы что, психи? — завопил я. — Позовите старшину Лазарева!

— Будет тебе Лазарев, — негромко сказал Булыгин. — Бери его, Хасанов.

— Чего вертухаешься? — ласково спросил тот. — Ты не вертухайся, я тебе не американец! — И ударом кулака расквасил мне губы.

Следователь оказался немолодым, лысеющим блондином с белыми бровями и ресницами. Нежно-розовое лицо его было усеяно мелкими веснушками, оттопыренные уши светились в лучах настольной лампы. Он имел звание капитана — на голубых погонах желтели золотые «птички». Следователь что-то писал, прилагая к этому серьезные усилия: делал росчерки, поводил плечами, склонял и выпрямлял спину, кривил тонкие бесцветные губы.

Посредине комнаты стоял привинченный к полу табурет. На него меня и посадили. Конвоир привязал мои руки к перекладине и ушел.

Следователь писал. Через полчаса у меня начали ныть спина, шея, плечи. Я пробовал переменить позу, но веревка больно впилась в запястье.

Следователь писал. Когда ему надоедало мое шевеление, он говорил:

— Будешь ёрзать, привяжу костыли. — Потом он собрал написанное в папку, нажал кнопку звонка. — Отнесите полковнику Мранову, а если этот хряк будет ныть, скажете, что тут все, больше не будет. Да ему и этого хватит.

Затем он достал из портфеля немецкий термос, налил в стакан чаю, кинул туда дольку лимона, три куска сахара и принялся размешивать ложечкой.

У меня давно пересохло в горле, но просить воды я не стал — он мог посчитать это слабостью. Между тем следователь продолжил пытку: он вынул вареную курицу и стал разрывать ее на части, медленно жуя и поглядывая на меня без интереса.

Прошел еще час. Сытно икая, капитан стал просматривать иллюстрированные журналы. Все они были о спорте и женских модах — следователь обожал лошадей и женщин. Отдохнув немного, он обошел стол кругом и уселся на его край, свесив жирную ягодицу, как старый мерин — свою губу. Затем повернул настольную лампу так, чтобы она светила мне в глаза.

— Ну что, сам во всем признаешься или нам из тебя вытягивать?

— А в чем признаваться, товарищ капитан? — мне показалось, что сейчас речь пойдет о моих отлучках из части, но неужели это кого-нибудь интересует, кроме командира батареи Рябкова — старого холостяка и, как уверяли знакомые девочки, полного импотента? Тогда, может, о наших бесконечных драках с десанниками в Минске, возле кинотеатра и в городском парке? Но, во-первых, уже спрашивали; во-вторых, — и это знают все, — начинают всегда десантники. Их командир полка прямо заявляет своим: «Ко мне в полк с битыми мордами не возвращаться!» И потом, насколько мне известно, убитых до сих пор не было...

— Если насчет самоволок, товарищ капитан, то я уже докладывал командованию: четвертый месяц не дают увольнительных, поневоле приходится — через проволоку...

С минуту следовательно изучал мое лицо, затем поднял палец с волосочками и помахал им перед моим носом.

— Горбатого лепишь? Под дурачка хлещешь? Не пройдет. Мы знаем, что ты не дурак. Среднее образование имеешь. — Он достал пачку «Беломора», закурил и неожиданно сунул папиросу мне в рот. — Покури и подумай: стали ли бы мы с тобой возиться, если бы не знали о тебе всё?

Моим первым желанием было выплюнуть папиросу. Докуривать чинарики в полку — обычное дело, но то — от своих. Тут же — неизвестно кто грязными лапами лезет прямо в рот... Однако курить хотелось до боли в ушах, и я, преодолевая отвращение, сделал несколько затяжек.

— Вот, к примеру, — говорил следовательно, — ты сигаешь через колючку, бежишь к своей марухе, которую зовут, между прочим, Зося Венцева, развлекаешься с ней и не знаешь, что она есть немецкая пособница.

— Да вы что?! — вскричал я и дернулся на табурете. — Какая она пособница? У нее всю семью расстреляли, она сирота! — Мне стало жаль бедную, лас-

ковую Зосю, чего доброго, посадят, а у нее даже зимнего пальто нет...

— Мы эти сказочки слышали, — сказал следователь, — кого ни возьми, у всех семью расстреляли, он один остался, а по документам расстрел этой семьи не значится!

— По каким документам? — опешил я. — Вы что же, немецкими приказами пользуетесь?

— А почему нет? Немцы — народ точный, если расстреляли, так и пишут: расстрелян там-то и там-то, исполнитель такой-то. Вот вы со своим взводным в парке имени героев-челюскинцев антимонию развели. Честного бойца Лисейчикова подбивали дать ложные показания, будто люди убиты нашими органами... А он устоял, не поддался. Твой взводный за это ответит, но речь не о нем.

Так, значит, Хизов арестован? А от меня чего хотят? На Хизова я все равно не покажу. Да и не было никакого разговора! Так, стояли, смотрели...

— Вот и выведем тебя на чистую воду, — продолжал капитан.

— Меня?

— Тебя. Ты ведь не просто болтун, а враг! Грамотный враг. Вон какое послание друзьям написал — ничего не поймешь. И в парке помалкивал. А почему? Потому что знал, что за этим стоит. Ну да ладно, расскажи, что это за вражеский союз ты организовал. Как его... СДППШ называется. Это что же: диверсия, пропаганда, шпионаж, а «с» как расшифровать?

— Какая диверсия? Какой шпионаж? — мне стало весело. — Шутите?

— Да нет, шутники не мы. Шутники там, — он указал на дверь, — вот они пошутить любят. Видал, какие у них грабли? Во!

Что это, угроза? Хотя ребята действительно на подбор...

— Товарищ капитан, да о нашем «союзе» только глухой не слышал! Мы же не скрывали. Чего же скрывать, если ничего в нем плохого нет? Обычная солдатская дружба. Дурачества всякие... Вот и «союз» этот...

— Тоже шуточки?

— Ну да, конечно, шутка! С фантазией, правда...

— С фантазией? — следовательно приблизил свое лицо к моему так, что, будь у меня желание, я мог бы уку-
сать его за нос. — Обратно нам лапшу на уши ве-
пшаешь? — он грязно выругался. — Признаваться тебе
надо, а не дурочку строить, понял?

— Да в чем признаваться-то? — единственное, что
я действительно понял, так это то, что моему следо-
вателю сейчас очень нужно рассердиться. И не про-
сто рассердиться, а рассвирепеть, впасть в состояние
бешенства. Но сытный ужин не располагал к драке —
он тянул ко сну. Капитан не удержался, зевнул.

— Вот что, грамотей, пиши-ка сам. Обо всем. Даю
тебе последний шанс... Ох-хо-хо... Следствие учтет
чистосердечное признание. И... это самое... не говори
мне больше «товарищ». Не товарищи мы теперь.

— Ладно. А о чем писать? Скажите же наконец! Я
не знаю.

— Чего тут не знать... Пиши, кто, когда и как тебя
завербовал, кому ты и члены твоего «союза» служи-
ли, на кого шпионили, от кого получали задания. Вот,
чего тут хитрого? Как было, так и пиши... Ох-хо-хо!
Ноги болят. У тебя ничего не болит? Ничего, будешь
упрямиться — заболит...

— Товарищ капитан, разрешите обратиться к вам
с личным вопросом?

Он благодушно кивнул.

— Обращайся.

— Скажите честно: вы, правда, не шутите?

Он слегка смутился.

— Какие там шутки... — Кажется, мой наивный
вопрос застал его врасплох, он некоторое время сидел
в кресле, потом поднялся, налил воды из графина, не
выпил почему-то, закурил снова и стал ходить по ка-
бинету. Потом наткнулся на меня, терпеливо ожида-
ющего ответа, взял стул и уселся напротив. — Слушай,
парень, я тебе гожусь в отцы, так могу ли я врать?

— Наверное, не стоит, — согласился я.

— Не стоит. Вот я тебе и говорю честно: раз по-
пал к нам, будешь тем, кем мы тебя захотим сде-
лать.

— Как это?

— А вот так. Тут через мои руки всякие проходили. Тоже сначала возмущались, но поняли: никуда от нас не деться! Эта контора...

— Контора по превращению честного человека в шпиона, диверсанта, предателя?

Он нахмурился, засопел и с минуту сидел неподвижно. Прислушивался, не подкатывает ли злоба. Злобы по-прежнему не было — капитан не просто годился мне в отцы — он мне симпатизировал. Проговорил назидательно:

— Чтобы выявлять и пресекать попытки антисоветских настроений, выступлений и контрреволюционных заговоров, мятежей и прочего, мешающего народу идти по пути к коммунизму. Понял?

— Нет, не понял, — я сделал ударение, как и он, на последнем слове, — не понял, зачем вам все это.

— Мне это не надо, я — на службе.

— Ну не вам, а вашему начальству.

— А это не твоего ума дело. — Он зашел за мою спину, развязал веревку и слегка подтолкнул меня к столу. — Мой тебе совет: садись и пиши сам — так лучше для тебя.

Я пересел в кожаное кресло и блаженно вытянул ноги. Что бы ни произошло дальше — наплевать. То, что есть в эту секунду, — хорошо...

— На вот, — следователь протянул стопку чистой бумаги и ручку. Я взглянул на него. Надо мной стоял пожилой усталый человек и упрямо тыкал пальцем в бумагу, требуя невозможного. — Значит, так... «В контрразведку СМЕРШ Минского военного округа БССР от сержанта Слонова Сергея Николаевича одна тысяча девятьсот двадцать шестого года рождения, русского, уроженца...»

— Уроженца, — поправил я машинально.

— Не умничай, пиши, как говорю, — ворчливо произнес он, — «уроженца города такого-то» — адрес укажи. Теперь так: «Считаю своим долгом сообщить следующее...»

Я положил ручку.

— В жизни не писал доносов.

Он удивился.

— Какой же это донос? Донос — это когда на другого клепаешь, а ведь ты — на самого себя.

— На себя?

— На себя, а как же! Чтобы... это самое... облегчить вину... Я ж говорю: чистосердечное раскаяние...

Этажом выше что-то грохнуло, дрогнула трехрожковая люстра над моей головой, с потолка посыпался известковый иней. И сразу же чей-то истошный крик прорезал тишину ночи. Капитан приоткрыл дверь, прислушался, покачал головой.

— Глупо упорствовать. И себя не сохранишь, и людям хлопот прибавишь.

Он сел в кресло напротив меня и, казалось, задремал. А сверху все несло тоскливо и безнадежно «А-а-а-ы-ы!», в котором мне чудился знакомый голос. За окнами понемногу светало, по коридору застучали шаги, послышался разговор, захлопали двери. Кто-то, заглянув в кабинет, спросил: «Ну, как у тебя?», на что мой следователь сонно ответил: «Да пока никак» — и обратился ко мне:

— Ну что, будешь писать свое признание или нет?

— Товарищ капитан, — сказал я, — скажите честно: кто из нас двоих полный идиот — вы или я? Ведь то, что вы от меня требуете, извините, странно слышать от нормального человека, да к тому же немолодого, в летах...

Закончить эту красивую фразу мне не пришлось: следователь нажал кнопку — и за моей спиной выросли два здоровенных лба.

— Приступайте, — сказал им капитан и отвернулся к окну. Там медленно всходило солнце.

* * *

Очнулся я в другой камере, узкой и совершенно пустой, если не считать жестяного бачка в углу, от которого несло мочой. В камере было полутемно — на стенке лежал тусклый свет от окна, заколоченного снаружи деревянными досками, скошенными книзу. Я лежал на цементном полу, и руки мои скользили по чему-то липкому — то ли грязи, то ли мазуту. Одним глазом — другой не открывался и силь-

но болел — я вглядывался в дверь. В центре маленькое круглое отверстие. «Глазок», — догадался я и сделал попытку подняться. Дверь отворилась, и какой-то человек в черной мятой куртке и таких же брюках с размаху плеснул мне под ноги ведро холодной воды.

— Ты что делаешь?! — завопил я, но человек молча взял второе ведро и вылил вслед за первым. После этого дверь закрылась.

Я стоял посреди камеры и ждал, что еще придумают мои мучители, — сначала дурацкие вопросы, потом мордобой, потом — воду в камеру. Ниже «глазка» имелся квадратный вырез размером в четверть¹. В этот вырез я и постучал. Окошечко открылось, и пожилой, болезненного вида надзиратель в потрепанной шинели угрюмо спросил:

— Чего надо?

— Какой-то обалдуй мне в камеру воду льет. Доложите начальству. Мало того, что посадили, так еще издеваются!

Надзиратель пожевал губами.

— Сколько ведер тебе влили?

— Два! А пол и до этого был какой-то липкий. Безобразия!

— Правильно, — сказал надзиратель, — безобразие. Недосмотрел. Велено три. Волобуев!

— Постойте! Обождите! — вскричал я. — Как — три?!

Но дверь уже открылась, и тот же человек в черном вылил мне под ноги еще одно ведро воды.

— И полведра за «обалдуя», — сказал надзиратель, — чтоб был повежливей.

Черный человек повернулся, чтобы зачерпнуть в баке, но я опередил его. Ударом ноги в тощий зад опрокинул его вместе с баком, затем, не давая опомниться надзирателю, отобрал у него ключи, затолкал в камеру, запер ее и сунул ключи в карман. И только тогда огляделся. Вдаль тянулся коридор со сводчатым потолком и множеством дверей на обе сто-

¹ Четыре вершка (вершок примерно 4,4 см).

роны. Замыкала его толстая решетка с узкой — тоже решетчатой — дверцей. Пять или шесть слабых лампочек освещали это помещение без окон. В воздухе стоял запах человеческих испражнений, потных тел и прокисшего теста. Я в растерянности оглянулся. Человек в черном стоял, опустив руки по швам.

— Куда мне теперь? — спросил я его и вдруг узнал своего бывшего начальника штаба полка майора Волобуева. — Здравия... желаю... Что вы здесь делаете, товарищ майор?

— То же, что и ты, — ответил он. — Уже допрашивали?

— Кажется, нет.

— А подбитый глаз?

— Это мы выясняли, кто из нас идиот.

— Выяснили?

— Да. Идиот — следовательно: задает такие вопросы...

— Готовый протокол давали подписывать? Нет? Ну так дадут. А вопросы написаны не им, а теми, кто повыше. Ему тоже деваться некуда, как, впрочем, и тебе. Вы оба связаны одной веревочкой. Упорствовать глупо — подписывай сразу.

— Но ведь в этом нет логики.

— А ты ее и не ищи. Нет ее. Ни у них, ни у тебя, в твоих поступках. Вот ты зачем надзирателя запер? Бежать собрался? Так откуда не убежишь, это внутренняя тюрьма, подвал. Так в чем логика твоего поступка, где смысл?

Смысла действительно не было, я вздохнул.

— Что же мне теперь делать?

— Сначала выпустить надзирателя, затем попросить у него прощения. Он не станет поднимать бучу — могут уволить, а у него дома жена больная и куча детишек. В надзиратели пошел, чтобы не подохнуть с голоду, в Минске теперь таким, как он, работу найти трудно. У него грыжа. А вообще — неплохой человек. Меня вот на работы выводит. Не положено подследственного, а он берет. Баланду разношу, полы мою, нужники чищу...

— Воду в камеры льете, — напомнил я.

Он кивнул.

— Только не в камеры, а в карцеры. И не во все, а в «мокрые». В твоём давно никто не сидел, а как тебя приволокли, велели три ведра... Белобрысый — это твой следователь?

— Мой.

— А у меня был чёрный. Цыган, наверное. Все расстрелом грозил — не вышло: статья не позволяет. Глупая статья. 58-10.

— А за эту работу вам платят?

— Здесь миска баланды день жизни сохраняет, мне ведь передачи передавать некому.

— Сколько же вы тут... кантуетесь?

— Третий месяц. Все никак осудить не могут. Статья есть, я на месте, а «патриотов» никак не найдут. Видно, уважали меня в полку...

— Уважали.

— Ты что, у нас служил? То-то, я смотрю, лицо вроде знакомое. А надзирателя ты все-таки выпусти. Не дай бог, начальство нагрянет.

Я повернул ключ в замке. Так, значит, мой капитан обиделся за «идиота»? А если не на это, а на строптивость? Похоже, все мои допросы и мордобой — впереди...

Надзиратель вышел не сразу — стоял, прислонясь к стене, смотрел в пол. Видно, решил, что его песенка спета. Увидав, что, кроме нас, в коридоре никого нет, кинулся на меня с кулаками. Волобуев подошел, что-то шепнул на ухо. Старик опустил руки, но разразился бранью:

— Гады! Сволочи! Суки позорные! А ты, бандит, иди сюда! — и втолкнул меня в соседнюю камеру. Воды здесь не было, но не было и света. От боли во всем теле — «молотобойцы» гражданина следователя постарались — я едва стоял на ногах, а когда лег, ощутил под боком не бетон, а что-то мягкое. Пощупав рукой, определил: ветошь... Каптерка! Спасибо, друг!

Мгновенно заснул.

* * *

Карцеры плохи прежде всего тем, что в них нельзя спать днем. Топчан вносят в одиннадцать вечера, а в пять утра убирают, все дневное время заключенный

должен стоять или ходить по узкому бетонному колодцу, если же к этому добавить воды, то даже на корточках присесть у стены нельзя — все вокруг пропитывается сыростью. Камера, куда я попал теперь, была хороша тем, что позволяла спать сколько душе угодно. Кормежка, правда, сохранялась штрафная — горячая пища раз в три дня, в остальное время — немного хлеба и две кружки воды, но, когда дежурил старик, появлялся майор Волобуев и подбрасывал мне то хлеба, то луковицу, а однажды, вынося «парашу», сунул кусок сала. Несмотря на поддержку, у меня на четвертые сутки начала кружиться голова, на шестые я почти все время лежал. По прошествии семи суток поздно вечером за мной пришли. Дежурил как раз старик, Волобуев драил пол в коридоре. Мы кивнули друг другу, а мне надо было сказать ему: «Спасибо, век тебя не забуду!»

После карцера меня почему-то передали другому следователю — молодому, жилистому, с черными усами и бакенбардами. Допросы велись по-прежнему ночами, и вопросы задавались те же самые, и, как раньше, меня привязывали к табуретке, только теперь не веревкой, а с помощью наручников. Фамилия нового следователя была Кишкин. У него тоже были погоны военно-воздушных сил, но к тому времени я уже знал, что следователи контрразведок носят погоны той части, за которой числятся. Капитан Кишкин летал только в лифте. При нем меня стали бить чаще и упорнее. Изредка в комнату заходил наблюдавший за следствием подполковник Синяк — пахнущий одеколоном человек с сытым, лоснящимся лицом и лакированными ногтями — и еще один — должно быть, его помощник — веселый малый, живой, как хореk, всякий раз начинавший свою работу с включения радио на полную мощность. Ни лица его, ни фамилии я не запомнил, но хорошо помню его излюбленный удар: ребром ладони в бок. Подполковник же бил редко, и никогда — голый рукой: боялся поломать свои красивые ногти.

Майор Волобуев оказался последним эком, которого я видел до конца августа. С начала сентября меня перевели в камеру-одиночку и продержали там один-

надцать месяцев, постоянно допрашивая. Обнаруженный у меня при обыске дневник, в котором, кроме эпиграмм и анекдотов, был записан «Устав союза СДПШ», для следователя явился находкой, а для меня катастрофой. Вполне безобидные, разве что иногда ёрнические, пункты «Устава» следователь Кишкин умудрился прочесть как антисоветские, направленные на свержение социалистического строя. Ему незачем было подсовывать мне готовый протокол «чистосердечного признания», он со спокойной совестью допрашивал меня по пунктам: для чего создан союз СДПШ, какие цели мы преследовали, сколько было его членов, от кого мы получали задания, где были явки. Из ряда идиотских эти вопросы сразу перешли в разряд серьезных. В середине сентября арестовали Полосина, Шевченко пока оставался на свободе. Несмотря на мое упорное нежелание признавать за своим союзом антисоветский характер, следователь упорно искал доказательств в обратном. «Дело» мое разрасталось. С ноября появились вопросы, касавшиеся нашего мистического «хозяина», меня уговаривали не бояться, назвать его имя, фамилию и воинское звание, и даже подсказывали какую-то фамилию — кажется, генерал-полковника. Получив отказ, огорчились и били уже собственноручно — у Кишкина оказались крепкие кулаки и ботинки с жестким рантом... В допросах, мордобое и ночных бдениях прошла осень, наступила зима. Одиночка моя промерзала от пола до потолка — в Минской центральной тюрьме отопления не полагалось — на стенах серебрился иней. Как назло, я ничем не болел. Простуженный следователь Кишкин, кашляя и чихая, ворчал:

— Вот что значит молодость: никакая холера тебя не берет. И спишь крепко — удивительно.

В отличие от прежнего, новый следователь любил поговорить. Устав от битья, устраивался в кресле, вытягивал ноги и начинал совершенно спокойно:

— Сам ты виноват. Зачем упорствуешь? Не упорствовал бы — никто бы тебя и пальцем не тронул. На кой ты нам! И возмущаешься напрасно: без вины у нас не бьют. Вот ты кричишь, что любишь Родину... А какую именно? Есть две: малая — это твой

дом, улица, город, а есть большая — это вся наша огромная, необъятная страна. В ней есть все народы, какие только имеются на планете. Как говорится, каждой твари у нас по паре... Даже негры есть. Правда, привозные. Любишь негров? Нет? А надо. Если не любишь негров или китайцев, это расизм. А если любишь одних русских, это национализм. Чувствуешь?

— А если я не люблю некоторых русских?

— Совсем плохо, это уже космополитизм. Знаешь, что за штука? Нет? А ведь нам и с этим приходится бороться.

— Как же, как же! Переименовали папиросы «Норд» в «Север», «французские» булочки стали «городскими»...

— ...и посадили за решетку полтысячи космополитов, потому что и с помощью булочки можно проводить враждебную идеологию.

— Неужели с помощью булочки?

— Не иронизируй, молод еще. Лучше вникай, зачем я тебе все это говорю. А затем, чтобы ты понял: мы можем пришить тебе любую статью. Всегда найдутся патриоты, которые «припомнят», как ты по пьянке или после отбоя в казарме или в бардаке высказывался, допустим, насчет последнего постановления правительства о журналах «Звезда» и «Ленинград». Кстати, болтал насчет этого документа? Врешь, не мог не болтать. Все вы, интеллигентники, лезете туда, куда вас никто не просит.

Эти ночные беседы я потом осмысливал в камере. Прав следователь, любой закон у нас как дышло: куда повернут, туда и вышло. Прав Кишкин также насчет моего отношения к этому постановлению и к речи Жданова. Они на меня свалились как снег на голову. Дело в том, что я еще в школе читал с эстрады рассказы Зоценко и очень в этом преуспел. Продолжалось это и в армии, после войны, когда в нашей части появилась художественная самодеятельность. Как секретарь комсомольской организации, я был обязан сурово осудить «космополита» Зоценко и «блудницу» Ахматову, но, как поклонник великого сатирика, не мог этого сделать — и важное правитель-

ственное постановление прошло мимо внимания моих комсомольцев. Сейчас мне и это вменялось в вину.

В одной из ночных «бесед» Кишкин коснулся положения колхозников в белорусской деревне. Нарочно расписывая их беспечную, сытую жизнь, он краем глаза наблюдал за мной. И не напрасно. После передислокации из Германии в Минск наш полк плотно увяз в хозяйственных делах — надо было заготавливать лес для ремонта казарм, картошку, сено для лошадей и коров. На сельхозработы артдивизионы направлялись по очереди. В село Прилепцы Плещаницкого района Минской области, где нашему полку отвели делянки, мы прибыли в полном снаряжении, с палатками, походной кухней и запасом продуктов на месяц. Но палатки остались нераспакованными, ибо местные вдовы и молодухи справедливо решили, что таким бравым парням незачем жить в палатках за селом, когда в селе имеются избы с теплыми печками и мягкими перинами...

Как нашим бригадам удавалось выполнять норму лесорубов, так никогда и не узнало начальство. А секрет был прост. В первый и второй день бригады на лесоповале работали дружно, выполняли и даже перевыполняли... И лейтенант Серегин — наш старший — обмеривал и записывал в блокнот не туфтовые, а самые настоящие «кубы», но на четвертый день начался кордебалет. Разнежившись в постели с красавицей Дусей, известной в селе своим легким нравом, лейтенант Серегин приходил в лес поздно. К тому времени наши лесорубы успевали перетащить сложенные накануне и уже принятые Серегиным штабеля или даже просто развернуть их на сорок пять градусов... Практиковался еще повал гнилья, но это было небезопасно — Серегин мог своим деревянным метром проткнуть гнилые бревна насквозь...

Жизнь в лесу нам нравилась. С каждым приездом отношения с местными жителями становились теплее, разговоры с ними откровеннее. От них мы узнали о бабьем бунте, случившемся сразу после освобождения района от немцев. Жившие при оккупации вольготнее — немцы сюда не заглядывали — крестьяне успели отвыкнуть от колхозных порядков, так что, когда

из райцентра приехал агитатор, никто и не подумал идти на собрание — знали, о чем пойдет речь. На смену этому агитатору из района пожаловала целая куча народу во главе со вторым секретарем райкома ВКП(б). Приехал с ними начальник райотдела милиции и два солдата с автоматами. Народ на собрание уже не приглашали, а сгоняли. Сенной сарай, куда собрали бывших колхозников, просторен, но пуст — не на чем было в нем сидеть, и люди слушали приезжих стоя. Первым выступал секретарь Бульбаницкий. Рассказал о славной победе над фашистскими извергами, упомянул героическую борьбу против них партизан и похвалил самих прилепских.

— Ваш колхоз «Путь к коммунизму» был до войны лучшим в районе. Продолжайте и дальше держать высоко знамя Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина. Ура, товарищи!

— К его изумлению, ответного дружного «ура» не прозвучало. Бульбаницкий насторожился.

— Вы что, не хотите возрождать свой колхоз?

— Не хотим! — дружно ответили из задних рядов.

— Кто это не хочет? — привычно начал секретарь. — Немецкие прихвостни не хотят? Фашистские подстилки? Тищенко, выясни...

— Мы не подстилки, мы бабы! — ответили ему. — А выяснять нечего. Мы все заодно.

— Та-а-ак... — Бульбаницкий нагнулся к низкорослому начальнику милиции. — Как у них насчет немецких пособников? Хватает?

— Насчет этого хреново, — ответил Тищенко, — даже бывших полицаев нет. Не шли они в полицию.

— А староста? Был у них староста? Не могло не быть!

— Был, да только служил не немцам, а нам. Со мной связан был, с моим отрядом. Расстрелян в сорок третьем. Вон памятник. Сами поставили селяне.

— Да неужто вовсе нет осужденных?! — возмущился Бульбаницкий.

— Есть один. За кражу сидит. Только он из примаков. Москвич. В общем, самое благополучное село. Одни патриоты. Не знаю, чего это с ними сегодня...

— Все равно, — сказал Бульбаницкий, — будем пресекать... Товарищ Тищенко, поставьте наших бойцов у входа. Чтоб ни одна душа ни сюда, ни отсюда!

Но бойцы и сами стояли у входа: один кадрился к молодухе, другой закуривал из чьего-то кисета...

— Такими силами нам не справиться, — сказал Тищенко.

— А может, все-таки поговорить? Я ведь предлагал... — начал комсомольский работник — молодой человек в кожаном пальто и городской шляпе, — мне в обкоме дали несколько воззваний...

— Сверни свои воззвания трубой и сунь в задницу! — прошептал Бульбаницкий. — Не видишь, какая обстановка? Нам сейчас не воззвания нужны — автоматы!

— Тут недалеко воинская часть, — раздумчиво проговорил Тищенко, — можно послать...

— Годится, — сказал Бульбаницкий, расправляя плечи. Он растегнул макинтош — и бабам стали видны медали на груди партийного секретаря. — Товарищ Тищенко, поезжай сам. Обратись к командованию. Скажи, партия просит помощи!

Старенький ЗИС-12 зарычал, развернулся, обдал грязью зазевавшихся баб и умчался. Прошло полчаса, час. Старухи сжалились, принесли скамейки, и приезжие сели.

— Сколько езжу по району, такое впервые, — сказал человек в армейских сапогах, шинели без погон и кепке.

— В других местах проще, — пояснил Бульбаницкий, — там в каждом селе по две-три семьи полицаев, да еще столько же в бегах. Чуть поднажал — народ лапки кверху... А здесь — ни одного полица, да еще двадцать шесть человек — бывшие партизаны — вот тут у Тищенко список — и еще семнадцать в Красной Армии служили.

— По всем показателям — наше, советское село! — с восторгом произнес комсомольский работник. — Поговорить бы сначала...

— Так чего же они артачатся? — крикнул человек в кепке, свирепо оглядывая толпу. — Они артачатся, а вы с ними цацкаетесь! Что с того, что — ни одного

полиция? Они ж в колхоз не хотят! Саботируют решения партии!

— Ты, Астафьев, не горячись, — осадил его Бульбаницкий, — это тебе не завод. Да и сил у нас мало. Вот дождемся Тищенко...

Начальник милиции приехал в сопровождении еще одного грузовика с танкистами. Увидев толпу баб, солдаты сначала растерялись — воевать вроде не с кем, — а потом стали шустро прыгать из кузова и расправлять гимнастерки... Молоденький лейтенант — тоже недоумевая — вскинул ладонь к виску:

— Товарищ секретарь райкома, бойцы танкового подразделения прибыли для борьбы... для борьбы... прибыли в ваше распоряжение! Командир взвода лейтенант Опенкин.

Заподозрив неладное, бабенки начали разбегаться.

— Задержать! — приказал Бульбаницкий. — Запереть в сарай! Никого не выпускать! Мужиков привести ко мне для беседы.

Танкисты ловили молодух с удовольствием, те визжали и, похоже, не прочь были еще побегать, но вскоре им стало не до шуток: на двух грузовиках прибыли автоматчики и принялись быстро и умело загонять всех в сарай. Загнав, заложили ворота засовом. Нужда в танкистах отпала, они уехали. Возле избы бывшего партизана Дубка секретарь райкома беседовал с мужиками. Из сарая доносились крики баб:

— Досыть нам вашего колхозу! Наилысь!

— Досыть! Поголодувалы наши диты, хай вин пропадае!

Мужики молчали. Ночь прошла хлопотно. Бабы были в сарае, дети кричали снаружи, солдаты били прикладами в стену, матерились:

— Молчать, немецкие подстилки! Постреляем к чертовой матери!

Мужики молчали. Утром Бульбаницкий понял, что с бабами ему не совладать.

— Собирайтесь в район, мужики. Там потолкуем...

— Так ведь мы что... — оправдывались те, но их уже выводили по одному, подталкивали к ЗИСу...

И бабы не выдержали, сломались.

В колхоз вступали хотя и со слезами, но дружно,

голосовали единогласно, как раньше, и вновь колхоз «Путь к коммунизму» стал отдавать государству все, чтобы потом, к весне, плакать всем миром над пухнувшими с голоду ребятишками.

Приезжая в Прилепцы, мы честно расплачивались за приют и ласку: в свободное от лесоповала время впрягались в плуг и вместе с бабами и девками вспахивали скудные наделы. За плугом обычно шел инвалид и чмокал на нас, как на лошадей, для веселья молодух. О такой пахоте я рассказал следователю.

— Клевета на колхозную действительность, — заявил он и вписал в мое «дело» еще одно обвинение. После этого я стал осторожнее, но его подлость подхлестнула мою память. Значит, все, что мы видели своими глазами, тоже назовут клеветой? Даже тех женщин в заколоченных досками вагонах, в Смоленске, в 1946 году?

Прибыв из Германии, наш эшелон разгрузился на станции Смоленск-Товарная. Боеприпасы и технику накрыли брезентом, поставили часовых. Прохаживаясь по платформе, я обнаружил на запасном пути эшелон с людьми. Нас тоже возили в телятниках, но не заколачивали двери крест-накрест досками... Через щели и окна на меня смотрели женщины, я слышал за их спинами детский плач, а проходя совсем близко, услышал шепот:

— Товарищ, дайте хлеба!

— Кто вы? — крикнул я.

— Мы литовцы, — был ответ. И снова: — Товарищ, дайте хлеба, дети кушать хотят!

— Да за что же вас... досками-то заколотили?

— Мы литовцы, — был ответ.

Подошел часовой — не наш, с красными погонами, — спросил, какого х.. мне тут надо, но, покосившись на мои медали и щегольский трофейный кинжал, сказал:

— Чего их спрашивать, они ни хрена не знают.

— А ты знаешь?

Он дососал сигарку, сплюнул в сторону и поправил винтовку с примкнутым штыком на спине.

— Я-то знаю.

— Тогда скажи, за что их заперли, куда везут?

Он с подозрением прищурился.

— Чо, знакомые, чо?

— Да нет, так интересуюсь.

— Которые антиресуются, велено задерживать.

— А ты задержи меня. — Я, как бы невзначай, поиграл кинжалом.

— Велено — которы гражданские подходят, — сказал он, — письма али еще что кидают.

— Хлеб?

— Хлеб тоже не положено. В ём колюще-режущее всунуть можно.

Из вагонов доносился стон.

— Их что же, не кормят?

— Чо, не кормят... Буряки даем, воду...

— А долго им ехать?

— Долгонько. Всех не довести. Осьмнадцать намени дуба дали, он, коронить повезли! А ну, скройсь, холера! — замахнулся он прикладом на чью-то тонкую и бледную руку, не то подзывавшую нас, не то махавшую кому-то другому. — Така вражина! Хвашистка!

— Это девочка. Или подросток. Видишь, рука какая тонкая?

— Все одно — хвашистка. Взводный сказал: все предатели.

— Дурак твой взводный, — сказал я.

— Послушайте, — донеслось из вагона, — она умирает! Пожалуйста, воды!

— Клеба! — кричали из соседнего. — Капельку клеба! Пожалуйста...

Я кинулся к будке, где у нас было что-то вроде караульного помещения. Разбуженные мной солдаты долго не могли понять, для чего мне нужен весь наш сухой паек. Огустошив вещмешки, я бросился обратно на станцию. На запасных путях стояло несколько эшелонов с горючим, техникой, трофеями, но вагонов с литовцами не было.

* * *

Насчет моего якобы крепкого сна следователь ошибся. Спал я мало, ибо именно здесь, в одиночке Минской центральной тюрьмы, начал писать. Сначала —

чтобы не сойти с ума: Кишкин говорил, что у многих после трех-четырех месяцев одиночки «съезжает крыша», мое же сидение в башне перевалило за полгода. Затем — потому что уже не мог не писать. До тюрьмы я сочинительством не занимался. До нее я сначала был ребенком, потом, минуя юность, солдатом. У каждого из этих периодов свои заботы, далекие от литературы. Сочинять я стал в тюрьме, и, смею утверждать, благодаря одиночке. Робкие попытки писать стихи были и раньше, но для этого хватало эмоций. Для прозы, которой я теперь занялся, одних эмоций мало, нужен жизненный опыт. Его у меня тоже было маловато, но зато имелась буйная фантазия, которая, говорят, во многом заменяет и опыт, и знания, и немалая начитанность. В доме деда шкафы с книгами стояли в кабинете, в спальне, в гостиной и даже в прихожей, они всё прибывали и прибывали, постепенно вытесняя хозяев. До ухода на фронт я успел перечитать всех русских классиков, в том числе и тех, кого советская власть читать запрещала. Маленький томик стихов Есенина у меня отобрали при очередном шмоне в армии. отобрали не потому, что это был запрещенный поэт, — старшина, проводивший обыск, вряд ли когда-нибудь читал стихи, — а потому, что в солдатском вещмешке не должно быть посторонних предметов.

Дома моим чтением руководила бабушка Оля, иногда дед интересовался прочитанным. Мать с отцом посещали нас редко — отец служил в Средней Азии — и тоже привозили книги. Из них хорошо помню повесть Гайдара «Мальчиш Кибальчиш», стихи Исаковского о колхозной деревне, Ивана Дороница — о том же, «деревенские» стихи Суркова и Жарова. После отъезда родителей я находил эти книги на помойке — одним из преступлений советской власти бабушка считала разорение деревни, которое тогда только начиналось.

Другие книги были моими товарищами. Я пил из этой чаши познания то большими глотками, захлебываясь от нетерпения и жадности, то, наоборот, маленькими, как дорогое вино, смакуя.

В творчестве гениев есть одна особенность: напи-

санное ими кажется сотворенным легко, за один присест. Таков был и Пушкин. Его стихи я перечитывал десятки раз, многое помнил наизусть, и однажды пришел час, когда я, воскликнув: «как это просто!» — взял лист бумаги и за час накатал стихотворение. Потом цветными карандашами изобразил рамку и показал деду. Занятый своими больными, он мельком прочел и сказал «недурственно». К вечеру у меня было готово еще пять стихотворений. Бабушка раскритиковала их, а потом выговаривала деду:

— Ты хочешь искалечить ему жизнь?

— Почему искалечить? — искренне удивился он. — Пусть пишет, коли есть охота.

— В романе Золя «Творчество», — пояснила бабушка, — показан один тупоумный крестьянин. Попав случайно к знакомым художникам, он что-то намалявал. Это «что-то», ради смеха, продали, а крестьянин решил, что он художник, вернулся в деревню, продал дом, скот, переехал в Париж и стал малевать картинки, которые никто не покупал.

— Ты думаешь, наш Сергей бездарен? — догадался дед.

— Каждому свое, — сказала Ольга Димитриевна, — в чем-нибудь другом он, возможно, и преуспеет, но только не в поэзии.

Она много читала — и не только на русском — и мне прислушаться бы к ее словам, но случилось иначе. Как-то поздно вечером у нас в доме появился странный человек. Было это в самом начале Рождества — на завтра мы собирались наряжать елку.

В парадное позвонили, бабушка пошла отворять, и я услышал ее удивленный возглас:

— Вы?! О боже!

Старый ковер, закрывавший зимой дверь в парадное, колыхнулся, и в прихожую шагнул очень высокий человек с худым, словно высеченным из дикого камня, неподвижным лицом и светлыми, как будто наполненными водой, глазами. Был он примерно одного возраста с моим дедом, но, в отличие от него, имел хорошую военную выправку. На нем было серое пальто толстого драпа с башлыком и фетровые бе-

лые бурки. Именно такие носили у нас в городе партийные работники и кое-кто из очень старой интеллигенции. В руках он держал шапку из серого каракуля.

— Признаться, любезная Оленька... Простите великодушно — любезная Ольга Димитриевна, я думал, вы меня не пустите. Многие отказывали...

— Зачем вы приехали, Юрий Андреевич? — затравленно озираясь и выталкивая меня из прихожей, говорила бабушка. — Вас же могут... арестовать!

— Не сегодня, бесценная Ольга Димитриевна, и, надеюсь, не здесь, — с улыбкой говорил гость, но, даже когда он улыбался, лицо его не меняло выражения суровости и каменной неподвижности. Развязав башлык и сняв пальто, он прошел за хозяйкой в гостиную, потирая при этом руки, как видно, от холода.

— Рад! Душевно рад, что у вас ничего не изменилось. Те же кресла, те же картины и, надеюсь, те же привычки... — Пружинно ступая на носки, он ходил по комнате, с удовольствием слушая скрип половиц и трель нашего старого сверчка Эола — дед говорил, что этот сверчок — его ровесник... — А знаете, Ольга Димитриевна, такой прелести нет даже в Париже! Впрочем, понять это может только русский. — Он остановился у книжного шкафа, длинными сухими пальцами провел по переплетам, как по клавишам фортепьяно, прислушался, достал томик Пушкина и начал листать, забыв о хозяйке. Она зашла с другой стороны, умоляюще произнесла:

— Ради бога: зачем вы здесь?

— Одну минуту, — сказал он и продолжал перелистывать страницы, потом что-то нашел: — Вот! — и стал читать с каким-то особенным наслаждением:

Кто из богов мне возвратил
Того, с кем первые походы
И бранный ужас я делил,
Когда за призраком свободы
Нас Брут отчаянный водил?..

— Но это же самоубийство! Вы сумасшедший! — возбужденно говорила бабушка.

Он не слушал и продолжал чтение:

Ты помнишь час ужасной битвы,
Когда я, трепетный квирит,
Бежал, нечестно брося щит,
Творя обеты и молитвы?

— Умоляю, остановитесь! Нам надо поговорить...

Как я боялся, как бежал!
Но Эрмий сам незапной тучей
Меня покрыл и вдалеке умчал
И спас от смерти неминуемой.

— О господи! — в страхе говорила бабушка. — Он, конечно, сумасшедший. Сереженька... Хотя, нет, ты останься. Оксана, милая, сбегай в больницу, скажи Петру Дмитриевичу, что у нас... Впрочем, ты сама знаешь, беги! — и снова обратилась к нашему гостю: — Юрий Андреевич, дорогой, не лучше ли вам отдохнуть с дороги? Вы, верно, устали?

— Напротив, я бодр как никогда! — отвечал он. — Вы лучше послушайте, как это символично!

А ты, любимец первый мой,
Ты снова в битвах очутился...
И ныне в Рим ты возвратился
В мой домик темный и простой.

Он закрыл книгу, но не выпустил ее из рук, а долго стоял возле шкафа, подняв подбородок, словно опять к чему-то прислушиваясь.

— Вы знаете, любезная Ольга Дмитриевна, о чем я вспоминал все эти годы? О нет, не о революции — боже сохрани! Вот о них, моих милых друзьях, — он опять провел пальцами по переплетам, и опять мне показалось, что я слышу музыку, — дорогих сердцу! Сколько слез пролито там, — он неопределенно махнул рукой в сторону окон и на секунду закрыл глаза. — Там ведь нет этих книг, там — другие... А у человека нет и не может быть ничего дороже его юношеской привязанности. Если, конечно, она была! — тут он взглянул на меня. — А вы согласны со мной, юноша? Или тоже вместо Пушкина Демьяна Бедного читаете?

Как родная меня мать провожа-а-ла,
Тут и вся моя семья набежа-а-ала...

— Юрий Андреевич, — ломая руки, произнесла бабушка, — пройдите в кабинет! Здесь... дует...

Хлопнула входная дверь, и на пороге появилась Оксана.

— Идут!

— Отлично! — воскликнул Юрий Андреевич. — В таком случае, я продолжу. — Раскрыв книгу, он прочел, жестикулируя свободной рукой:

Как дикий скиф, хочу я пить.
Я с другом праздную свиданье,
Я рад рассудок утопить...

Дверь распахнулась, и дед в накинутой на плечи шубе вбежал в гостиную. Секунду оба смотрели друг на друга, потом бросились в объятия. Так, обняв за плечи, дед повел гостя в кабинет. Я проскользнул следом. Многого из разговоров не понял, но память была великолепная, и, что не было понято тогда, осозналось через много лет.

Усадив друга в кресло, дед долго молчал, разглядывая его как музейный экспонат, потом сказал:

— Знаешь, Юрий, здесь у нас ходили слухи... Будто ты дрался против большевиков под Перекопом... Конечно, мы этому не верили...

— Нет, почему же, — возразил гость, — все правильно: против большевиков под Перекопом.

Дед осекся и долго молчал. Я видел, как он волнуется.

— Тогда уж рассказывай все. Информация, которую мы получаем, так сказать, из официальных источников...

— У тебя есть карта Крыма? — перебил гость.

Дед на секунду растерялся, потом торопливо достал из шкафа карту, развернул.

— Понимаешь, мы с женой в прошлом году ездили в Крым отдыхать. На Ай-Петри лазали, в Бахчисарае были...

Гость не слушал, склонясь над картой, затем пальцем поманил деда.

— Это здесь. Мой полк оборонял Чонгарскую переправу. Предполагалось наступление красных на этом участке, но шестого ноября неожиданно ударили морозы, лиманы замерзли, и Азовская флотилия красных не смогла подойти к Чонгару. Поэтому Фрунзе начал наступление в другом месте. Вот здесь, у Перекопа.

— Понимаю, — сказал дед, — продолжай.

— На моем участке велась в основном артиллерийская дуэль, но в конце недели красные вышли нам в тыл. Оборонять Чонгар стало бессмысленно, и я повел полк на Таганаш. — Гость откинулся от стола, закурил трубку и долго молчал. — Штыками мы проложили себе дорогу и прорвались к Ишуню. Его еще можно было оборонять, но генерал Врангель, не желая лишних потерь, приказал отходить. Фрунзе предлагал нам сдаться, обещая жизнь всем защитникам Крыма. Многие поверили, но красный главноком свое слово не сдержал: в Симферополе узнали, что все сдавшиеся расстреляны. — Он немного походил по кабинету, затем опять сел в кресло. — Тринадцатого мы вышли к Севастополю. Там уже шла погрузка на французские суда. Грузили госпитали, штабы, беженцев. Потом стала грузиться пехота. Артиллерия занимала позиции на высотах вокруг города до рассвета пятнадцатого. Только благодаря стойкости этих молодцов все воинские части удалось вывезти из Крыма. Вечная память героям! — он опять надолго замолчал. Дед сидел неподвижно. Немного успокоившись, Юрий Андреевич продолжил: — На палубе я стоял рядом с Петром Николаевичем. Когда Крымский берег скрылся из глаз, Врангель сказал: «Для нас с вами все кончено» — и ушел в каюту. И не выходил до самого Марселя. — Он снова встал, подошел к печке и стал греть руки, прижимая ладони к изразцам. — А потом была долгая жизнь в эмиграции, но это уже неинтересно.

После затянувшегося молчания дед спросил:

— Как же ты решил вернуться, Юра? В такое время... А главное — зачем?

— Тот же вопрос задала мне твоя Оля. Отвечу обоим: не знаю!

— Но это же несерьезно! Мальчишество какое-то. Постой, а может, ты мне не доверяешь? Может, ты здесь с каким-то важным заданием?..

— Чепуха, — твердо возразил Буров, — наверное, больше не мог жить там, вот и всё. Я — там, а моя Россия — здесь... Немыслимо! Все годы только и думал, как сойду на нашей маленькой станции, пройду по Романовской, сверну на Ярославскую, потом на Вологодскую, войду в наш старый-престарый дом...

— Но его давно нет! — дед даже привстал в кресле.

— Я знаю, — Буров кивнул, — там теперь сквер. От нашего дома остался один дуб. Его сажал мой прадед. В нашей семье существовал обычай: перед отъездом на войну посидеть под дубом, чтобы вернуться живым. Сегодня я опять посидел под ним... А вообще-то глупо — проделать такой путь, чтобы посидеть в загаженном скверике на неструганой скамеечке. А? Ты не находишь?

— Да. Тем более что за тобой наверняка следили.

— Конечно. От самой границы. И всё не брали. Думали, выведу на связь. А возле Петербурга потеряли! — он хрипло засмеялся и даже хлопнул себя по колену. — Ну не свинство ли с их стороны? Следить за человеком, который сам напросился сюда и которому официально разрешили... Ты что на меня так смотришь? Удивлен?

— Не то слово. Воспитанник Пажеского корпуса, полковник, убежденный монархист...

— Понимаю. Ты был уверен, что я полз через границу по-пластунски... Ах, Петр! Хотя лет десять назад, наверное, так бы и поступил. Тогда было безразлично, где сдохнуть. Сейчас иные планы.

— Ага! — встрепенулся дед. — Я был прав: ты здесь не просто так! Кстати, ты был в Питере? Как там?

— Я там не был, — ответил Буров, — времени отпущено лишь на то, чтобы посетить родные могилки.

— Кем отпущено? — мне показалось, что дед затаил дыхание.

— Судьбой, конечно. Или ты думал, я здесь с разрешения чекистов?

Дед вскочил и в сильном волнении стал бегать по кабинету. Остановившись наконец, спросил резко:

— Ну-с, куда же вы теперь от нас проследуете? Или это тоже военная тайна?

Буров удивленно повернул к нему свою большую, наполовину седую голову.

— Ты хотел спросить — когда? Могу ответить точно. — Он вынул часы, взглянул на циферблат. — Поезд на Петербург через два часа и одиннадцать минут. Ты позволишь провести это время в твоём доме? И, пожалуйста, не переходи на «вы»! Мне больно...

Кажется, деду стало неловко. Спросил уже мягче:

— Но ведь тебя же ищут! Я полагаю, все тамошнее энкавадэ поднято на ноги. Да и в Москве то же самое. Смотри, Юрий, как бы они не вспомнили, откуда ты родом!

— Не считай их наивными. Об этом они подумали в первую очередь. Уверен: у всех моих знакомых в столицах — а возможно, и здесь — сидят чекисты, лицам в штатском розданы мои фотографии, на вокзалах шныряют патрули — проверяют документы у высоких ростом, с военной выправкой... Черт побери, а ведь я действительно не умею сгибаться!.. Впрочем, они все равно опоздали. То, что было намечено ещё в Париже, я выполнил. Почти выполнил. Осталось совсем немного...

— Что именно, Юрий? Ты прости, я штатский человек, в ваших делах ничего не понимаю и все время тебя о них спрашиваю...

— Нет никаких военных секретов. Ты, наверное, удивишься, если я скажу, что моя цель — побывать на кладбище.

— М-м... почему на кладбище? Зачем — на кладбище?

— Наверное, затем, чтобы проститься с близкими.

— Ты серьёзно?

— Вполне. Можешь не верить, но именно ради этого я здесь. Дело в том, что давно было решено: если станет совсем невозможно, я сделаю этот шаг. Мы, русские, странные люди. Для нас материальные блага не главное. То, что мы там голодали, — ерунда. Большевицкий вздор. Постоянной работы, правда, у

большинства не было, но имелось множество благотворительных организаций... Словом, жить можно. Многих это устраивало. Меня же все время тянуло в Россию. Голодную, чужую, но — Россию.

— Эс-эс-эс-эр, — поправил дед.

— Ерунда, — отмахнулся Буров, — эта земля для нас всегда была Россией. Как Санкт-Петербург никогда не был Ленинградом.

— Да... А вот нам пришлось согласиться. Мы — не те, Юра, мы теперь другие. Изменились не только названия городов, изменился сам народ. Не обольщайся: мы приняли эту власть! Мы ей подчинились, не боремся больше против нее, а тех, кто еще борется, называем изменниками... Ты уж нас прости. В угоду этой власти мы своими руками ломали и ломаем церкви, в которых когда-то крестились, сбрасываем кресты, сжигаем фамильные иконы... Наконец, мы предаем друзей и даже родных ради того, чтобы нас самих не тронули. Юра, мы следим за соседями! Каждый обязан донести... Юра, я ненавижу себя! Хотя, как ты понимаешь, на подлости меня не сможет толкнуть даже Лубянка с ее страшными подвалами, просто, говоря о народе, я по привычке произношу «мы»...

— Можешь не объяснять, ты ведь всегда был патриотом.

— Я его любил и люблю! И не надо меня за это осуждать. Я болею оттого, Юра, что этот народ стал другим!

— Успокойся... Не будем об этом. Каждый человек хочет жить и боится смерти. Даже не такой лютой, как в ГПУ. Но ведь есть и другие...

— Знаю. У вас, наверное, иная нервная система.

— Чепуха. Нервная система у всех одинаковая, а вот принципы — разные. Одни неизбежное воспринимают спокойно — это верующие. Другие ждут смерти с радостью. Это фанатики. У меня в полку служили мусульмане — рядовые и унтер-офицеры, человек десять. В их глазах я ни разу не увидел страха — даже когда шли в штыковую атаку! Кстати, один из них спас мне жизнь... Если б у меня было немного денег, я бы ему памятник поставил. Там, в Париже.

— Он погиб?

— Да.

Оба долго молчали, потом дед сказал:

— И все-таки не понимаю, Юрий, какого лешего тебя понесло сюда. Поступок сумасшедшего, а никак не разумного человека.

— Говорю же тебе: это была моя давнишняя мечта! — воскликнул Буров. — Вот и всё! Сначала планировал идти через границу с боем. Даже команду подобрал. Таких же, как ты говоришь, сумасшедших. Потом одумался: пристрелят как собаку где-нибудь в туркменских песках, а я хочу лежать здесь, в этой земле, где лежат мои предки! Я здесь родился... — он долго курил. — Подал прошение через посольство: так и так, во всем раскаялся, осознал, готов понести наказание... По рожам понял: обрадовались. Матерый враг сам лезет в лапы! Много знает, расскажет, а заупрямится — клещами вытянем... Глупцы. Полковник Буров не может стать предателем. Им этого не понять. Для них как раз я — предатель, а они патриоты... Все наоборот. Они охотились за мной с самого начала. За нами всеми. Генерала Кутепова захитили, как какую-нибудь черкешенку, в самом центре Парижа, на глазах у публики. Он прогуливался по набережной, когда рядом остановился автомобиль и элегантный офицер спросил, как проехать в Пале-Рояль. Кутепов начал было объяснять, но офицер разложил на коленях карту... Кутепов нагнулся, тут его схватили, втащили в машину и увезли. Страшно подумать, что они с ним сделали! — Буров закрыл лицо руками. — Ты был прав: у меня имелась еще одна цель: отомстить! Но я их недооценил... — Дед бросился к аптечке, загремел склянками. Буров остановил его: — К черту валерьянку. Мне Оля водки обещала. Петр, Оля, дайте мне водки, хочу напиться до зеленых чертей! Теперь мне все можно: финиталя комедия!

— Постой, разве ты никуда не едешь? — дед был смешон в домашнем халате с пузырьком валерьянки в руках.

— Не еду.

— А как же поезд на Петербург?

— Пошутил. Хотелось еще побыть в этом доме. Здесь совсем как у нас на Вологодской. Даже часы тикают так же: тик-так, тик-так... — Он повернулся к двери и увидел бабушку и свое пальто в ее руках. — Однако, кажется, мне пора... Позвольте, господа, хотя бы посошок на дорогу? — Он взял со стола уже давно приготовленную рюмку, выпил стоя. — Вот теперь всё. Прощайте.

— Куда ты? — удивился дед. — Теперь, когда мы всё выяснили... Да постой же, ведь никто тебя не гонит!

Буров повернулся в дверях, сказал тихо:

— Не надо, Петр. Я могу... ослабнуть...

Хлопнула парадная дверь. Бабушка осмотрела стол.

— И не поели ничего... Неловко получилось. Лучше бы вместо разговоров поели. И зачем я с его пальто — в кабинет? Хотела у печки повесить, погреть, а он решил...

— Не надо, Оля! Не по-христиански это... На дворе мороз...

— Прости, Петя, я хотела как лучше. Ведь спрятать его мы все равно бы не смогли. Соседи наверняка уже пронюхали — у них кухонное окно на нас смотрит... Сейчас все друг за другом следят, а мы вообще под микроскопом...

— Да, да, всё так, — дед бегал по кабинету, заложив руки за спину, — и все-таки нехорошо, Оля. А соседи не виноваты. Законы у большевиков такие: не донес — сам в ответе. Пора это понять и не осуждать их.

— Я и не осуждаю...

Внезапно дед остановился.

— Но ведь можно было отвести его к кому-нибудь! Например, к Прудниковым. Оля, его надо вернуть! Немедленно! Оксана! Где Оксана?

— У себя, наверное. Где же ей быть среди ночи...

— Так пойди и разбуди! Хотя нет, лучше я сам пойду, — он резво побежал в прихожую и стал надевать шубу и боты.

— Тогда отведи не к Прудниковым, а к Томниковым. У них дом большой — роту солдат можно спрятать — и на отшибе стоит, до леса рукой подать...

Она не договорила. В гостиную вбежала Оксана в расстегнутом на груди пальто, простоволосая.

— Ой, лышенько! Що ж це робытся? — она по-детски размазывала слезы кулаком.

— Оксана! — одновременно воскликнули старики. — Что случилось? Где ты была? — бабушка подошла, обняла девушку за плечи. — Ты бегала за ним? Где он сейчас? Где Юрий Андреевич?

— Пид дубом лежит, — ответила девушка.

Ольга Димитриевна в ужасе отшатнулась.

— Под каким дубом? Ты в своем уме? Мороз ведь...

— И височек в крови, и снег вокруг — як куренка зарезали...

— Какая кровь? Что ты мелешь? Петя, что с ней?

— С ней — ничего, — ответил дед, — а вот с ним, похоже, все кончено. Оксана, успокойся, расскажи обо всем.

Сбиваясь и плача, девушка рассказала:

— Як вин пийшов, я за ним тэж... Як чуяла. Вин до погосту — и я. А там милиция...

— Как милиция? Зачем? — тихо спросил дед. — Так, значит, это они его убили?

— Ни. Воны його не бачили. Воны с горла водку пили. Били часовни. А вин, як их побачил, так в сторону звернул. Та швидко так на Вологодску пийшов, дэ його дом стоял. Я не поспила. А колы поспила, вин вже в снигу лежить и пистоль в руке.

Дед снял шапку, потрогал рукав своей шубы.

— Скажи, там тебя никто не видел?

— Ни.

— А ты близко к нему не подходила? Ну, не трогала его?

— Та ни же!

— Тогда я — счас! — дед рванулся к двери, но бабушка прямо-таки повисла на его плечах.

— Не пуцу! Себя погубишь и нас тоже!

— Но он же, возможно, ранен! — крикнул дед. — Как ты можешь, Оля?!

— Могу! — Я впервые видел свою бабушку такой, и мне было страшно. — Да и не таков полковник Буров, чтобы делать что-то наполовину... Скажи ему, Оксана!

— То так, — сказала девушка. — Я бачила: ось туточки, — она пальцем тронула висок, — малесенька дирочка... И кровь. Я такое вже бачила. На хутори нашем, як мойого батьку вбили... — она всхлинула, — тэж така дирка... И кровь...

На другой день деда вызвали в милицию. Но это не было арестом. В маленькой комнатке на деревянном столе лежал голый человек, в котором дед узнал своего друга, но виду не подал. Его вызвали на вскрытие найденного ночью самоубийцы. Вернувшись домой, дед заперся в кабинете и пил горькую, чего с ним раньше никогда не бывало. Поздно вечером вышел оттуда осунувшимся, с растрепанными волосами и, присев к столу, рассказал: кроме двух милиционеров на вскрытии присутствовал сотрудник районного ОГПУ Ларичев — Слоновы его хорошо знали.

— Скажите, доктор, — спросил он, — что сейчас, в нашей прекрасной советской действительности, заставляет людей лишать себя жизни?

— И что же ты ответил? — спросила бабушка.

— А ничего. На дурацкие вопросы отвечать не умею.

Ларичев был молод и боялся смерти. Через год его арестовали, увезли в Москву и там расстреляли. Кто-то донес, что брат его матери состоял в «зеленых»...

На другое утро после ухода Бурова я нашел томик Пушкина, который он читал, и то же стихотворение, но ожидаемого благоговения не ощутил. В окно вместе с солнцем бился и кричал мальчишескими головами морозный зимний день, в прихожей нетерпеливо топал валенками больничный кучер Ефим — мы с ним поедem за дровами для наших печек — сенбернар Мишка (по паспорту Миних Брауншвейг Резон) в доказательство того, что Ефим уже здесь, стащил у него рукавицу и принес мне, бабушка пекла нам на дорогу лепешки...

Вздохнув, я поставил Пушкина на место. Позднее не раз делал попытки вернуться к нему, однако состояние души, о котором говорил Юрий Андреевич, всё не являлось.

Но однажды я заболел ангиной. Вообще болел часто и всегда с удовольствием: никто не поднимал с

постели ни свет ни заря, не гнал в школу; в комнате по такому случаю разрешали находиться моему другу Мишке; я мог читать сколько захочу; наконец, на время болезни меня поселяли в дедушкин кабинет, где зимой очень тепло и особенно уютно: нет нужды просить книгу — они все под рукой. И вот, лежа в одиночестве на диване, я опять потянулся к Пушкину, но взял на этот раз не стихи, а прозу. «Повести Белкина» я читал не раз, но чаще всего перечитывал «Капитанскую дочку». Повесть поражала меня широтой охватываемых событий при очень уплотненном тексте. Как Пушкин мог уловить ту тончайшую грань, до которой только и можно сжимать текст, — как говорила бабушка Оля, «отжимать воду» (многое в тайнах творчества она понимала), — после которой художественность исчезает, а остается сухая схема? Иногда мне казалось, что я нахожу слова, которые Пушкин выбросил в процессе доработки, иногда это был целый абзац, но, прочитав — теперь уже не пушкинскую, а свою — эту новую фразу, я убеждался, что гениальный писатель был прав. В результате таких экспериментов я однажды ощутил себя причастным к... созданию «Капитанской дочки»! Ведь не исключено, что Пушкин сначала находил, а потом выбрасывал именно эти слова и абзацы. С удивлением и страхом оторвался я от чтения и осмотрелся — не брежу ли?.. Но вокруг виднелись знакомые предметы, успокаивающе тикали часы в высоком футляре, похожем на шкаф, приятно пахло камфарным маслом. Дед мой не был охотником даже до пустяшных перемен. Изношенные кресла он не давал выбрасывать не из скупости, а вследствие привычки к ним и, отдавая в починку, настаивал, чтобы новая обивка была по возможности такого же цвета и рисунка. Родственники, в том числе и мои родители, находили это чудачеством, и я был с ними согласен, а тут вдруг в один день понял, почему и Петру Гриневу, и полковнику Бурову было очень важно вернуться в отчий дом, где все осталось без изменений, — им были важны и дороги их корни! Все остальное в жизни — ерунда. И хотя Пушкин ни словом не обмолвился по поводу обстановки в доме Гриневых, я

представлял ее так, словно сам там побывал... Начиная с этого дня я читал Пушкина не иначе как в кабинете деда, на диване, в полулежащем положении, и непременно вечером. Для пущей материализации зажигал свечи, поскольку они наверняка горели в доме Гриневых и Пушкиных.

Но не только предельная сжатость текста приводила меня в восторг. Пушкин как-то умел одной короткой фразой показать всего человека, его характер, склонность к чему-либо, положение в обществе.

«...Папенька нанял для меня француза, мосье Бопре, которого выписали из Москвы вместе с годовым запасом вина и прованского масла». Три неполными строчками показан быт Белогорской крепости: «Все, слава богу, тихо, — отвечал казак, — только капрал Прохоров подрался в бане с Устиньей Негулиной за шайку горячей воды». Ах, если б мне когда-нибудь научиться так писать! По мере возмужания я делал все новые открытия. В школе в понимании литературы я давно перерос сверстников и писал сочинения как бы шутя, иногда стихами, за что неизменно получал «неуд» — сочинение полагалось излагать на четырех страницах, а стихи на ту же тему занимали всего полстранички...

Сам не понимая зачем, я многое тогда заучивал наизусть. Теперь, в одиночной камере, мне это здорово пригодилось. Рассказывая в узком пространстве от двери до противоположной стены, вспоминал целые абзацы и читал вслух монологи и диалоги, с удивлением сознавая, что от моих невольных добавлений — кое-что я все-таки забывал — они не всегда становятся хуже... Постепенно я начал отходить от чужих текстов и сочинять свои. Вначале они не выходили за рамки воспоминаний детства, потом стали перебиваться сюжетами прошедшей войны. Скоро я уже уверенно ходил по камере и громко беседовал то со своим другом лейтенантом, то с медсестрой Катей, то с пленным фельдфебелем. Кончилось все это тем, что меня поволокли к тюремному фельдшеру, чтобы освидетельствовать на предмет тихого помешательства. Постукав молоточком по моему колену, фельдшер уверенно заявил:

— Симулянт. Лучшее лекарство — мокрый карцер. Господи, как же они все любят этот мокрый карцер! Самих бы туда на недельку...

Кроме литературы меня спасали от настоящего сумасшествия очные ставки. И хотя перепуганные сослуживцы наперебой «уличали» меня, послушно повторяя за следователем придуманную им чепуху, я с удовольствием смотрел на их загорелые лица и ощущал себя солдатом...

Огорчали меня лишь подельники. Уж слишком трагично переносили они всю эту нелепую историю, в которую я их втянул. Следователь сумел убедить Полосина и Шевченко, что они оказались жертвами очень коварного врага — бывшего друга — и что я завербован иностранной разведкой.

Убедить в этом Денисова следователю не удалось.

— Хрен с ним, Серега, — сказал он на очной ставке, — пускай пишут что хотят, лишь бы ребра не переломали. А Сибири не бойся, там тоже люди живут.

Иначе вел себя Шевченко. Старый друг взвалил на меня едва ли не самое серьезное обвинение — не считая, конечно, союза СДПШ. На одном из допросов он показал, что однажды, после концерта художественной самодеятельности, где я выступал клоуном, я спел песенку: «Расскажи, расскажи, бродяга, чей ты родом, откуда ты» — и при этом указал на портрет товарища Сталина, который висел позади меня на стене. Наблюдавший за следствием подполковник Синяк сказал, что, даже если отпадет обвинение в организации контрреволюционного союза, этого факта хватит, чтобы осудить меня на десять лет ИТЛ.

Все так и произошло.

Попутно с сочинительством я занимался самоанализом. Одиочная камера с решеткой на окне, через которое видно только небо, серые бетонные стены без надписей, отсутствие собеседников, наконец, полная неизвестность — всё, как нельзя лучше, способствует углублению в самую себя. На свободе такие условия немыслимы.

Особой разницы между тюрьмой и казармой я не заметил, разве что в праздники не водили строем смотреть в сотый раз «Ленина в Октябре» и «Вели-

кое зарево» — картины, которые у нас в полку постоянно крутили последние три года, — да не было праздничных ста граммов водки.

Немаловажным было для меня и полное отсутствие страха: я знал, что невиновен, стало быть, поддержат и отпустят, а если все-таки осудят, то чем можно напугать солдата, год и четыре месяца бывшего на передовой? Кроме того, здесь я был предоставлен самому себе — нет больше начальства, не вытягивает душу замполит, добиваясь ответа на вопрос согласно теме: почему мы победили в Отечественной войне, и даже мой следователь — после полугода усилий сотворить из меня американского шпиона — поутих и стал дергать на допросы с большими перерывами — что-то не срабатывало в налаженной схеме.

Мой «уход в себя» начинался сразу после приема пищи — назвать завтраком то, что подавалось через «кормушку», как-то не поворачивался язык — и продолжался иногда до глубокой ночи. До того часа или, скорее, минуты, когда откроется наконец железная дверь и надзиратель скажет, указывая на прислоненный к стене топчан: «Забирай!» — и я втащу сколоченные вместе три нестроганных доски на ножках к себе в одиночку, поставлю их строго напротив «глазка» и шлепнусь на них, тут же провалившись в блаженное беспамятство без сновидений, и мое тело, измученное восемнадцатичасовым хождением по камере, будет отдыхать...

В процессе засыпания нельзя терять ни минуты — ровно в пять утра — всего через шесть часов — тот же надзиратель крикнет совсем другим голосом: «Подъем!» От его крика я проснусь и, путаясь в полах шинели, ставшей очень широкой без хлястика, поволоку топчан в коридор. Лишь в половине двенадцатого ночи — да и то если следователь не вызовет на допрос — снова обниму его обеими руками и прижмусь к его черной от грязи поверхности.

За восемнадцать часов бдения можно перелопатить и не такую жизнь, как моя. Так ли я жил, как надо? Не делал ли подлостей другим, не грабил ли, не убивал? Насчет грабежа был уверен: не грабил. Чужое в нашей семье считалось неприкосновенным. Иное

дело — убийство. Хотя что, собственно, можно считать убийством? Если бандит всаживает нож в спину прохожего, это, конечно, убийство. А как быть с нами, солдатами? Ежу понятно, что, если у солдата в руках винтовка и от него требуют выполнения служебного долга, он обязан выстрелить во врага, иначе либо он тебя убьет, либо ты пойдешь под трибунал. Правда, у меня была не винтовка, а восьмидесятимиллиметровое зенитное орудие с броневым щитом, предназначенное также для стрельбы прямой наводкой по наземным целям. Но ведь в самолетах, которые мы иногда сбивали, тоже были люди, и в танках, по которым в марте сорок четвертого года нам пришлось стрелять, тоже находились живые люди, и стрельба картечью по пехоте несколько ранее — тоже наверное не обошлась без крови! Да, из винтовки по немцам я не стрелял, потому что был артиллеристом, но зато в апреле — мае сорок пятого, уже на территории Германии, вовсю стрелял из трофейного оружия — карабинов, автоматов, пистолетов — не по немцам, а по случайным мишеням: фарфоровым вазам, забытым на окнах бежавшими в спешке хозяевами, электроизоляторам на высоковольтных столбах, чтобы посмотреть на красочный фейерверк, по лепным изображениям на стенах костелов. Убивал ли я кого-нибудь в этой сумасшедшей стрельбе? Вряд ли. По крайней мере, специально ни в кого не целился.

Кстати, стрелял не один я. Любителей пострелять ловили старшие по званию, строго материли и, отобрав парабеллум или вальтер, сами принимались палить...

Так у меня обстояли дела с заповедью «не убий». Чист был я и по поводу «не сотвори прелюбы», ибо до ухода в армию не целовал никого, кроме матери. Заповедь «не пожелай ни жены ближнего своего, ни раба его, ни вола его» также меня не касалась — чего-чего, а уж подлой зависти во мне не было! Столь же уверенно разделался я и с остальными семью заповедями и споткнулся только на доброте. Припомнился мне странный нищий — было это задолго до войны, году в тридцать шестом или тридцать седьмом. Я играл с приятелями возле дома, когда в конце улицы показался человек в рубище с холщовой

сумкой на боку. Нищие в наших краях — не диво, но этот был какой-то особенный. Во-первых, у него не было палки; во-вторых, шел он не сгибая спины, и шаг его был широк и ровен, а взгляд смел и прям. Голос же прозвучал не просяще, а, скорее, требовательно:

— Принесите мне хлеба, ребята, я давно ничего не ел.

Мой дом был рядом, я поднялся и пошел, но вдруг передумал. Такой здоровый, статный, сравнительно молодой мужик просит подаяния...

— Вам, дяденька, работать надо, а вы побираетесь. Не стыдно?

Он опустил глаза.

— Стыдно, брат, — и пошел прочь.

— Гордый больно, — сказала ему вслед девочка Маня, — нищий, а обижается! Ну, иди, иди...

Вечером я рассказал обо всем дома. Отец, обычно не вступавший в мои с мамой разговоры, вдруг встре-пенулся.

— Стройный, говоришь? Высокий? Шел по-военному? Обиделся? Тогда почему ты не пригласил его в дом?

— Николай! — возмутилась мать. — Ты же знаешь... Это опасно.

— Знаю, — сказал отец, — но еще опаснее жить без сострадания к ближнему. Этому человеку мы были обязаны помочь.

— Все друг за другом шпионят, — продолжала мать, — позавчера Жогова арестовали — показали соседи, будто он кого-то у себя прятал...

Отец стоял у окна, барабанил по стеклу пальцами. Сказал уже тише:

— Но он же наверняка не беглец! Его отпустили! Иначе не шел бы так... И потом, вполне возможно, он из нашего полка... Ты хоть спросил, где он живет? Ну и оболтус!

— А что, собственно, произошло? — вступилась мать. — Ну, ребенок не понял, — мы сами от него все скрываем, — возмутился... Мы что, должны у каждого нищего спрашивать, где он живет?

И тогда отец сказал:

— У моего сына хватило ума, чтобы отличить обыкновенного нищего от арестанта, но у него не хватило

жалости к человеку, а в наше время это особенно необходимо. Что, если придет лихое время и для него — и какая-нибудь дурочка Маня крикнет ему вслед: «Ну, иди, иди», а какой-нибудь сопляк положит камень в протянутую руку?

Никогда не славившийся особой прозорливостью, отец на этот раз оказался пророком: пришло лихое время для его сына.

Познакомивший меня с десятью заповедями бывший поп отец Михаил, а в предвоенные годы городской банщик Михаил Иванович Чириков, сказал, что, говоря о доброте, Христос имел в виду не мать и отца — о них в Евангелии сказано особо — а всякого прохожего. Оказывается, истинный христианин обязан отдать нуждающемуся последнюю рубашку и не жалеть об этом.

Поскольку на мне сейчас было одежды не больше, чем на том нищем, я понял, что стою посреди камеры почти по-библейски наг и бос и чист пред людьми и пред Богом. А посему теперь самое время заполнить образовавшийся вакуум...

Мои литературные занятия находились в самом разгаре, когда капитан Кишкин объявил, что сидению в одиночке раба божьего Сергея пришел конец. Произошло это на двенадцатом месяце — до года оставались сущие пустяки. То, что следствие близилось к завершению, я понял раньше: меня почти перестали вызывать на допросы, а если и вызывали, то больше не били. Значит, скоро конец. Каким он будет, меня не волновало. Скорей всего, не расстреляют, а срок не имеет значения: я знал, что все равно рано или поздно убегу из лагеря.

Услыхав, что буду переведен в общую камеру, не удержался и с радостью воскликнул:

— К людям? Вот здорово!

— Дурак, — сказал следователь, — чему радуешься? Уж лучше твоя одиночка, чем эти люди.

Тогда я еще не знал, что на тюремном жаргоне «людьми» называют себя урки, все остальные именуются «фраерами», «чертями». Мои тюремные университеты только начинались.

Глава третья

НАСТЯ ЛЮБИТ ТИШИНУ

*Не обратил ли Бог
мудрость мира сего
в безумие?*

Послание к коринфянам
св. апостола Павла,
гл. 1, ст. 20.

Камера 27 считалась четырехместной, если к тюрьме вообще применима санаторно-курортная терминология, и располагалась в конце корпуса. Чтобы добраться до нее, нам с конвоиром пришлось пройти весь первый этаж, повернуть налево, затем направо, и тогда в полутьме короткого аппендикса обозначилась цифра «27» над обитой железом дверью. Подошел коридорный надзиратель, что-то тихо спросил, взял из рук моего конвоира недокуренную папиросу, докурил ее и неожиданно повернулся ко мне.

— Раздевайся!

— Что? — не понял я. — Меня уже обыскивали. И потом, я не с воли...

— Раздевайся! — рявкнул надзиратель и поднял голову. Глаза у него были светло-серые и оттого казались стальными. — Чо, не понимаешь?

— Понимаю, — я начал раздеваться.

В тюрьме цементный пол даже летом кажется ледяным. Дожидаясь, пока надзиратель прощупает каждую складку одежды, я старался встать босыми ногами на голенища сапог. Надзиратель заметил, поднял один, осмотрел, потом достал нож и стал разрезать голенище вдоль.

— Что вы делаете? — закричал я. — Как же мне теперь ходить?

— Ножками, — ответил он. Разрезав один, принялся за другой. Потом бросил сапоги и приказал повернуться спиной, расставить ноги и наклониться вперед. Потом повернул лицом и приказал раскрыть рот, высунуть язык и растопырить пальцы рук.

— Ладно, одевайся, — и загремел ключами.

В первую секунду мне показалось, что в камере вообще нет света. Прошло несколько секунд, прежде чем обозначился вмурованный в стену железный стол, край деревянных нар и белеющее лицо человека.

— Здравствуйте, — произнес я.

— Добро пожаловать! — неожиданно звонко ответили мне, и с нар поднялся человек среднего роста, худой, с большой лысой головой и светлыми, как у младенца, глазами. Одет он был в какое-то рубище, не то тюремный клифт¹, не то пиджак не по росту, и короткие, до щиколоток, тряпичные брюки. На вид ему было лет шестьдесят. — Разрешите представиться: профессор Варшавского университета Георгий Александрович Панченко, действительный член Парижской академии наук и почетный член еще двух. По происхождению, простите великодушно, не пролетарий, да-с...

Озадаченный таким представлением, я медлил с ответом, а он ждал, наклонясь вперед и слегка раскачиваясь.

— Слонов. Сергей Слонов. Военнослужащий.

Он скользнул взглядом по моей солдатской шинели, фуражке со сломанным пополам козырьком.

— Рядовой или унтер-офицер?

— Сержант.

¹ Лагерная спецодежда.

Он произнес что-то вроде «ну да, понятно» и пошел к себе на нары, перестав мной интересоваться. Я же, наоборот, обрадовался интеллигентному человеку — в армии они встречались крайне редко.

Профессор оказался достаточно снисходительным. Дав мне время устроиться на нарах, спросил:

— Давно с воли?

— Одиннадцать месяцев и восемнадцать дней.

— Где же вы находились? В двадцать восьмой? Но там сейчас дамы! Может, в тридцать второй уголовной? Или в сороковой? Но в ней, кажется, никого нет.

— Я сидел в одиночке, в подвале. Холодно там. Даже летом...

Он подвинулся ближе.

— Послушайте, юноша, за что же вас? Ведь вам, наверное, нет и двадцати.

— Какая разница? Главное, сам не знаю за что.

Он погладил свою коленку.

— Здесь все друг другу не доверяют. Наверное, это правильно.

— Я действительно не знаю! Честное слово!

— Оставим это, — он подошел к стене, на которой были начертаны едва заметные линии. Пятно света, разделенное тенью решетки на четыре квадрата, находилось сейчас где-то в конце этих линий. — Уже половина шестого, через пять минут будем ужинать. Вы любите семгу в маринаде? А устриц? Прекрасно, я тоже. — Он вынул из кармана тряпочку и заткнул ее за воротник лагерного клифта. Я приободрился. Не люблю нытиков!

Ровно через пять минут — так мне показалось — открылась «кормушка», и грязная рука зэка подала нам две миски с кашей — серой липкой массой, затем две кружки с остывшим кипятком. После этого «кормушка» захлопнулась.

Я пробовал поддеть кашу сначала пальцем, потом расческой — при обыске у меня отобрали алюминиевую ложку. Профессор заметил, порывлся в мешке и вытащил деревянную, с обгрызенным краем.

— Железные в общих камерах не разрешают. Боятся: будем мастерить из них «колюще-режущее». Вот, на ваше счастье...

— Спасибо, — сказал я.

— Пользуйтесь на здоровье. Для эка две ложки — роскошь.

Ел он странно: брал из миски мизерными порциями, отправлял в рот и жевал или, скорее, сосал. Так едят беззубые, но не кашу же!

— Вам ее надолго хватит, — не без зависти заметил я.

— Ровно на десять минут, — отозвался он, — через десять минут придут за мисками. Да вот и они!

Стукнуло окно «кормушки», и та же рука приняла от нас посуду. Я с удивлением взглянул на профессора. И увидел, что он бережно переносит комочек каши со стола на краешек нар.

— Хочу предупредить, юноша: я не один в камере. Вернее, мы с вами не одни. Это для того, чтобы потом не было недоразумений. Учтите, я ее очень люблю и не позволю обижать. — Последнюю фразу он произнес угрожающе. — С нами моя маленькая Настя.

Только сумасшедшего мне не хватало! Я отодвинулся подальше в угол. А если он буйный? Мишка Денисов говорил, что у сумасшедших сила удваивается. У него несчастье случилось с отчимом, и Мишка — тогда еще шестнадцатилетний подросток — спасал от него мать и сестру. Хотя — я еще раз внимательно присмотрелся к Панченко — вряд ли он способен драться, слишком тощи руки, и ноги болтаются в штанинах, как палки.

— Странно, — сказал Георгий Александрович, — обычно она приходит сразу после ужина, — он подозрительно покосился на меня, — послушайте, вы не могли бы посидеть не шевелясь?

— Пожалуйста, если вам так хочется, — ответил я и увидел мышь. Она была маленькой — наверное, мышонок, — но вела себя очень смело. Забравшись на нары, подошла к комочку каши, с минуту ела, смешно двигая носиком, придерживая еду лапками, затем оставила ее, вскарабкалась Панченко на живот и принялась умываться. Георгий Александрович заливался счастливым смехом.

— Правда, она прелесть? Вы можете разговаривать,

только не слишком громко: Настя любит тишину. Когда она была совсем маленькой, то любила спать у меня вот здесь, — он показал пальцем на яремную впадину под кадыком, — видимо, биение пульса напоминало ей шевеление братьев и сестер в материнском гнезде.

Иногда мышь прерывала туалет и нюхала воздух.

— Это она вас чует. Месяц назад здесь были люди, но Настя тогда еще не родилась.

— Значит, вы уже месяц в одиночке?

— Одиночка мне нравится больше, чем камера, набитая людьми. Знаете, сколько здесь было в июне—июле? Тридцать два человека! Лежали на полу вприжимку. Чтобы пройти к параше, приходилось наступать на лежачего. Помню одного юношу — кажется, филолог, — он лежал возле параша, и все идущие к ней на него наступали. Знаете, что он сказал мне в свою последнюю ночь? Он сказал: «Профессор, пожалуйста, вставайте на живот: плечи и грудь мне уже совсем отдавили». Утром он умер. Двадцать семь лет! Мальчик еще. А я вот жив... Блатные мне всегда уступали место на нарах. Я ведь «тискал романы» — эти недочеловеки очень любили мои романы.

— Сколько же вы сидите в тюрьме?

— С сорок пятого года. Меня арестовали сразу, как только ваши войска вошли в Варшаву.

— А как вы туда попали? Вы же гражданский человек.

— Я там родился. До вашей революции Польша была просто Варшавской губернией России. Мой отец, генерал-аншеф Панченко, состоял в должности помощника генерал-губернатора Варшавы. Он скончался задолго до семнадцатого года. Я закончил университет и получил диплом юриста, но пожелал продолжить образование и уехал в Париж, где поступил на факультет естественных наук. Культура, молодой человек, не дается легко. После окончания был в Мексике, Бразилии, Аргентине — этого требовала моя работа — еще кое-где, но почему-то всегда меня тянуло в Польшу.

— А в Россию вас не тянуло?

— Россия мне близка по происхождению: отец —

выходец из Новгородской губернии, мать — полька. Разумеется, я бы приехал, еще до войны, но, простите великодушно, у вас же произошла революция! Как можно ученому работать при большевиках?

— Тимирязев, Павлов как-то работали.

— Меня это всегда удивляло: интеллигентные люди и — большевизм... Говорят, им создавали условия. По понятиям большевиков, прекрасные, но за это они должны были отчитываться перед ними за каждый рубль, за каждого кролика. От них постоянно требовали немедленной отдачи!

— И правильно. На них шли народные деньги.

— Но ведь это же ученые с мировым именем! Кто из ваших правителей может оценить их труд? Недоучившиеся семинаристы? Каторга — вот их университеты. Мышление примитивное, отсюда взгляд на ученого как на поденщика, и — насилие. Постоянное насилие! Кстати, это главный принцип вашей системы. Недоучки, уголовники, захватив власть, возомнили, что они одни знают, что человеку нужно. И, похоже, убедили. Вот вы лично к чему стремитесь? Какова цель жизни вашего поколения?

— Ну, коммунизм, я думаю. Хотя вряд ли мы доживем до него — очень уж много надо.

— Да нет, не много. Совсем мало. Если точнее, вы одной ногой уже в коммунизме.

Я засмеялся.

— Вы бредите, профессор. Какой коммунизм?

— Самый настоящий. Вы помните его основной принцип? «От каждого — по его способности, каждому — по его потребности». Принцип этот был бы прекрасен, если бы... не коварство марксистов.

— Коварство?

— Именно. У этой фразы есть продолжение. Так сказать, для избранных. Дело в том, что ваши способности и потребности при коммунизме будете определять не вы.

— Как это? А кто же?

— Думаю, специально для этого поставленные люди. Что-то вроде армейского фельдшера. Представьте себе: ваша власть послала вас копать канал в мерзлоте. Вы почувствовали, что не созданы для такого труда и

через какое-то время идете к тому человеку. «Я НЕ СПОСОБЕН выполнять этот труд, мне лучше играть на скрипке, у меня слабое здоровье». Тот самый фельдшер, — я думаю, специалиста более высокого ранга на это не поставят, — осмотрит вас, пощупает мускулы и скажет: «Вы абсолютно здоровы и СПОСОБНЫ работать там, куда вас послали». Спорить, естественно, не разрешено. Далее: вы молоды, здоровы, хотите есть, вам мало выделенной пайки. Другой лекарь — а может, тот самый — осмотрит вас, оттянет кожу на заднице, как это делает наша милая тюремная докторша, и скажет: «У вас средняя, по нашим коммунистическим нормам, упитанность, и больше назначенной вам пайки в четыреста граммов вы не получите». Ну что, какова картина коммунистического будущего? Во всяком случае, вполне реальная.

Я был озадачен, но не побежден.

— Наверное, будут какие-то посредники. Судьи, к которым можно обратиться. Неужели, как в тюрьме, — полный произвол?

— Называйте это как хотите, но судей назначило все то же Единственное Правительство, другого в стране полного коммунизма нет, и ваши судьи очень боятся ему не угодить и делают все, чтобы их не послали следом за вами. Кстати, медики, определявшие ваши способности, тоже зависят от того самого начальства, так что круг замыкается.

После нескольких подобных лекций мои политические устои начали шататься. Меня ни в чем особенно не убеждали, не вызывали на спор, мне просто **п р е п о д а в а л и** ликбез!

И еще я понял: он изучает нас здесь, в тюрьме, как когда-то изучал крыс. Вскоре он сам подтвердил мою догадку.

— Знаете, Сережа, я ведь нисколько не жалею, что попал в этот вертеп. Чтобы изучить что-то, например народ, мало побывать в стране в качестве туриста. С нацией еще труднее. Мы многое знали о ваших делах — читали свою и зарубежную прессу, но не знали русской нации, хотя воображали, что знаем.

— Теперь узнали?

— Думаю, да.

- И что же мы из себя представляем?
- Вы самая загадочная нация на земле...
- Ура!

— Не спешите ликовать. Самая загадочная, за исключением, может быть, людоедов Центральной Африки, да и то потому, что до них трудно добраться. Вы загадочны своей психологией. Чтобы узнать вас, надо долгое время пить, есть вместе с вами, работать, ездить в метро, смотреть кинофильмы, читать книги, которые читаете вы, и — никакого общения с внешним миром. Полная изоляция!

— Это займет много лет.

Он кивнул.

— Есть более быстрый путь познания — сесть в вашу тюрьму. Запертые на замок мысли людей выходят наружу. Их можно слышать! Вместе с тем именно здесь познаешь до конца весь ужас вашего положения. Кремлевские вожди заперли на замок не только мысли, но и ваши души. Они контролируют всё! Это заложено еще Марксом, так что вы тут ничего нового не придумали, но вот что поразительно: вы все с этим согласны! Через эту камеру прошло много людей. Примерно для трети из них жизнь заканчивалась. И они это знали, но продолжали держаться марксистских позиций. Они боготворили Ленина!

— Тогда, наверное, и Сталина?

— Сталина — не все. Многие считали его виновником своего несчастья, но Ленин... Не припомню случая, чтобы кто-нибудь сказал о нем то, чего он на самом деле заслуживает. Какой-то массовый психоз! А ведь между тем несчастье вашей страны идет от него. Это был величайший политический экспериментатор и интриган. Его сговор с кайзером...

— С кем?!

— С кайзером Германии. Сговор был гениален. Представляете, через всю страну, находящуюся в состоянии войны с Россией, следует запломбированный пассажирский вагон, в котором едут будущие могильщики несчастной России. Кайзер их охраняет и финансирует! Русские марксисты через Скандинавию намерены пробраться в тыл русской армии, разло-

жить ее, а заодно все российское общество. Лишить страну способности противостоять Германии. Для чего? Чтобы потом, среди хаоса и разрухи, осуществить свои честолюбивые замыслы — захватить власть, но это уже кайзера не касалось. Все просто, как видите, а потому гениально. Российская охранка, как всегда, проморгала — и вот уже Ленин в России. Точнее, совсем рядом — находится в центре событий он всегда избегал. В центре событий действовал его мозг — в самом деле незаурядный, его воля и его верные помощники — в основном фанатики. Эти взяли себе в друзья все отребье российского общества, для чего открыли тюрьмы. Вообще, задачи большевиков поразительно совпадают с интересами профессиональных бандитов. Может быть, именно в этом и кроется секрет потрясающего успеха Октябрьского переворота да и всего дальнейшего. «Грабь награбленное» — вот главное в тактике Ленина, все остальные лозунги — для прикрытия. Громилы были нужны ему не только на первом этапе революции, но и на всех последующих. Либералы ведь не умеют убивать, а интеллигенция просто мешает творить беззаконие. Да, без преступного элемента Ульянову власть бы не взять! Кстати, известный в прошлом одесский бандит и налетчик Лева Задов, бывший у батьки Махно начальником контрразведки, после разгрома махновщины служил верой и правдой в ЧК. И не он один. Так советская власть подбирала кадры. Они не создавали, а разрушали. Где храм Христа Спасителя? Где еще сорок сороков московских храмов? Где сокровища Эрмитажа? Сразу после переворота еще что-то оставалось — персонал музея отбивался как мог от пьяной матросни и сохранил ценности, а потом их начали разворовывать люди, стоявшие у власти. Тридцать лет сплошного грабежа! Сначала грабили помещиков и капиталистов, потом кулаков, потом середняков, а теперь по тюремным ступеням идут потомственные пролетарии. Тех, кто помог Ленину и его шайке прийти к власти, уничтожили раньше, за ними ушли в небытие комиссары гражданской войны, разные Дыбенки, Федько, Якиры, Уборевичи, сотни тысяч более мелких борцов за новую

Россию. Не знаете почему? Ничего, узнаете, вы ведь только начинаете свои университеты. Поступили, как говорится, на первый курс. Что ж, счастливого пути в эту науку!

Иногда Георгий Александрович становился агрессивным.

— Вы рабы! — кричал он. — Нация рабов в классическом понимании.

Я возражал, но Панченко не унимался.

— Вы непредсказуемы, ваши поступки необъяснимы для нормального человека! Вместо того чтобы, получив в руки оружие, уничтожить своих угнетателей, вы преподнесли им победу над фашизмом! А себе оставили жизнь прежнюю. Она вам больше нравится. Но это же и есть один из признаков раба! А вот и остальные: лень, лживость, пьянство, склонность к предательству, отсутствие чувства собственного достоинства. Все это у вас — полным набором. Раб живет одним днем, он знает, что хозяину нужны его руки, значит, что бы ни случилось, завтра он получит свой кусок хлеба и миску баланды. Если напьется, его накажут, но он рад, что напился. Только в обществе, где человеку не принадлежит ничего, может родиться такое чудовище. Вообще в истории России и еще раньше — Руси — имелось множество условий, способствующих развитию нации в этом направлении. Крепостное право было отменено лишь в девятнадцатом веке!

— Но мы — талантливый народ! — в отчаянии кричал я.

— Голубчик, да разве я возражаю? Но это не относится к государственному строю. До нас дошло множество гениальных творений, созданных рабами. Талант дается от рождения, а человек, как известно, рождается свободным. Россия после крестьянской реформы начала быстро наращивать потерянное, а кремлевская шпана еще поспешнее всякое развитие прихлопнула. Не нужны ей ни умные, ни талантливые. Поймите правильно: я вовсе не виню русских людей, но я обвиняю ваших правителей: формируя ваше мировоззрение, они совершают величайшее преступление века. Честно говоря, Сережа, я мечтал пос-

ле войны увидеть Россию без большевиков. Не довелось...

Утомившись от «лекций», Панченко ложился и свистом подзывал Настю. Играя с ней, он засыпал, а я переваривал услышанное. Со многим приходилось соглашаться, но насчет того, что все русские — рабы, мне казалось преувеличением. Люди, окружавшие меня в детстве, были известны как раз иными качествами, и особенно дед по отцу Петр Димитриевич Слонов. Поступиться принципами его могла заставить только смерть. Новая власть была им недовольна — игнорирует постановления гор- и райисполкома, в больнице установил свой порядок, даже от инструктора райкома партии требует, чтобы тот надевал халат, как простой посетитель... Однако властям приходилось терпеть — врачи такого уровня в районных больницах встречаются нечасто.

У деда сохранилась давняя, еще со студенчества, дружба с академиком Бурденко. На протяжении ряда лет Николай Нилович настойчиво звал его к себе в клинику, но в начале 1938 года прислал очень короткое письмо, заканчивающееся такой строкой: «Петр, ты был прав. Живи счастливо в своем захолустье». Мои родители и бабушка решили, что Николай Нилович обиделся.

— Такого друга потерял! — сокрушалась Ольга Димитриевна. — Как будто это какой-нибудь Иван Феодосьевич...

Дед ничего не объяснял. Между тем начавшиеся два года назад аресты в Москве, Ленинграде и других городах приобретали позальный характер. Даже в нашем заштатном городишке арестовали двух учителей и секретаря райкома партии. Центральные газеты писали о том же. В списках приговоренных к расстрелу ленинградцев дед встретил несколько знакомых фамилий.

— Неужели он даже это предвидел? — с благоговейным страхом сказала моя мать. Свекор и раньше не раз поражал ее своей прозорливостью...

В 1941 году Слонов совершил поступок, едва не стоивший ему жизни. Однажды ночью на нашей станции остановился правительственный поезд. Энкаве-

дәшники сняли с него какого-то человека, с величайшей осторожностью погрузили в машину и привезли в районную больницу. Деда подняли с постели и велели одеться, а поскольку пришла за ним не сиделка, а двое военных, он решил, что его песенка спета. Поцеловав плачущую жену, вышел из дома, никого ни о чем не спрашивая — друзья давно предвещали ему кутузку за «несоветский характер». Но военные повели его не к машине, стоявшей за оградой, а к подъезду больницы. В вестибюле Петр Дмитриевич увидел весь свой штат — сестер, сиделок, терапевта Ивана Феодосьевича, окулиста Ванеева, студента Борю, проходившего практику в качестве нарколога, и даже кучера Ефима. У всех был до крайности испуганный вид. К деду подошел пожилой военный.

— Тяжело заболел очень нужный стране человек, к тому же иностранец. Наш доктор Крамер настаивает на немедленной операции. Впрочем, он совсем потерял голову, мы хотим знать, что скажете вы.

Из-за спины военного вышел маленького роста лысый человек.

— Я, собственно, не настаиваю, я считаю...

— Где больной? — спросил дед, словно только что не было цемьящей сердце тоски, слез жены и мрачной машины за оградой.

«Очень нужным стране» человеком оказался генерал Людвиг Свобода. Об этом деду шепотом поведал Крамер.

— Я, вообще-то, терапевт... — лепетал он, поминутно вытирая потную лысину. — Генерал еще до отъезда жаловался на сердце, но на это не обратили внимания. Знаете, как у нас?..

Закончив осмотр, дед сказал:

— Будете ассистировать. Больного на стол!

Персонал кинулся по своим местам. Когда дед мыл руки, важный военный подошел снова.

— Надеюсь, вы понимаете, какую ответственность берете на себя? Если с генералом что-нибудь случится...

— Как больной? — демонстративно не слушая его, спросил Слонов. — Посторонних прошу удалиться. —

Войдя в операционную, он увидел у стены двух чекистов и гневно потребовал: — Повторяю: посторонним покинуть помещение!

Один чекист вышел на цыпочках, второй даже не шевельнулся, и тогда дед крикнул так, как имел право кричать здесь только он:

— Во-он! Немедленно — вон!

У хирургической сестры Натальи Павловны вперые за тридцать лет работы выпал из рук скальпель, с Крамером сделалось дурно. Чекист покраснел, и кто-то даже заметил, как рука его потянулась к кобуре, но тут вернулся первый и что-то шепнул ему на ухо. Оба вышли, операция началась.

Продолжалась она больше трех часов, а когда закончилась, начали прибывать медики. Из областного центра на дрезине примчалась бригада из десяти человек, из Москвы самолетом доставили еще шестерых. Маленькая больница гудела от возбужденных голосов. Москвичи спрашивали, есть ли в городе гостиница, требовали горячих ванн и ужина и, между прочим, осмотра больного, — по словам Крамера, состояние генерала до операции было критическим. Не обращая внимания на протесты персонала, москвичи двинулись к палате, где лежал генерал, но у них на пути оказался военный с тремя «шпалами».

— Гостиницы в городе нет, — сказал он, — но в Доме крестьянина для вас оставлены койки. Там и поужинаете. Что касается больного, то хирург Слонов приказал его не беспокоить.

— Этот лекарь не нуждается в мнении специалистов? — возмутились «светилы».

— Он нуждается в отдыхе, — ответил военный, — прошу освободить помещение, персонал должен работать.

Несмотря на удачную операцию, Слоновы целый месяц ждали ареста — чекисты в исключительных случаях могут простить обиду, коллеги — никогда, однако через месяц пришло письмо из Москвы от Людвиг Свободы с выражением благодарности русскому доктору Слонову. В конверт была вложена записка от Николая Николаевича с лаконичным и не таким официальным текстом.

«Дорогой Петр! — писал Бурденко. — От души поздравляю! Смотрел сам и дал полюбоваться другим. Блестяще! Обнимаю. Твой Николай». Для получения письма деда вызвали в районный отдел НКВД. Письмо вручили распечатанным — чекисты, даже местные, должны знать всё...

Не знаю для чего — дед хранил журналы и книги дореволюционного издания. Почти все были запрещены, я же имел к ним неограниченный доступ — дед не скрывал от меня ни свои убеждения, ни литературу. Георгий Александрович лишь добавил к моим знаниям свои.

Кроме разговоров о политике он занимался делом — записывал на стене угольком какие-то формулы. В основном ночью. Несколько десятков строчек мелким убористым почерком, и всё это от пола до высоты нар, и всё — на стене, не видной через «глазок». Чтобы записывать, Гергию Александровичу приходилось стоять на коленях часами.

— Я думал, вы молитесь.

— А это и есть моя молитва. Молитва науке. Если бы вы знали, какая это ценность! Я работал над этой темой еще до войны. И только теперь завершил. За этот труд любому присвоят звание академика. Ах, как жаль, что вы ничего не понимаете в химии!

— Может, лучше попросить бумагу и карандаш?

— Я пробовал. Дают только для написания заявления четвертушку и потом отбирают. Хранить у себя запрещено. Даже бумагу для курева проверяют, чтобы на ней не было текста, а тут — таинственные знаки...

— Что же вы собираетесь делать? Ведь в любой момент могут перевести в другую камеру.

Он пожал плечами.

— Мне осталось работы еще на день-два...

Закончить ему не пришлось. Надзиратель вошел ночью и увидел Панченко стоящим на коленях в углу.

— Это ты стену испачкал? А ну, выходи!

— Мне необходима бумага и карандаш, — залепетал профессор, — я перепишу формулы...

Надзиратель схватил его за шиворот и поволок в коридор.

Панченко кричал, что сделал открытие, что работал над ним много лет, что оно нужно людям, — все было напрасно. Досталось и мне — я пытался объяснить, что бумага действительно нужна. Через полчаса пришли два зэка с ведром и пшаврой и формулы замазали известкой. О Панченко я больше не слышал — наверное, он не выдержал мокрого карцера.

В ту ночь я не спал. Под утро, повернув голову, увидел возле своего уха Настю — мышонок искал профессора.

— Иди ко мне, маленькая, — сказал я и подставил ладонь. Настя послушно забралась на меня, свернулась калачиком и уснула.

Пройдет четыре долгих месяца пересылок, этапов, и только весной, в Краслаге, сидя на нарах, я напишу в ученической тетради первый в своей жизни рассказ. Вот он.

ПУГОВИЦА

Рассказ профессора Г. А. Панченко

Раньше я никогда не видел живых палачей, но в детстве слушал сказки, которые рассказывала мне моя няня, пани Красовска. Они представлялись мне в образе полу-демонов-полулюдей, громадных, широкоплечих, с длинными, до колен, руками, с лицами, спрятанными под красным капюшоном, в красных рубахах, наполовину закрытых кожаными передниками. Этот был невысокого роста, в новенькой сизой шинели, неудачно обрезанной спереди. Вместо капюшона на его голове была надета шапка с искусственным мехом, в котором стыдливо пряталась красная звездочка. Из-под шапки на меня смотрело юношеское личико с едва заметным пушком на верхней губе и глазами цвета июньского неба. Едва заметные волоски светлых бровей по временам начинали шевелиться и угрожающе сдвигаться к переносице, кожа образовывала нежную складку, а пунцовые губы с усилием сжимались в ниточку.

— Колюще-режущее есть? — спросил он легким тенорком.

— Нет, — ответил я, — дело в том, молодой человек, что меня недавно обыскивали...

Складка на его лбу шевельнулась, хотела разгладиться, но он передумал, и она осталась на месте.

— Ничего не знаю. Раздевайся!

Я подчинился. Он неуверенно потянулся к моему белью и несколько минут добросовестно изучал каждую складку, потом бросил это занятие и обратил свой взор на меня.

— Почему при бороде и усах? Состричь!

— Слушаюсь, — смиренно согласился я, а он стоял и думал, к чему еще можно придраться. Его глаза обшаривали меня с головы до ног, складочка на переносье металась, но рассердиться по-настоящему он еще не мог. Вскоре он сам понял, что сделал ошибку, раздев меня, — к голому придраться труднее, — и велел одеваться. Стуча зубами от холода, я торопливо натягивал брюки, рубашку...

— Стой!

Я послушно замер. Это похоже на детскую игру: ведущий бросает мячик — и, пока он летит, все разбегаются. Но вот мячик в чьих-то руках, и этот кто-то кричит: «Стой!» — тогда все играющие замирают в позах, в которых их застал окрик. Проигрывает тот, кто шевельнется.

— Что это? — У него в руках мои брюки.

— Пуговица, — говорю я. Мы относимся к этой игре по-разному. Он — с полной серьезностью, я, как всегда, полушутя...

— Металлическая, — говорит он, беря пуговицу двумя пальцами.

Я вздыхаю. Это последняя пуговица моего туалета. На вчерашнем шмоне ее именно поэтому оставили на месте — нельзя же арестованному — пусть даже политическому — носить штаны в руках! Впрочем, тут я кривил душой. Любой зэк знает, что пуговицы можно делать из хлеба — тюремная выпечка подходит для этого как нельзя лучше. От пайки отламывается маленький кусочек, разминается — посторонние примеси, естественно, удаляются — затем скатывается в шарик, который потом принимает форму лепешки. С помощью спички в ней делают два отверстия — и пуговица готова. Ее кладут на подоконник, желательно на солнышко, и сушат. Дня через четыре она

становится крепче камня. Важно только не съесть ее раньше.

— Нарушение режима, — говорит мой палач и, покраснев от натуги, отрывает ее с «мясом». Я слежу за ней глазами — если он отвернется, ее можно поднять с пола и спрятать за щеку...

— За нарушение знаешь, чего полагается?

Я знаю. Но знаю и то, что сейчас он не прав. Пуговица не была отточена, стало быть, служила своему прямому назначению, и потом, в камере уже был обыск, и если что-то осталось, то вина не моя, а тех, кто так халатно отнесся к своим обязанностям...

— За нарушение — карцер, — говорит он, и в его голосе слышится удовлетворение: нашел-таки...

И тут я понял: ему очень нужно упрятать меня в карцер! Впрочем, почему ему? Он — никто. А кто за ним? Ах да, следовательно... Пожалуй, это единственный человек, имеющий право на меня обижаться. За полгода мое «Дело», по выражению старшего следователя Валькова, не сдвинулось с места и на «полшишки».

От меня требовали только одно: подписать готовый протокол, в котором черным по белому значится, что я, такой-то, являюсь платным агентом иностранной разведки; печатая научные труды, разглашаю государственные секреты, а в беседах с людьми проповедую линию, в корне противоположную официальной. Последнее зафиксировано моими бывшими коллегами по институту. Не будь проклятого упрямства, мой поединок с капитаном Кукличевым не затянулся бы так надолго. Последний разговор с ним прошлой ночью был неприятен для нас обоих. Я дал понять Кукличеву, что никогда не подпишу его протоколов, а он доверительно сообщил, что без этого меня живым из тюрьмы не выпустит. Конечно, он кривил душой: подпиши я его бумаги — моя жизнь закончится еще раньше: Указ о применении смертной казни совсем недавно вступил в силу... Помнится, мы отлично поняли друг друга. Появление сегодня в моей камере этого молодого человека означает, что у моего следователя твердый характер.

— Встань, как положено! — потребовал мой палач. Я встал.

— Повернись лицом к стене!

Я выполнил и это требование. Некоторое время он возился с моим тюфяком, набитым опилками, и лазал под нары. «Странно, — думал я, рассматривая замысловатый узор на цементной стенке, — этот мальчик мог бы отвести меня в карцер и без колюще-режущего, — значит, он либо не может этого сделать, либо... не хочет». От этой догадки мне стало немного теплее. Через минуту я осторожно повернул голову. Палач стоял посреди камеры, засунув руки в карманы шинели, и думал так напряженно, что шапка на его голове слегка шевелилась. Мне вдруг захотелось заговорить с ним — в конце концов, одиночка не такой уж пустяк.

Я вспомнил окающую речь и характерное двойное ударение в некоторых словах, а также растягивание гласных в конце...

— Ты вологодский?

Он вздрогнул от неожиданности и устремил на меня настороженный взгляд.

— Не положено!

— Что не положено!

— Знать не положено.

— А если я уже знаю, как тогда?

Он оглянулся на «волчок» в двери и вдруг спросил:

— Правда, что ты шпион?

— Я ученый.

— Ученые тоже бывают шпионами.

— Бывают, но редко.

Мы стояли друг против друга и молчали.

— Шпионов расстреливают, — сказал он.

Я кивнул.

— А чем докажешь, что — не шпион? — спросил он после долгого раздумья. Я изобразил на своем лице предельное добродушие.

— Видишь ли, если бы тебя вдруг назвали верблюдом, ты наверняка бы потребовал, чтобы это доказали, так? — Он неуверенно кивнул, а я продолжал: — Шпион я или нет, должен доказать следовательно, а у него это почему-то не получается...

Мы стояли посреди камеры и молчали.

— Шпионов расстреливают, — опять сказал он, — позавчера одного шлепнули. Тебя тоже шлепнут.

Я улыбнулся.

— Меня — нет, потому что я невиновен.

— Все так говорят. Тот, которого позавчера шлепнули, тоже говорил... Ворошилову письмо писал — он с ним служил в гражданскую, полком командовал.

— И письмо дошло?

— А как же? У нас насчет этого — порядок.

— И ответ получен?

— Получен. А через два дня его шлепнули.

— Значит, обманывал следствие?

— Нет, не обманывал, служил, только Климент Ефремович его знать не хочет, так на уголке и написал: «Предателям пощады нет!» Красным карандашом.

— Ты сам видел?

— Показывали... — он прошелся по камере, определенно меряя ее в длину. — А ты кем был-то? На воле кем работал?

— Ученым. Я же говорил.

— А кого учил?

— Студентов. Лекции читал.

Он помолчал, теперь меряя камеру в ширину, потом стал рассматривать стены.

— Это ты нацарапал? Черточки — твоя работа?

— Моя.

— Ишщо нарушение!

— А как еще здесь отмечать дни и месяцы? Календаря ведь нет. Да и страшного ничего нет — подумаешь, черточка ногтем.

— Всё одно, не положено, — он прошелся до двери и вернулся. — Скоко ты тут паришься?

— Три года и девять дней. Как видишь, не вру: никакой вины за мной нет. Хотя, впрочем...

Он насторожился совсем как сеттер на болоте, даже шею вытянул.

— Вспомнил?

— Вспомнил, — понимая, что заинтересовал, признался я и сел в его присутствии. Он этого даже не заметил.

— Ты говори, не стесняйся, никто не услышит, — он обернулся к двери.

Неужели и этот, такой молодой, уже зарабатывает предательством? Страшная система!

— В сорок пятом, когда советские войска вошли в Варшаву, в нашем университете никого не осталось. Только

я и Мария Потоцкая — лаборантка. Остальные разбежались. Кое-кто ушел с немцами. Мы с Потоцкой не ушли потому, что ждали русских. В подвале университета у нас был устроен госпиталь. Лежали в основном советские военные, убежавшие из немецкого плена, и — очень немного — из польского «Сопротивления». После неудавшегося восстания в Варшаве спастись удалось единицам. Я мог бы всех назвать по именам. Мы лечили их и кормили. Как могли. За неделю до освобождения Варшавы Красной Армией за нами стали следить. Я отправил Марию за Вислу к тетке, а сам спрятался на чердаке. Там меня и нашли ваши. Два красноармейца вывели меня во двор и поставили к стенке. Один сказал: «А может, это эсэсовский генерал? Гляди, волос белый». Второй согласился: «Генерала надо бы в Особый отдел, за него орден дадут». Первый почесал в затылке и скомандовал: «Эй, фриц, ком!» Второй, с продувной мальчишеской физиономией, остановил его: «Обожди, давай пужанем, пушай в штаны насрёт, — и, сбросив автомат с плеча, прицелился мне в живот: — Кричи, фриц: „Гитлер капут!“» Не знаю, как бы вел себя на моем месте эсэсовский генерал, но я, как ты понимаешь, не дрогнул.

— Говорили-то по-русски! — хохотнул мой собеседник.

— Вот именно. Оба удивились моей стойкости, а один сказал: «И вправду, генерал! А ну, дай очередь поверх башки!» Второй выстрелил. Со стены посыпалась штукатурка. Я спокойно стряхнул ее перчаткой с рукава. «Вот гад! — сказал солдат и дал вторую очередь. Результат тот же. — Давай шлепнем суку такую!» Первый не ответил — он смотрел на мои руки, потом подошел и стал снимать с моих рук перчатки. Второй с минуту наблюдал, затем тоже подошел и толкнул меня автоматом в плечо, а когда я упал, принялся стаскивать с меня ботинки. Нетрудно догадаться, что бы они сделали со мной, если бы в эту минуту во двор университета не вошли военные — кажется, в больших чинах. Впереди них шла... нет, бежала моя лаборантка Мария Потоцкая. Смеясь и плача, она рассказала, что, дождавшись передовых частей русских в Праге¹, подошла к самому главному — так ей показав-

¹ Предместье Варшавы.

лось — и рассказала про наших военнопленных и, естественно, про меня. То, что со мной едва не произошло, она как бы предвидела... К сожалению, военные не сразу направились в университет — их опередили другие части, возможно разведчики, с которыми я и познакомился... Дальше все происходило словно в каком-то фантастическом сне. Красноармейцы, раздевавшие меня, испарились, Мария отперла подвал, и оттуда стали выходить русские военнопленные и наши из «Сопrotивления». Лица их были бледны — некоторые больше года не видели света, — но губы улыбались, и мы были счастливы. Мне велели возвращаться в университет и ждать распоряжений новых властей.

— Наверное, пану профессору дадут орден, — сказала Мария.

На другое утро за мной приехал «виллис».

— Я так рада за вас! — сказала Потоцкая.

Мне предложили сесть в машину и повезли в контрразведку. Первый вопрос, который был задан, это — русский ли я. Чудовищно, но от ответа судьба повернулась ко мне спиной. Не помогли документы, подтверждающие, что я польский подданный, что родился в Варшаве в 1905 году, что никогда не бывал в России, что мой отец служил при варшавском губернаторе, что его жена — полька, стало быть, все дети — а их было шестеро — тоже наполовину поляки. Меня обвинили в измене Родине — и вот я здесь.

— А военнопленные? Вы же их спасли! Они что, смолчали? — спросил палач.

— Их я больше не видел, но в Минской тюрьме встретил человека, который сидел в подследственной камере с двумя командирами Красной Армии — он назвал их фамилии. Они рассказали, что все спасенные профессором Панченко — то есть мной — и Марией были тогда же, в Варшаве, арестованы и отправлены этапом в Советский Союз, что их будет судить военный трибунал. Всем предъявлено обвинение в измене Родине, но с более страшным пунктом, чем у меня, поскольку они военнослужащие.

— А этих двоих вы помните?

— Конечно. Майор Василий Тарудько из Караганды — ранение в голову — и лейтенант танковых войск Саша

Полищук — проникающее ранение в брюшную полость и в голень. Он имел золотые руки и доброе сердце, ему мы обязаны тем, что в подвале появился водопровод, — в Варшаве это сделать было почти невысказано, — и даже ванная, без которой наши раненые просто бы не выжили.

— Но как же они про вас-то не рассказали следователю?! Да и вы, похоже, об этом — никому ни слова.

— Никто из нас не молчал, молодой человек, — ответил я, — в Минской тюрьме мне давали читать протоколы допросов этих несчастных, все они утверждали, что обязаны жизнью мне и «деве Марии» — так они звали Потоцкую, — но на мою судьбу это не повлияло.

— Я доложу обо всем своему командиру, — сказал мой палач, — а тот обязан доложить выше. Пускай направят вас на следствие, найдут ваших военнопленных, ту самую Потоцкую...

— Ради бога! — вскричал я. — Не делайте этого!

Он вытаращил глаза.

— Почему? Вы что, наврали про все?

— Видите ли... — мне вдруг стало жаль этого мальчика, — все, что вы им доложите, они давно знают. Допрашивали всех, в том числе и Потоцкую. К тому же я вел дневник, его нашли. Все факты проверялись. Но беда в том, что вашим следователям и прокурорам не нужна наша правда. Если вести дело по справедливости, нас всех надо освобождать — мы невиновны — но тогда уменьшится процент преступлений такого рода, а благоденствие карательных органов зависит именно от количества преступников, ведь никто не станет кормить такую армию следователей, прокуроров, оперативников, если преступников мало. Да вас они просто не будут слушать — это в лучшем случае — в худшем... Как бы вам не оказаться рядом со мной! Вы молоды, неопытны, доверчивы, а эти качества на вашей службе скорее мешают...

— Ну, это мое дело! — резко возразил он и постучал в дверь. Открылся глазок, потом зашарили ржавые петли.

— Чегой-то ты, Макаров, долго тут, — сказал дежурный по этажу, подозрительно поглядывая на меня. Ответа я не слышал, но и без него было ясно: увлекшись разговором, мы оба забыли о времени, и надо быть круглым дураком, чтобы не понять, чем мы тут занимались.

Старший надзиратель — сегодня как раз дежурил Мамонов — вовсе не дурак. У них продвижение по службе идет за счет усердия. Мамонов не молод, а носит погоны старшего сержанта, он служил надзирателем еще до войны. Для заключенных он не загадка: поблажек не жди. И донести — донесет, потому как служба такая.

Эту ночь я почти не спал, перед моими глазами стоял мальчик возраста моего покойного сына, такой же доверчивый и честный. Зачем я рассказал свою историю? В ней нет лжи, но это-то и плохо. Он поверил — дети доверчивы — и сочувствует мне. Что он будет делать? Доложит по инстанции, как обещал? Несомненно. Хорошо, если все ограничится гауптвахтой, а если заведут дело? Что там ни говори, а нас все-таки боятся, ведь за нами — правда. Ее больше всего боится вся советская держава — замешанное на крови и вранье государство.

Я долго ждал его, он не появился ни на следующий день, ни через два. В конце недели в камеру неожиданно вошел Мамонов. Оглядев для порядка стены и приподняв тюфяк, сказал как бы между прочим:

— Парнишку ждешь? Нету его.

— Как нету? — воскликнул я и с опозданием понял, что совершил ошибку: Мамонов смотрел в самые зрачки.

— Значит, правда: твоя работа!

— Какая работа? Я ничего не понимаю... — Но было поздно. Мамонов покачал головой:

— Иех ты-и-и! А еще ученый! Нехорошо...

— Да что я такого сделал, гражданин надзиратель? В чем меня обвиняют?

— Распропагандировал парня — вот что. Нехорошо! Он же еще пацан. А ты ученый! Хотя и не наш. Одно слово — контра.

Он ушел, сильно хлопнув дверью. Через три дня меня перевели в другую камеру, в полуподвальное помещение, рядом с карцерами. По сравнению с прежней, солнечной, она, в самом деле, напоминала карцер: по стенам стекала вода, цементный пол был мокрым, в углах зеленела плесень, узкие нары черны от грязи, параша протекала и от вони было трудно дышать. Я почти не сомневался, что этот перевод — дело рук Мамонова, но не испытывал к нему ненависти. Наоборот, угрызения совести, мучившие меня всю эту неделю, стали нестерпимыми, и любое нака-

зание я считал за благо, ибо оно будет исходить не от людей, а от Бога. Зачем разговаривал с мальчиком? — в тысячный раз спрашивал я самого себя, а вместо ответа испытывал новые муки. Вот почему, попав в эту камеру, я сразу успокоился, лег на нары и закрыл глаза.

Впервые меня наказали по заслугам.

* * *

На другое утро к нам прибыло пополнение. Шум за дверью первой услышала Настя и юркнула под нары. В камеру вошел голый человек, в руках он держал брюки, гимнастерку, китель и ботинки военного образца.

— Здравствуйте, товарищи, — бодро сказал он, явно не различая ничего в полутьме, — моя фамилия Петров, звать Василием Герасимовичем. Военврач, звание — майор медицинской службы.

— Слово «товарищ» унижает человека, — сказал я, вспомнив одну из лекций профессора, — у нацистов именно так было принято обращаться: геноссе партай.

— Ты что, псих? — спросил новенький.

— Нет, так говорил профессор Панченко.

— Кто это — Панченко?

— Ученый. Химик.

— Чего же он в политику лезет? — голый начал одеваться. — У нас в политику химикам лазать запрещено, этим занимаются люди проверенные. — Надев брюки, ботинки и майку, он с сожалением сказал: — Эх, и в «козла» вдвоем не забьешь!

Петров оказался «повторником».

Первый раз его арестовали в 1937 году, прямо в университете, — он учился на четвертом курсе медицинского факультета. Обвинение дикое: «за принадлежность к чуждому классу». Перед тем как отправить дело в суд, приписали статью 58-10, хотя Петров никогда, ни единым словом не покусился на авторитет советской власти. Отбывал наказание в Воркутинских лагерях. Когда началась война, подал заявление об отправке на фронт — бывший студент-медик горел желанием «искупить кровью» несуществующую вину. Ответ пришел довольно быстро —

на Ленинградском фронте создавалась опасная ситуация, людских резервов не хватало. Петров в лагере проявил себя отменным организатором, и ему поручили сопровождать эшелоны с экаками, также освобожденными и мобилизованными.

— Едва отчалив от Воркуты, мои ребятки принялись грабить, — посмеиваясь, рассказывал Василий Герасимович, — баб-торговок на остановках вместе с самогоном и солеными огурцами затаскивали в теплушки, насиловали и по дороге выбрасывали. За счет железнодорожной милиции быстро обзавелись оружием и постреляли многих. Дальше мы ехали при сплошном «зеленом» и в полном безлюдье — милиция разбегалась в первую очередь, в последнюю — стрелочники. Останавливались только для заправки водой — о провианте уже не было речи. Под Тихвин прибыли сильно отощавшими. Не знаю, сколько тысяч штрафников погибло при прорыве Ленинградской блокады, но знаю, что поставленную задачу они выполнили — блокаду прорвали. После этого тех, кто был ранен, направили в регулярные части, в пехоту, тех, кто чудом остался без отметины, вернули в штрафной. Меня направили медиком в один из медсанбатов 4-й ударной армии. С ней я дошел до Кенигсберга, дослужился до майора, затем, после войны, служил под Минском, а три месяца назад обо мне неожиданно вспомнили прежние хозяева — и вот я здесь.

— Как вы думаете, сколько вам теперь дадут? — спросил я.

— Десять лет ИТЛ, — уверенно ответил Петров, — но меня это устраивает больше, чем ссылка. В лагере гарантированная пайка, а на высылке надо вкалывать.

Прошел июль, наступил август. Каждый день я ждал суда, а его все не было. Между тем «повторники» шли косяком. К середине августа стало не хватать воздуха в камере. Бывший капитан саперных войск Четвериков, арестованный в начале августа тридцать девятого года, пробыл на свободе восемь дней. До этого десять лет отсидел на Колыме. В тюрьму он явился в лагерном клифте и бахилах — ничем иным обзавестись не успел. Надо сказать, что среди «повторников» встре-

чалось мало крестьян и рабочих, большинство — крупные военные, партийные работники, инженеры, врачи, юристы.

— Таких, как ты, в наше время не брали, — сказал мне бывший политработник, — задачи у товарища Сталина были другие. В тридцать шестом — тридцать девятом он уничтожал интеллигенцию, теперь ему для великих строек коммунизма понадобились бесплатные рабочие руки.

— Рабы, — уточнил Петров, — это и дешево, и надежно: будешь работать, куда пошлют, и не пикнешь.

— Сейчас что не сидеть! — сокрушался седой как лунь, кривой на один глаз Иван Дубенко. — Сейчас вас почти не бьют. Разве это битье? Вот в наше время били так били! Весь смысл разбирательства сводился к этому: признался — значит, виновен, к стенке тебя! Я на Колыму приехал без зубов, без глаза и с переломанными ребрами. Писал и Ягоде, и Ежову, и Берии — никакого толку.

— Ты слишком много знал, Иван Саввич, — сказал Петров, — еще удивительно, что не убили. Таких живыми не оставляли. Шутка ли: у самого Дзержинского в «шестерках» ходил!

— Не в «шестерках», сука, а в помощниках! Две «шпалы» носил, «Красное Знамя» имею!

Подсмеивались они друг над другом часто, но не зло, а, скорее, ради развлечения, обижался же один Дубенко.

— Тебя, сопляка, мама на горшок сажала, а я уже на коне впереди эскадрона скакал!

— С сабелькой? — уточнял Петров.

— С сабелькой, едрена мать! Или не нравится? А мне плевать! Я вашу белую косточку — буржуев недорезанных — вот этой самой... правой рукой... как капусту рубил! Сам Клим Ворошилов именное оружие вручал!

— Чего ж сейчас со мной клопов кормишь? — интересовался Петров.

— А потому, — кричал Дубенко, — что всякие пидеры на нашем хребте к власти прискакали! Будь жив Феликс...

— Будь он жив, я б его, собаку, голыми руками задушил, — вмешался еще один «повторник» — тоже

в прошлом боец Первой Конной, — пробрался бы как-нибудь в Кремль и задушил.

Дубенко на него кидался, начиналась драка. С высоты нар дерущиеся напоминали жуков в банке.

— А ведь он прав, — говорил Петров, вытирая кровавую юшку, — нынче в тюрьме не бьют — гладят. В тридцать девятом при мне одному ученому шомполом проткнули прямую кишку, другому яйца каблуком раздавили — так на допросе и умер — остальным — кому чего, а уж гвозди под ногти загоняли — это каждому второму!

Однажды мы были озадачены странными криками в соседней камере. Это не был шум драки или расправы надзирателей с заключенным — это был плач. По голосу мы определили, что плачет молодой парень. «Повторники» немедленно связались с соседними с помощью «коня»¹. Ответ пришел только на следующий день. Вот что мы узнали. У них в камере сидел западник², по имени Михай. К нему на свидание приехали мать и сестра — девушка семнадцати лет. Подследственным свиданий не дают, мать этого не знала и принялась упрашивать надзирателей. Двое отказались, а один согласился. И действительно устроил свидание, а наутро явился на квартиру, где оставились приезжие, и пообещал выпустить парня на свободу, если его сестра отдастся ему тут же, немедленно. Надзиратель почему-то очень спешил.

Сестра решила ради спасения брата пожертвовать собой. А наутро, придя к воротам тюрьмы, мать и дочь узнали, что этот надзиратель здесь больше не работает — уволился и завербовался куда-то. Матери удалось передать Михаю записку, в которой она опрометчиво рассказала о случившемся. Михай сутки бился головой о стену, а потом повесился. Произошло это ночью, когда его однокамерники спали.

Прочитав «ксиву», мы не уничтожили ее, как полагалось, а спрятали в щель между досками пола. Пусть

¹ Беревка, свитая из ниток одежды, с помощью которой можно передать записку (ксиву) соседям через окно.

² Житель западной Украины или Белоруссии. Термин «зап-конен» с 1939 года.

прочитают другие, те, что придут сюда после нас, ибо товарищ Сталин сказал однажды: «Народ должен знать своих героев!»

Однажды утром погибла Настя. Я проснулся от пота ног и хохота. По камере, толкая друг друга, носились мои соседи, орали, свистели. Они играли в футбол, а вместо мяча у них была Настя. Очевидно, она пробиравалась ко мне, ее заметили, заткнули единственную щель в полу и принялись гонять по камере.

— Что вы делаете? Прекратите! — кричал я. Меня отталкивали, хватали за руки. И тогда я взорвался. Врезав по зубам двоим, бросил на пол третьего, четвертый сам залез на нары. Но Настя была уже мертва. Маленьким серым комочком лежала она в углу камеры, и по белому брюшку растекалась кровь.

— Ты что, псих? — спросил Дубенко. — Мужики, у Сереги крыша поехала!

— Нет, ты на кого руку поднял?! — кричал второй буденовец.

— Оставьте его, — посоветовал Петров. — Тебе этого не понять.

Я поднял Настю и завернул в тряпочку, служившую мне носовым платком, а когда нас вывели на прогулку, похоронил ее в углу прогулочного дворика, под кирпичной стеной. С этого дня со мной стали обходиться как с душевнобольным — первому протягивали миску с баландой и даже перевели с нижних нар на верхние, куда временами заглядывал солнечный лучик и где было больше воздуха...

Глава четвертая

КРАСНАЯ ФЕМИДА

*Кого хочет, милует;
а кого хочет, ожесточает.*

Послание к римлянам
св. апостола Павла,
гл. 9, ст. 18

Лишь в середине ноября мое дело было назначено к рассмотрению в военном трибунале. Перед этим я подписал обвинительное заключение и возликовал: появилась реальная возможность бежать. Из-за нехватки «воронков» арестованных перевозили и в хлебных фургонах, и в грузовиках. Последнее меня устраивало больше: прыгать на ходу из кузова машины меня учили...

Неожиданное обстоятельство сделало немислимой эту затею: накануне суда я получил передачу от матери. В знакомой холщовой сумке — хлеб, колбаса, свиное сало, папиросы и мои любимые конфеты.

Вся камера столпилась надо мной, не обрадованным, а расстроенным.

— Теперь твой побег побоку, — сказал Петров, — рванешь — ее возьмут заложницей. Дол-

го, конечно, не продержат, но для нее и немного — хватит...

— Да, не вовремя матушка пожаловала, — согласился Дубенко, — далеко бы не ушел, но и глоток свободы чего-то стоит.

— У нас в деревне случай был, — задумчиво произнес пожилой зэк из новеньких, — вернулся из армии парень. Красавец из себя, атлет, девки на него снопами валились, мать так следом и ходила — единственный! А тут праздник какой-то. На праздники, известно, дерутся. Дрались и тут. А этот — не дрался, мать не позволяла. Идем да идем домой! Видно, сердце чуяло... Ну, однако, налетел на него один дурак пьяный. С ножом. Парень этот — который из армии — не из робкого десятка, да и служил в погранвойсках, постоять за себя умел. Говорит матери: «Вы идите, мама, а я его утихомирю и вас догоню». И утихомирил бы, кабы не маманя. Бросилась на него и своими руками его руки свила... Тут ему тот дурак нож под ребро и сунул. Ни за что пропал парень.

— К чему ты это? — нахмурился Петров.

— А к тому, что нам сейчас срок — нож под ребро. Сгнием в тундре — и всё. Этапы-то куда гонят, знаете? На Воркуту все, да на Инту, а там уголек, будь он неладен. Хотя и в Джезказгане не лучше.

— В курсе, значит, папаша? — проговорил Петров. — Сам побывал или от других слышал?

— Да всяко было, — уклончиво произнес новенький, но даже мне стало ясно, что говорит он не понаслышке.

— Наплюй, парень, и разотри, — обнял меня за плечи тощий как жердь «повторник» по кличке «Журавль», — некуда бежать в «нашей юной, прекрасной стране». Я пять раз пробовал. Видишь, во что превратили? Мало того что печенки-селезенки отобьют, еще и в подвале наваляешься, а там крысы — во!

— А зачем ему попадаться? — встрепенулся еще один. — Я вот из пяти побегов два раза по году жил как король. Жратвы — от пуза, бабы... Мне бы мою молодость обратно да статью не эту, не политическую, а мою родненькую, по которой и срок-то дают вот такусенький!

Уходящим на суд сокамерники поручают святая святых — письма. Все понимают, что будет шмон, но вдруг свидание дадут с родными — и тогда он сунет матери или сестре пачку писем, или конвой позарится на червонец, бросит в почтовый ящик... Все письма, естественно, без марок, сложены треугольничком.

Последним подошел и отдал свой треугольничек зэк по фамилии Филипович — бывший власовец. Поймали его в Восточной Пруссии, при разоружении армии Власова. Был Филипович не простым солдатом, а заместителем начальника штаба полка. Перед войной окончил военное училище, в войну командовал сначала взводом, затем ротой, а под Минском попал в плен к немцам. Содержали пленных тогда, на первых порах, не слишком строго: через колючую проволоку местные жители бросали им хлеб, сало, табак. Охраняли такие временные лагеря не спецподразделения, а солдаты вермахта из числа наименее боеспособных. Попадались среди охранников и легкораненные. На одного такого и набросился однажды молодой и сильный лейтенант Иван Филипович — хотел бежать.

Не успел и километра отбежать от лагеря — поймали. Как понял Иван, не расстреляли только потому, что конвоира он не убил, а сбил с ног, и еще потому, что бежал без оружия, и еще, наверное, потому, что в это самое время в лагерь приехали вербовщики из только начавшей создаваться РОА¹...

На допросах Филипович уверял, что и в плен попал без оружия, и в РОА пошел не по доброй воле — очень уж били... Мне же признался, что, когда дело дошло до расстрела — полагается такое за побег, — выбрал он вместо смерти жизнь и сам выпросил ее у офицера-власовца. Много не сходились в рассказах Ивана.

Не было еще тогда, в сорок первом, никакого Власова и его армии, и не ездили по лагерям вербовщики — Гитлер надеялся своими силами расправиться с Красной Армией. Значит, Филипович сдался сам и

¹ Русская освободительная армия.

служил сначала просто немцам — не обязательно в армии, а возможно полицаем — эти появились с первых шагов немцев по нашей земле.

Должно быть, следователи Филиповича были не дураки, и Иван трусил: одно дело — быть только власовцем, этих иногда отправляли в ссылку; полицаев же судили по всей строгости и, пока еще не был отменен указ о высшей мере, — вешали. Что стоило советской власти ввести его снова?

Исключая Петрова, имевшего высшее образование, Филипович был наиболее грамотным в нашей камере, к тому же много читал и до войны, и в армии. Отлично говорил по-немецки, через него мы общались с бывшими эсэсовцами, которых в камере было трое. Ко мне он проникся особым интересом после того, как я рассказал о злосчастном союзе СДПШ и о своих двух статьях — 58-10 и 58-11. По ним, правда, больше десятки не полагалось (пункт 11 своей санкции не имеет) — но зато и меньше ожидать не приходилось. Именно Филипович внушил мне мысль о побеге. Он же прокрутил с десятков вариантов. Вариант с грузовиком — был также его идеей.

— Главное, не трусь, — убеждал он, — на быстром ходу они за тобой не бросятся — себе дорожке. Стрелять тоже не станут — ты же будешь прыгать в толпу людей!

Филипович учел даже маршрут следования машины — от тюрьмы в центре города по Московскому шоссе, мимо рынка, далее — по Рославльскому шоссе до моей части.

— Возле рынка! — напоминал он. — Не забудь: прыгать не по ходу машины, а назад, через борт, как можно быстрее...

Крушение моих надежд он воспринял как личную трагедию. Только ощутив в руках его «треугольник», понял почему. Агитируя за побег, Филипович дал мне адрес, по которому я должен был явиться, получить гражданскую одежду и отсидеться несколько дней до того часа, когда ко мне придет «один человек»...

Адрес я, по его требованию, запомнил наизусть.

— Не забывай его, — сказал на прощанье Иван, —

еще пригодится. Сказал ледяным тоном, тускло глядя поверх моей головы, — он сам не верил своим словам.

Утром за мной пришли. Я вышел из камеры в полном смятении. Как мама узнала, что я в тюрьме? Зачем приехала? Неужели надеется на адвоката? К этому времени я уже знал, что в политических процессах они играют чисто декоративную роль. Да и в качестве эков их встречалось немало. Уж не за то ли страдали, что пытались защищать невиновных?

И потом, материальное состояние нашей семьи вовсе не рассчитано на адвокатов.

Шмонали меня тут же, в ближайшем коридоре, потрошили так, словно я мог пронести гранату. Все «треугольнички», кроме одного, нашли и забрали с собой, а мне дали легкую зуботычину, сказав: «Знают ведь, суки, что не положено, а пишут...»

Закончив шмон, приказали одеваться, а пока я надевал штаны и гимнастерку, сломали пополам козырек моей фуражки, отодрали случайно сохранившиеся петлицы на шинели и белый подворотничок на воротнике гимнастерки — перед судьями арестованный должен представлять натуральным босяком — небритым, с оторванными пуговицами, стриженным наголо, в опорках вместо сапог.

А я со страхом ждал не трибунала, а встречи с мамой.

В памяти всплыло декабрьское утро сорок третьего года. На фронт нас везли из города Буя, где формировалась часть, мимо моего родного Данилова. В нашей части вообще было много даниловских. Время и день отправки эшелона держались в строжайшей тайне, поэтому мы не могли сообщить заранее, и родные ждали нас на станции несколько суток. Многие приехали из дальних деревень.

Когда эшелон подошел, нас встретила толпа женщин и стариков, в которой трудно было с ходу отыскать своих. Думаю, им тоже было не легче, поскольку все солдаты похожи друг на друга.

Поезд остановился, паровоз отцепили, он ушел заправляться. Солдаты начали прыгать из вагонов, но неожиданно появился дежурный по эшелону — вдребезги пьяный майор — и принялся загонять нас в

теплушки. На глазах матерей пинал солдат сапогами, бил кулаком по шее, матерился, а потом стал стрелять в воздух из револьвера. Призвать его к порядку было некому — из штабного вагона доносились звуки патефона, визг и хохот женщин — там веселилось начальство. Я видел маму в толпе, узелок в ее руке, концом платка она вытирала слезы. Я пытался ее утешить, подавал какие-то знаки, но она не понимала.

Паровоза все не было. Он подошел только через полчаса. Ударил ветер, закружила метель; станция, а вместе с ней и моя мама исчезли в снежной мгле.

С тех пор мы не виделись шесть лет. Сегодня тот же месяц, почти то же число и та же погода — воет ветер, метет снег.

Когда меня везли в трибунал, погода словно взбесилась: ветер усилился, температура упала до пятнадцати градусов.

Спецмашин действительно не хватало, и меня везли в кузове полуторки. После дивизионной проходной машина свернула влево к подъезду, где помещался политотдел. На глаза мне попала странная женщина, которую я принял за сумасшедшую, — ввалившиеся глаза, худая длинная шея и мученически улыбающийся рот. Ко всему этому — легкое демисезонное пальто, вязаный берет и резиновые боты.

Когда машина остановилась у крыльца, конвойный толкнул меня в спину. Я спрыгнул на землю и снова увидел женщину. Опередив грузовик, она стояла теперь недалеко от крыльца и улыбалась мне своей страшной улыбкой. Затем помахала рукой. Только тут я узнал маму. Я рванулся к ней, но получил удар прикладом в грудь — конвоир расценил это как попытку к бегству. Затем он втолкнул меня в вестибюль. Подскочил начальник конвоя — огненно-рыжий капитан очень маленького роста. Ударив меня ногой в пах, пообещал:

— Я тебе покажу, как от меня бегать! От капитана Сосновцева еще ни одна сука не убегала!

— Делайте что хотите, — сказал я, — только дайте увидеть ее.

— Это его мать, — наконец догадался конвоир.

— А мне х... с ней! — ответил капитан. — Я с него шкуру спущу.

Сознание, замутненное болью, постепенно возвращалось. Я увидел просторную комнату, уставленную стульями, и скамью перед той самой кафедрой, с которой нам, будущим комсоргам, читали лекции окружные политработники. Вдоль стен, как на параде, выстроились мои свидетели.

Минут через пять конвой привел Денисова и Полосина. Мишка ткнул меня кулаком в бок:

— Здорово, «предводитель»! Чего скис? Брось. Бог не выдаст, свинья не съест.

— Не разговаривать! — рявкнул начальник конвоя.

Первым занял свое место прокурор — невыспавшийся майор с насморком — и адвокаты — полная дама средних лет с шестимесячной завивкой и огромным бюстом и молодая брюнетка с тяжелым узлом волос на затылке, чем-то похожая на мою тетку.

Выждав регламент, секретарь трибунала — молодой прыцавый лейтенант — торжественно произнес:

— Встать! Суд идет!

Председателем оказался пожилой, грузный полковник с жирной шеей, складки которой наплывали на воротник кителя. Толстые губы и щеки были собраны таким образом, что походили на карнавальную маску, выражающую отвращение ко всему на свете.

Заседателями оказались мои старые знакомые: библиотечарь младший лейтенант Завадовский и начфин Рябухин. Упершись в меня испуганным взглядом, оба до конца заседания не проронили ни слова. Когда председатель трибунала обращался к ним, они молча согласно кивали головами. «Подсолнухи» — вспомнил я прозвище, данное арестантами этим людям.

Первое в моей жизни заседание военного трибунала прошло для меня в каком-то полусне. Я все время думал о маме и смотрел на окна, боясь увидеть ее синее лицо за стеклом. Поворачивая голову вправо, видел полковника, восседавшего на кафедре. Фамилия его была Мранов. Тот самый Мранов, о котором однажды упомянул следователь Кишкин. Я слышал людскую речь, но смысл сказанного доходил до сознания с трудом. Невыспавшийся прокурор, смор-

каясь в платок, растягивал свои безразмерные «э» и «таким образом», что-то бубнил председатель, вкрадчиво и нежно ворковали голубицы-адвокатши.

— А почему их двое? — шепотом спросил Полосин.

— Один казенный, — ответил Денисов, — полагается при групповом деле, второй не знаю откуда. Наверное, наняли. — Оба посмотрели на меня. Неужели мама все-таки наняла?

В перерыве я увидел следователя Кишкина. Он беседовал с моими свидетелями, в чем-то убеждал их и при этом сердился... Прошли мимо бывший друг Шевченко — свидетель обвинения — и его подружка Вера Александрова — тоже мой свидетель. Они должны были показать, где, когда и при каких обстоятельствах я совершил самое главное преступление — спел песенку о бродяге.

Застегивая ширинку, вышел из туалета лейтенант Кукурузин, прошипел сквозь зубы:

— Докатился, артист!

В моем деле Кукурузин занимал особое место: если остальные свидетели только подписывали готовые протоколы, сами ничего не придумывая, то Кукурузин все придумывал самостоятельно, иногда попадая «в цвет», иногда промахиваясь, за что Кишкин потешно журил его:

— Как же, лейтенант? В прошлый раз ты говорил, что Слонов с восьмого по двадцатое июля был в полку, в то время как ты находился на полигоне у села Крупки. Ведь если так, то ты видеть его не мог...

Кукурузин подавался вперед всем телом, хлопал огорченно по ляжкам и вскрикивал:

— Вспомнил, товарищ капитан! Это он говорил не в июле, а в сентябре, и не на стрельбах, а в бане.

Еще один, незнакомый мне офицер, прошел мимо, сказал со злостью:

— Родину американцам продал, сволочь! За сколько — интересно?

— Если интересно, попробуйте сами, — ответил я, — вдруг офицерам платят больше.

Он хотел меня ударить, но подошел начальник конвой — заседание продолжалось.

Уже до перерыва мне было ясно, что Мранов напе-

го «дела» не читал. В лучшем случае заглянул в обвинительное заключение.

— Значит, ты утверждаешь, что никогда, ни от каких иностранных разведок заданий не получал. Кто же тогда финансировал ваш преступный союз?

Даже мой следователь в конце концов отказался от таких нелепых вопросов.

— Ты клеветал на святая святых — нашу коммунистическую партию! — гремел Мранов. — Да как тебя после этого земля носит?!

— Кажется, это из другой оперы, — шепнул Денисов, — насчет клеветы на партию у тебя ведь нет?

Но Мранов не спутал. Раскрыв какую-то книжицу, надел очки, что-то прочел и сказал:

— Твой единомышленник, политический космополит, так называемый писатель Зоценко говорит о партии следующее: «Ни одна партия в целом мне не нравится. К примеру, кто такой Гучков? А черт его знает, кто такой Гучков!»

Мранов испепеляет меня взглядом.

— А ведь ты восхвалял этого самого Зоценко. Рассказики его поганные с эстрады читал! А это — антисоветская пропаганда. Ну, что скажешь? — он отложил книжицу.

— Скажу, что Гучков никогда не был коммунистом, и Зоценко в этом рассказе говорит о нем с оттенком презрения. Разве не ясно?

У блондинки-адвокатши вытянулось лицо, зато другая, похожая на мою тетку, сказала:

— Я поддерживаю довод моего подзащитного: Гучков действительно не был коммунистом, он принадлежал к партии кадетов. В деле, которое мы рассматриваем, нет обвинения по этому пункту, как нет и свидетельских показаний.

Мранов даже не взглянул в ее сторону. Военный трибунал в лице полковника Мранова презирал гражданских лиц, а в юбках — тем более.

Заседание продолжалось. Допрос свидетелей происходил приблизительно так: военнослужащего вызывали по фамилии, приказывали встать перед кафедрой и задавали вопрос: подтверждает ли он показания, данные им самим на предварительном следствии.

— Так точно! — бодро отвечал тот и, повернувшись на каблуках, уходил из зала заседания. Иногда их заставляли повторить то, что они якобы слышали от меня, и тогда начиналась неразбериха. Свидетели то ли забывали свои показания, то ли не хотели выглядеть в глазах сослуживцев подлецами и выкручивались как могли. Это не мешало Мранову заносить их показания в протокол.

Я взглянул на адвокатов: неужели не заявят протест? Но блондинка причесывалась, глядя в зеркальце, а дама с узлом волос перебирала бумаги...

И тогда я поднял руку.

— Гражданин председатель военного трибунала, как мы поняли, вам недосуг было прочесть материалы нашего дела, поэтому разрешите мне в двух словах изложить его вам, тем более что, вероятно, и прокурору это будет интересно.

Очередная «козья ножка» застыла в воздухе, глаза Мранова сделались белыми, сидевшие рядом с ним «подсолнухи» впервые осмелились взглянуть друг на друга, и даже сонный прокурор, казалось, с интересом посмотрел в мою сторону.

Догадываясь, что может сейчас произойти, я поспешно продолжил:

— Суть его в следующем: в полку служили четыре товарища — трое перед вами. Скуки ради один из них придумал некий союз, назвав его начальными буквами своей фамилии и фамилий своих товарищей: Денисова, Слонова, Полосина и Шевченко. Никому этот «союз» не вредил, и нет в его уставе ни единого пункта, который нормальный человек мог бы истолковать как противоправный. А вот мой следователь сумел это сделать. Для чего — не знаю, вас же прошу: прочтите наше дело! Тогда вы будете знать, кого судите и за что.

После этого наступила тишина. Все смотрели на полковника Мранова и на меня. В какой-то миг мне показалось, что в зале больше вообще нет людей. Но вот Мранов выкатил глаза и заорал, точь-в-точь как наш командир полка Грищенко на плацу:

— Молчать, негодяй! Молокосос! Вон! Все — вон!

Когда нас выводили из зала, адвокат шепнула:

— Не переживай, заседание переносится на завтра, а твоей маме я передам.

Сажая меня в кузов грузовика, начальник конвоя сказал:

— Ну, держись, парень! Самого Мранова на посмешище выставил!

Неотвратимость возмездия была для него так очевидна, что при возвращении в тюрьму он забыл о своем обещании «содрать шкуру» с меня.

Денисова и Полосина везли в другой машине, но в тюрьме по чьему-то недосмотру нас поместили в одну камеру. На восемь спальных мест приходилось сорок два человека. Не только лежать, но даже сидеть было негде, и ночь мы провели стоя.

Надо отдать должное моим товарищам: ни Денисов, ни Полосин ни разу не упрекнули меня в том, что из-за меня попали в тюрьму. О завтрашнем заседании мы почти не говорили — моя дерзкая выходка могла здорово навредить всем. Чтобы отвлечься, Денисов стрелял чинарики; Полосин, наверное, тосковал о съеденной еще утром так опрометчиво пайке хлеба; я сочинял стихи. Меньше полусуток отделяли нас от суда, который решит нашу судьбу.

Утром подали автомашину, известную каждому школьнику под названием «Черный ворон». Проходя в зарешеченный отсек, Мишка сказал конвоиру:

— Посторонись. Не видишь, правительство едет!

Конвоир выпучил глаза, но посторонился. Мы втиснулись.

Кроме нас троих в железном ящике было еще шесть человек, ехавших на свой суд, и среди них беременная женщина.

— Вас-то, солдатики, за что? — жалостливо спросила она.

— За неудачное ограбление ювелирного магазина, — сказал Мишка.

Бабенка взглянула на нас с уважением. Порывшись в мешке, протянула нам по пирожку с картошкой.

— А меня на бану¹ замели. У фраера два «куска»

¹ Вокзал.

увела, а тут мент... Четвертая судимость. С малолетки тяну. На воле дольше двух месяцев не бываю. Вот, — она указала пальцем на свой живот, — одна надежда. Спасибо конвоиру: посодействовал...

Теперь уже мы смотрели на нее с уважением: солдаты первого срока боятся, а молодая бабенка в четвертый раз чалится — и хоть бы что!

Вылезая из «воронка» в каком-то переулке, она помахала нам рукой.

Маму я увидел на том же месте. За сутки она еще более пострашнела, но опять мучительно выдавливала из себя улыбку: ей казалось, что это придаст мне силы... Милая, наивная мамка! Единственное, что мне сейчас было нужно, это чтобы ты оказалась за тысячу километров от Минска...

В коридоре ко мне подошла адвокат.

— Тебе надо извиниться перед председателем. От этого многое зависит, — движением руки она поправила волосы на затылке — совсем как моя тетка Лена.

— Много чести, — сказал я. Адвокат посмотрела на меня со страхом.

Военный трибунал заседал три дня. Из предъявленных нам обвинений не отпало ни одного — свидетели были дисциплинированными, — но история с союзом СДППШ даже Мранову показалась неубедительной. Однако Мранов не был бы Мрановым, если бы поступал согласно здравому смыслу. Он приговорил всех троих к десяти годам ИТЛ с последующим поражением в правах на пять лет — ровно столько, сколько по максимуму определяла статья.

Для нас такой приговор не был неожиданностью, зато моя мать восприняла его как беду. Когда конвой сажал нас в «воронок», она сделала попытку подойти ближе, но рыжий начальник конвоя отогнал ее, как надоевшую собаку:

— Пошла прочь, стерва!

Дверь «воронка» захлопнулась, машина тронулась. Я услышал отчаянный женский крик. Денисов взял меня за плечи, Полосин на всякий случай загородил дверь — вдруг брошусь!..

Только через год я узнал, что в тот зимний вечер

моя мать долго бежала за увозившей нас машиной, потом споткнулась, упала на мостовую и вышибла себе передние зубы. В бессознательном состоянии ее доставили в больницу. Ко мне в лагерь она приехала со вставными зубами, но это уже другая тема.

А пока нас привезли в тюрьму и поместили в самую большую камеру, в ней сидело не менее ста человек. В воздухе стоял смрад, квадрат окна еле просматривался сквозь завесу табачного дыма.

Разглядывая новое помещение, я не сразу заметил мерзкое двуногое существо, голое до пояса, синее от множества наколок на груди, животе, руках и, как позже выяснилось, на спине. Существо прыгало, кривлялось, гримасничало, сморкалось и плевало прямо нам под ноги. Вымазанная сажей физиономия все же позволила распознать подростка лет двенадцати.

Докурив сигарку, Денисов уверенно потушил ее о грязный лоб малолетки... И тогда началась драка. На нас кинулись полураздетые, лоснящиеся от пота тела, испещренные наколками.

— Не подпускай близко! — приказал Денисов. — Бей сапогами!

В ту же секунду я понял все: у нападавших в руках были длинные железные пики. Об этом страшном оружии рассказывали в подследственной камере. Каким-то путем урки добывают куски железа или стали и долгие недели — иногда месяцы — затачивают их о кирпич подоконников. Хранят пики умело, при переводе из камеры в камеру передают с помощью «коня», минуя шмон. Если пикой убивают на расстоянии, то короткие «заточки» служат для «расписки» — уродования лица, отрезания ушей, ослепления вздумавшего сопротивляться фраера. Мы сопротивлялись, и нас следовало наказать, но отпор был яростным и умелым и привел урок в растерянность. Через минуту-две они откатились в глубину камеры и начали совещаться. Издали мы видели кого-то сидевшего на верхних нарах под самым окном. Луч света блестел на его лысой голове и зажег огнем оттопыренные уши.

Антракт пригодился и нам. Нападало восемь человек. Шестеро кинулись с боков, двое — с верхних нар,

еще столько же стояло наготове. Остальные взирали на драку издали, между гражданскими пиджаками мелькали гимнастерки и кителя военных.

— С ними разберемся после, — сказал Денисов, поймав мой взгляд, — во всяком случае, просить помощи не будем.

Но помощь все-таки пришла. Из глубины камеры появился и встал рядом с нами крепкий на вид малый лет двадцати. Как и большинство здесь, он был гол до пояса, но на нем были диагоналевые офицерские галифе и солдатские ботинки без шнурков, порванные спереди и сзади.

— Лейтенант Шустов. Можно просто Юра.

— Нарушаете форму, товарищ, — строго заметил Денисов, — где ваши сапоги?

— Погоди немного, и ты своих прохорей¹ лишишься, — огрызнулся Юра.

— А это еще бабушка надвое сказала, — с удовольствием отозвался Денисов. Мне показалось, что сейчас для него драка — приятное развлечение.

Урки базарили не зря: лысый пахан приказал переменить тактику — ведь теперь нас четверо, к тому же в камере много бывших вояк...

Из дымной глубины, скользнув в луче света, вынырнул и подошел к нам тщедушный на вид старикан с лысиной, испещренной шрамами, гладко выбритым подбородком и неестественно красными губами. Зубов у старикана не было. «Маня!» — догадался я: об этих страшных извращениях мне тоже рассказывали в камере.

— Тебе, дедушка, с оттяжкой или прямого? — ласково спросил Денисов, оттягивая средний палец для щелчка.

— Оччень... оччень рад познакомиться! — старикан шустро поймал Мишкину руку и крепко пожал. — Владимир Сергеевич. За недоразумение просим извинить: народ молодой, горячий... Прошу вас к нашему шалапу, как говорится, — он сделал приглашающий жест.

¹ Сапоги.

— Не ходите! Провокация! — тихо произнес бывший лейтенант, но Денисов, отстранив старика, уже шагнул вперед.

— Не век нам тут стоять, — сказал Полосин и пошел следом.

— Нет, почему, если нравится, пусть стоит, — возразил я и двинулся за Полосиным.

Думаю, такой мертвой тишины эта камера не знала со дня постройки.

Пройдя ее всю, до противоположной стены, Денисов встал спиной к ней, нарочно войдя в луч света. Мы с Полосиным заняли места справа и слева. Денисов, наверное, на это и рассчитывал.

— Ну, мужики, как вам тут живется? — спросил он громко. — Не забижает ли вас кто? Не обирает? Не играют на «ту херню»?

Камера отозвалась гробовым молчанием. Вдруг сверху, со вторых нар, из того самого угла, что под окном, послышался вкрадчивый голос:

— Чего же вы притихли, мужики? Застеснялись... А вы не стесняйтесь. Расскажите товарищу военному, кто вас притесняет, обижает. Товарищ военный вас выслушает, пожалеет, а завтра уйдет на этап, уголек рубать в Джезказгане, а мы тут с вами останемся.

Камера молчала. Сквозь табачный дым виднелись бледные, худые лица с опущенными вниз глазами...

— Видите, товарищ военный: здесь полный порядок. Вам волноваться за людей нечего. — Из угла, из кучи сложенных один на другой тюфяков, появилась лысая голова с большими оттопыренными ушами, затем и сам человек — жилистый, средних лет, в шелковой синей майке и оранжевых шароварах. У человека были маленькие злые глазки, изогнутый клювом нос и вкрадчивый, хрипловатый голос.

— А не чифирнуть ли нам с вами ради первой встречи? Катенька, подай!

Уже знакомый нам мальчик сорвался с места, сбежал в другой конец камеры и вернулся с немецкой флягой в чехле.

— Можем и спиртику плеснуть, — сказал «пахан», — для хорошего человека не жалко.

Я не заметил молниеносного движения Мишкиной

руки — этот прием у него был отработан давно — но зато увидел мелькнувшие в воздухе оранжевые шаровары и услышал глухой стук упавшего тела. В следующую секунду все смешалось в камере: с матерщиной и ревом полуголые люди бросились на урок, били их кулаками, пинали ногами, кусали, царапали лоснящиеся от пота лица.

— Под нары их! — кричал чей-то командирский голос. — Приказываю: не убивать! Не допускайте уголовщины! Мы — пятьдесят восьмая статья! — Из дымной глубины камеры появился высокий человек, в кителе, галифе и босой, подошел к Денисову. — Вы в каком звании, товарищ? Впрочем, все равно. Вы поступили мужественно. Я подполковник Нефедов — работник штаба округа. Вашу руку!

Мишка — он только что взобрался на груды тюфяков — сделал вид, будто не заметил протянутой руки.

Подполковник ждал. Тогда Мишка стряхнул пепел сигарки на китель подполковника.

— Да как ты смеешь?! — закричал Нефедов, но другой бывший военный, — надо понимать, не ниже чином, — подошел к нему и сказал:

— Не надо, Борис Васильич, ребята правы: мы вели себя не лучшим образом. А они молодцы! — Уводя подполковника, он подмигнул нам с Полосиным.

Из-под нар вылез сияющий лейтенант Юра. В руках он держал хромовые сапоги.

— Вот они, родненькие! На заказ шил. Проиграли сволочи. Теперь уж не снимут!

— Что будем делать дальше? — спросил Полосин. Мы оба взглянули наверх. Денисов мирно спал на груды тюфяков.

Взбужденная камера понемногу стихала. Урок еще малость поколотили и оставили в покое — в коридоре слышался грохот алюминиевых мисок — раздавали ужин.

На следующее утро нам выдали по четвертушке серой бумаги и один огрызок карандаша — для написания кассационных жалоб. Но из троих писал ее один Полосин, мы с Мишкой этот ритуал игнорировали — отчасти потому, что наши жалобы вообще ни на что не влияли; во-вторых, потому, что если дело

групповое, то достаточно одному из поделльников подать ее — пересматривать будут все равно все дело.

— Ты там пожалобней пиши, пусти слезу, чтобы прокуроров прошибло, — издевался Мишка. Полосин порвал один листок, начал второй. — Неужто не получается? И чему тебя в школе учили? Напиши: я больше не бу-у-уду-у — и подпишись.

Полосин порвал и второй и начал третий. Вчерашний герой-подполковник, заглянул через плечо.

— Кто же так пишет? Ты сколько классов кончил?

— У него академия, — сказал Мишка.

— Сразу видно, — кивнул военный, — ну-ка дай карандаш.

Наверное, это была очень профессиональная жалоба, так как ровно через семьдесят два часа нас вызвали «с вещами» и в коридоре зачитали решение кассационного суда о направлении нашего «дела» на следствие. Затем нас развели по разным камерам.

— Встретимся в трибунале, — сказал на прощанье Мишка.

Но встретиться нам не пришлось: в ходе следования отпало обвинение в организации контрреволюционного союза, «дело» перестало быть групповым, и моих поделльников освободили.

Мне же предстояло и дальше страдать за длинный язык и нестандартные, запретные мысли. Товарищам я не завидовал, наоборот, от души радовался за них — в конце концов, пострадали из-за меня. По поводу своей судьбы тоже не слишком сокрушался: как любил говаривать Мишка Денисов, Бог не выдаст, свинья не съест. За время следствия я только приподнял краешек роскошного, разрисованного красками театрального задника, называемого в зависимости от моего возраста по-разному — то «счастливым детством», то «молодостью мира», то просто «советским образом жизни», лучше которого нет на свете. Мне же предстояло заглянуть за кулисы этого балагана.

* * *

Видеть все самому невозможно, и моя память то и дело возвращалась к «повторникам». Рассказывали

они охотно: позади — жизнь, полная страданий; впереди, в лучшем случае, ссылка в отдаленные края, где нет ни дома, ни семьи, ни работы. Да и какую работу может исполнять искалеченный побоями на допросах шестидесятилетний старик?

Ссылали их и на острова в Белом море, и в глухую красноярскую тайгу, и в Казахстан, и в Коми. Одни храбрились: «Я еще — ого-го! Бабу найду и заживу припеваючи!» Другие совсем пали духом: «Ты на руки мои посмотри! Нешто можно с такими руками себя кормить? В лагерях все больше по больничкам кантовался...» У большинства семьи не было — отказалась семья еще в тридцать седьмом, жена из страха за детей, дети — поверив советской власти, учительнице, воспитательнице детского сада, соседям-партийцам... Некоторые из лагеря писали заочницам. Даже фотографии от них имели. Но как пошлешь свою? Плешивый старик вместо доброго молодца, каким представлялся в письмах.

Дождаясь своего последнего в жизни суда, отводили душу в воспоминаниях. Одни, настроенные лирично, вспоминали жену — непременно красавицу, работу в наркомате, власть былую; другие, отчаявшиеся, обозленные, — допросы в тридцать седьмом...

— Я на воле целых два месяца гулял: с декабря сорок седьмого по конец января сорок восьмого. В лагере — от звонка до звонка — ни дня лишнего. Хотел на работу устроиться — врач все-таки — не приняли нигде. Как в бумаги глянут — так от ворот поворот. Проклятье, одним словом. Теперь вот в ссылку пошлют...

— Может, еще и не в ссылку, — возражает сосед, — вдруг ты за эти три месяца чего-нибудь наболтал!

— Да не болтал я, нем был, как рыба.

— Ну, следствию видней.

Следствие «повторников» проходило быстро, суд — еще быстрее. Торопилась власть — слишком много видели, поскорей надо от них избавиться. В том, что они долго на островах не протянут, судьи не сомневались.

Среди «повторников» бунтарей не было. Даже самых стойких следствие ежовской поры ломало. По-

бегов, насколько я знаю, они не совершали — больше смерти боялись повторения следствия.

Другое дело — арестанты моего времени — сорок седьмого, сорок восьмого года. Эти прошли фронт, смерти в глаза смотрели и тыловых крыс ненавидели.

После огромной, многолюдной камеры осужденных следственные камеры кажутся маленькими и тихими. Только два чувства — надежда и страх — носятся под их сводчатым потолком.

Но у «повторников» имелись и другие рассказы, смешные...

— Я до войны в полку комиссаром служил. Арестовывали часто, и все больше из командного состава. Был я убежденным коммунистом, близко к сердцу принимал неприятности, которые изменники представляли родимому моему правительству. В конце тридцать седьмого арестовали сразу троих: командира полка Манцева, его зама по строевой Луговского и командира первого батальона Крона. Собрал я актив. Так, говорю, и так, коммунисты полка должны отреагировать. Доколе можно терпеть... и так далее. Добился, в общем, чтобы меня на суд вызвали. Уж как я их там поносил — на суде-то... Вспомнить теперь смешно. И страшно. Помню, сказал: если бы мне доверили привести приговор в исполнение, у меня бы рука не дрогнула, хоть Манцев мне другом был, а жена Луговского является родной сестрой моей жены Анастасии. Слава богу, до исполнения приговора с моим участием не дошло — через две недели приезжают за мной из штаба округа. «Так и так, просят вас явиться по одному срочному делу. Машина ждет». Ну, я бумаги кое-как в стол посовал, дежурному сказал, что к обеду вернусь, и поехал в штаб. В голове, конечно, мысли про те дурацкие слова, которые сгоряча произнес в суде. Уж не за этим ли вызвали? Честно говоря, я уж на другой день пожалел об этом: ну какой из меня расстрельщик?

Привезли в штаб. Только не к начальнику штаба, а в другое крыло, где я ни разу не бывал. Попросили обождать. Не иначе, думаю, к самому командующему! Сижу, гадаю: по какому вопросу? Склоняюсь

мыслью к хорошему: полк наш — 27-й стрелковый — уже второй год на первом месте. Неужто, думаю, на повышенные пойду?

Часа этак через полтора везут прямо в тюрьму! И опять у меня в голове ни одной дурной мысли. Тем более что майор сказал: «Вам придется немного подождать. Разобраться необходимо. Это ненадолго. Позвольте ваш ремень — такой порядок». Отдал я ремень, все, что в карманах было, тоже и в камеру вошел спокойно. Камера большая, и народу там видимо-невидимо. И все до пояса раздетые, и влажность от дыхания — как в бане. Понял я сразу, что за народ: у многих морды побиты, на ногах опорки, все, как один, небритые, у некоторых лица белые, будто мукой обсыпанные.

Присел я на краешек нар, сам на дверь смотрю: вот-вот откроют и меня отсюда попросят...

А мужики подходят по одному, разглядывают. Спрашивают, давно ли с воли? Допрашивали или нет? Как фамилия, в каком звании.

Говорю им — это когда терпение кончилось — нечего, дескать, мне с вами разговаривать и на ваши глупые вопросы отвечать.

Тогда подходит человек, очень похожий на комполка Манцева, только щетиной заросший и очень грязный, и говорит: «Здравствуй, Павел Егорович. Не узнал, что ли?» Смотрю, в самом деле, Манцев. А за ним стоит Семен Луговской, а дальше Митя Крон — он в полку из командиров самый молодой был. «Что молчишь, не отвечаешь? Загордился?» А я им: «С врагами народа мне разговаривать не о чем». Засмеялись. «А чего ты в нашей камере делаешь?» — «Меня, — говорю, — обождают просили, пока разберутся...» — «Тогда жди», — и отошли. Прошел час, другой, третий. Окошечко в двери открылось, миски с супом начали из коридора подавать. Подали и мне. Прямо в руки. Гляжу — что-то вроде помоев — так мне тогда показалось. Не дотронулся. Сажу, жду. — Рассказчик вздохнул. — Дак так десять лет и ждал. Освободили, дали месяцок погулять — и по новой в тюрьму. Чего теперь дадут, не знаю. Вроде лишнего не болтал.

Тут уж я не утерпел, спросил:

— А товарищи ваши как? Тоже сидели?

— Их расстреляли, но с месяц еще мы вместе сидели. Между прочим, в тот первый день — точнее, следующую ночь — они мне все мое будущее рассказали. Манцев говорит: «Откуда ты родом, Павел Егорович?» — «Из-под Гродно». — «Значит, быть тебе польским шпионом. Когда ты родился, Гродно Польше принадлежало». Как в воду глядел Манцев, царство ему небесное.

А вот еще рассказ — такой же «веселый».

— Привели в камеру попа... На вас обличием похож был, я, как вас увидел, сперва подумал, не отец ли Никодим, да вовремя вспомнил, что того расстреляли. Вызвали, значит, батюшку на первый допрос. Ждем. А все церковники проходили через Дуньку Чуму — такое прозвище у следователя-бабы имелось. Пришел батюшка — мы к нему: «Ну, как следователь?» — «Да знаете, — отвечает, — совсем не то, чем меня пугали. Этакая обходительная особа. Со мной на «вы» разговаривала. Семейей интересовалась, всё расспрашивала — и про матушку мою, и про братьев, и про прихожан некоторых. Сказала, что завтра беседу со мной продолжит». Перекрестился и спокойно спать улегся. А ночью его вызвали...

Утром обратно пришел, и мы едва узнали тихого пастыря: глаза круглые, глядят в одну точку — нас не замечают — лицо белое, губы дрожат, руки-ноги трясутся. «Что с вами, батюшка?» — «Сотону узрел, дети мои!» — «Какого сатану?» — «В женском облиции сотона». — «Уж не следователь ли ваш в сатану обратился?» — «Истинно так: вошел я, а она как вскочит, как по столу кулачищем стукнет, как крикнет: „А! Дьявол долгогривый, распротак твою мать... Подписывай, рассукин сын!“» — «И что же вы подписали, святой отец?» — «Не ведаю, дети мои, ибо в большом смятении находился...»

Как я заметил, «повторники» охотнее рассказывают курьезные истории, нежели грустные. Попавшие в тюрьму впервые, наоборот, жадно слушали про из-

биения, про урок с их пиками, про карцеры и мрачные подземелья тюрьмы. Все это, конечно, было, в том числе и подвалы под зданием тюрьмы, где еще совсем недавно приводились в исполнение приговоры трибуналов и «троек».

Однажды, конвоируя меня к следователю по подземным переходам, надзиратель — симпатичный парень-белорус — кивком головы указал на железную дверь, — она была приоткрыта, — за которой виднелись кирпичные ступени, ведущие вниз. «То самое?» — шепотом спросил я. Конвоир кивнул и ускорил шаг. Сразу после войны белорусы особенно страдали от массовых репрессий, в камерах Минской центральной тюрьмы их было больше половины. Кроме пойманных в лесу бендеровцев или подозреваемых в причастности к ним, на нарах лежали все те, кто хоть раз добровольно или по принуждению накормил ночного гостя. Далее: украинские националисты имели свой желто-голубой флаг. Сочетание этих цветов для карательных органов также служило доказательством принадлежности человека к националистическим бандам, будь то вышивка на рубашке подростка или орнамент на юбке девушки. Доказывать виновность арестованного никто не собирался, его признания добивались, невзирая на возраст, жестокими методами, часто напоминая приемы палачей 1937—1939 годов. Время от времени наблюдающие за следствием прокуроры одергивали следователей, напоминая, что-де теперь уже не тридцать седьмой год и бить арестованных не полагается, но прокуроры покидали кабинет — и следователь опять принимался за свое: гуманность гуманностью, а требования — добиться признания любой ценой — остаются, так же, впрочем, как и обвинение в мягкотелости, за которым следует увольнение с работы.

Надзирателями в Минской тюрьме служили либо демобилизованные солдаты Отечественной, либо милиционеры из местных. Часто коридорный обнаруживал в камере земляка, а то и родственника, и тогда между ними возникала связь вплоть до ухода зэка на этап. Самое ценное в этой связи было то, что зэк мог передать на волю записку, и не только с просьбой

прислать побольше сала и сухарей, а и с нужной информацией, касающейся его личного дела, о котором родные не имели понятия, и о стукачах, просто виновниках происшедшего с ним несчастья.

Конвоир, показавший мне страшную дверь в подземелье, был явно из сочувствующих. Когда меня посадили в карцер, именно он во время своего дежурства тайком приносил мне бесценную миску баланды, а однажды даже и хлеб. Фамилия моего спасителя была Куделик, имя, кажется, Николай, но я не уверен, так как и фамилию узнал случайно: старший надзиратель окликнул его издали...

Надо сказать, что в карцер я попадал довольно часто, особенно во время повторного следствия. Вместе со страхами, неизбежными для новичка, во мне не осталось и послушания. Теперь, попадая в новую камеру, я первым делом пытался выяснить, кто сидит в соседней. Интересовали меня, в первую очередь, подельники, во вторую — военнослужащие нашей части: однажды следователь проговорился насчет «за-разы», которую я якобы посеял и от которой командованию придется еще долго избавляться...

Обычно прослушивание делается с помощью алюминиевой кружки: ее приставляют широким диаметром к стене, а донышком — к уху. Однако это годится для тонких стен, в Минской же старинной тюрьме они были почти метровой толщины. Приходилось пользоваться «конем». Управляться с ним я научился быстро и скоро превратился в штатного конюха или кучера для желающих переговорить с подельником или земляком. Моими клиентами были пожилые белорусы, чаще крестьяне, получавшие с воли богатые передачи. Плату брал в зависимости от толщины мешка и важности для клиента моей услуги. Своей добычей неизменно делился с неимущими, за что получил прозвище «Гусар». Думаю, этому отчасти способствовали и усы, которые я отрастил в тюрьме. Концы их лихо закручивались вверх, что придавало моему лицу выражение отчаянное.

Постепенно вместе с прозвищем ко мне приклеилась «масть» — «беспредельный». Дело в том, что я не признавал власти блатных в камере, а устанавли-

вал свою, по общему мнению — справедливую. Получивший передачу с воли обязан был половину отдать в общий котел. Она делилась на всех. Благодаря этому выживали те, кто вовсе не получал передач. Упрекнуть меня в корысти или хитрости было невозможно, ибо я первым отдавал половину из своих передач. После трибунала мама меня не оставляла. Жила она в Иванове и, уезжая из Минска, поручала заботу обо мне семье Куделиков, раньше ей вовсе незнакомой. Два раза в месяц они передавали мне сухари, сало, чеснок и махорку.

Между тем второе по счету следствие шло своим чередом. В сентябре сорок девятого оно перестало быть групповым, Денисов и Полосин обрели свободу, меня не обвиняли больше в организации некоего союза. Но мое новое следствие, в нарушение закона, вели старые следователи, для которых расстаться со мной означало шлепнуться мордой в грязь: арестовали невинных, год держали в тюрьме, раззвонили о раскрытии крупной террористической организации... Пускай уж хоть один останется — всё не полный позор. Именно во время этого нового следствия у меня появились дополнительные свидетели. Думаю, капитан Кишкин использовал для этого дела всех полковых стукачей. Как и прежние, эти горе-свидетели подписывали готовые протоколы, но были и энтузиасты. Лейтенант Кукурузин «припомнил» добрый десяток «фактов», которые свидетельствовали о моем небрежном отношении к важным правительственным постановлениям и нежелании играть роль агитатора за советскую власть, а именно это было главным в работе секретаря комсомольской организации дивизиона.

По инерции я вначале еще сопротивлялся, пытаюсь доказывать истину, потом, поняв бесполезность этих попыток, смирился и стал ждать следующего трибунала. Срок я уже знал — больше десятки не дадут, так же как и меньше.

В феврале состоялся новый трибунал. Все в нем было как в первый раз, разве что свидетелей прибавилось, но меня это уже не волновало. Ни одно из прежних обвинений не отпало, за исключением со-

юза СДПШ. Главными были: восхваление произведений писателей Зощенко и Анны Ахматовой — пропаганда их творчества; клевета на советскую технику (свидетель Козырь показал, что я хвалил американский «студебеккер»); клевета на колхозный строй (свидетель Алексей Савченко показал, что я как-то обмолвился по поводу тяжелой жизни колхозников). По протоколу — утверждал я также, что в Советском государстве нет свободы слова, печати, собраний, что страна превращена в один большой концлагерь, где каждый в отдельности и все вместе граждане абсолютно бесправны.

За исключением некоторых, большинство моих свидетелей в душе были со мной согласны — это я читал по их лицам, к тому же многие сами в разное время говорили то, за что сейчас судили меня. В назидание им я гордо признал на суде все предъявленные обвинения. С опущенными головами выходили из зала мои свидетели. Каково им будет теперь смотреть в глаза товарищей? Когда меня сажали в кузов грузовика, из толпы солдат, окружавшей крыльцо политотдела, полетели пачки махорки — драгоценное достоинство в тюрьме. Когда-то Кишкин говорил, что стоит мне появиться в полку, как в меня полетят камни...

В этот раз Минская центральная тюрьма показалась мне родным домом. Не успел я осмотреться в новой камере, как был накормлен и обласкан сокамерниками. Выяснилось, что многие слышали обо мне раньше. Кличка «Гусар» отныне стала моим вторым именем, с ней я пройду этап, пересылки и лагеря.

О каждом ээке тюрьма знает все. От того, как он вел себя в первые недели и месяцы — самые страшные в его жизни, — зависит его дальнейшая лагерная судьба. Худо, если не выдержал натиска следствия, сломался, предал кого-то, согрешил против совести, — не видать ему добра, и за его жизнь никто не даст и щепотки табаку: тюрьма не терпит предательства. Если не в самой тюрьме, то на пересылке наверняка вынесут вперед ногами, или конвой вытащит из теплушки на этапе, бросит в снег куль, кое-как завернутый в мешковину или вовсе без нее. Если же минует каким-то чудом этот грешник и пересылки, и этап,

все равно за ту далекую вину приговорят его в морозном бараке где-нибудь на Тунгуске и повесят над дверью до утра, чтобы после ухода зэков на работу увидел его надзиратель, окоченевшего, синего, со скрюченными руками, и ужаснулся...

Как огня боятся этапов и пересылок люди с черной душой, еще в тюрьме ищут спасения у следователя: соглашаются остаться там в качестве камерного осведомителя — «наседки» по-зэковски. Да только тюрьма не резиновая, всех не пристроишь, и идут на этап, как на казнь, разные маховы, громжинские, чутуновы, опенкины... На пересылках, на этапе, а пуще того в лагерях, заискивают, суеются, ищут покровителей. Иногда это удается, особенно богатым: голод не тетка — и «пахан» хочет есть, но жизнь самого «пахана» не вечна, придет время — и зарежут его либо воры в законе, если он из сук, либо суки, если «пахан» был из воров. Резня в лагере — дело обычное, привычное для урок, пугающее только новичков. Не сразу, правда, а постепенно, но все же создаются в бригадах группы смелых мужиков, крепких духом, — чаще бывших солдат. И становится недоступной для урок какая-то часть бригады — иногда половина, иногда и больше — не ограбишь, не соберешь воровскую лагерную дань. Такие группы наглухо закрыты для бывшего стукача, не говоря уже о настоящем. Руководит группой обычно сам бригадир — в своей бригаде он царь и бог. Назначает его начальство, но с учетом авторитета среди зэков. То, что бригадой руководит блатной, — неправда. Просто, отсидев в лагере лет шесть-семь, человек усваивает поведение блатных — так легче разговаривать с ними, если придется «качать права». Настоящие блатные не работают — таков закон, но в бригаде они числятся и зависят от бригадира, вот и идет о нем слава среди фраеров как о воре, и уважение к нему прибавляется у определенной части лагерного общества.

Организовать свою группу, то есть вырваться из лап урок, непросто. Хотят этого многие, достигают единицы, остальные — дерзнувшие и не достигшие — походят в вечной мерзлоте.

Об одном из героев — иначе его, пожалуй, и не

назовешь — поведал нам вернувшийся из Воркуты на следствие парнишка по имени Костя. Висело на нем обвинение в измене Родине — пятнадцатилетним жителем села Недоля попал он под немецкую оккупацию. Жил как все в их селе: валил лес по приказу немецких властей, пилил бревна на две половины, клал гать. За это получал паек, кормил братишек и сестренку. Немцы пытались проехать в партизанский лес. Костя получил десять лет за то, что он эту гать не разрушал, а строил. Немецкого автоматчика или полиция с винтовкой за его спиной в расчет следователь не принял. Костя попал в шахту Воркуты. Там и встретил мужественных людей.

Бригадира Ильченко поставило на эту должность начальство. К тому времени, как Косте прибыть на шахту, Иван Николаевич Ильченко отсидел около четырех лет. Арестовали его сразу по окончании войны, в Германии. Стукнул кто-то из сослуживцев, что комбат Ильченко имеет связь с врагом. Заместитель его по политчасти сказал, что сам видел, как командир батареи передавал какой-то сверток девочке лет десяти — местной жительнице. Что было в том свертке, сослуживец не знал, но предполагал: что-то важное, поскольку, принимая его, девочка усиленно благодарила и кланялась.

Как и многим другим, следствие не поверило честному капитану, прошедшему войну, а поверило доносу лживого лейтенанта — в недавнем прошлом тыловика. У Ивана Ильченко было доброе сердце. Отдавал он своим солдатам почти весь свой офицерский паек, отдал, надо понимать, и девочке-немке кое-что из съестного, поскольку у самого дома осталась такая же. Верил капитан, что и его Кате кто-нибудь поможет.

Дали Ильченко на всю катушку, поскольку был он военнослужащий и «преступление» совершил, находясь на службе. На Воркуте сначала работал в бригаде забойщиком, потом начальство приметило честного работягу, толкового и незлобивого, и поставило его бригадиром.

Двадцать гавриков под началом у Ивана Ильченко, один к одному — вояки бывшие, от работы не бегают, обессилеть еще не успели на лагерных харчах, —

с торопливостью отправляла их рубать уголек ненасытная советская власть.

И все бы ничего, жить можно, да урки одолевают: что ни день — присылают «шестерок» то за табаком, то за деньгами, то за хлебом. В день выдачи посылок являются в полном составе — весь блатной барак. Грабят среди бела дня, берут что повкуснее и подороже: сало, чеснок, лук, масло топленое, отбирают свитера, рукавички вязаные. Не довольствуясь посылками, периодически раздевают работяг: ботинки поновей, телогрейки — все к ним переходит. Деньги на шахте, хоть и малые, но платили. На мыло да на табак хватало. Но и этих денег бригада не видела: в день получки прибегали «шестерки», забирали кучку со стола — для них приготовленную — и убежали. Постепенно роптать стала бригада. Ильченку укоряли в трусости, а кое-кто и в хитрости: дескать, а не делятся ли с ним блатные своей добычей?

Ильченко переживал вдвойне — и от грабежа неусветного, и от подозрений таких несправедливых. Довольно того, что власть советская, которую грудью отстоял, с ним так подло поступила, не хватало еще, чтобы товарищи подлецом прозвали!

И настал день, когда Ильченко решился. От кассы, где бригаиры получают деньги на всю бригаду, блатных надзиратели гоняют, по дороге к бараку тоже не схватишь — бригаиры идут кучкой, зато в бараке блатные хозяева. Еще бригаир не пришел, а «шестерки» уже здесь.

«Лом сказал, чтоб с твоей — две тыщи!»

«Почему это две? — поднял тяжелые веки Ильченко. — Всегда тыщу брали».

«Бригада большая, — говорит «шестерка», шмыгая носом и пританцовывая. — Лом сказал, если ты будешь рогами упираться, возьмем еще пару косых».

Второй такой «танцор» — снаружи, на стреме.

Обвел Ильченко взглядом своих: смотрят на него, не шевелятся.

«Передай Лому: больше никому ни копейки!»

Сказал, как выдохнул. Вроде в груди и воздуха не осталось.

«Ты чо? Ты чо? — засуетился «шестерка». Присел

даже, чтобы заглянуть в глаза бригадир. — Чокнулся, что ли?»

«Да пошел ты...» — и не замахнулся даже, а пацана как ветром сдуло. Ну, теперь держись, бригадир! Теперь — все на тебе. За «шестеркой» придут воры постарше, из тех, что нож в руке держать умеют.

Как он и предполагал, явились Руль и Глухарь — ближайшие помощники «пахана», его правая и левая рука. У каждого на совести не одно убийство, не считая прочего, мелкого. Оба — «в законе», оба с малолетства по лагерям кочуют и себе цену знают.

«Ты чо, бригадир, хвост поднимаешь? — Руль прямо от порога — руки за пояс, где нож. — Жить надоело?»

Глухарь из-за голенища свой вытаскивает — длинный, узкий, из большого напильника выточенный.

Ильченко — ноль внимания, только видно: напрягся весь, как медведь для прыжка.

«Дашь или нет?» — истерично кричит Руль.

«Не дам!»

Дальше, по словам Костика, произошло самое страшное. Руль мгновенно выхватил сразу два ножа, но почему-то ударил не Ивана, а всадил их в стол, прямо перед его лицом. Ильченко вскочил и вырвал ножи и встал с ними над уркой — был он роста высокого, не в пример обоим блатным. Руль метнулся к двери, едва не сшиб Глухаря, и оба не выбежали, а выпрыгнули из барака на снег.

«Ну, братцы, — сказал своей бригаде Ильченко, — теперь либо мы их, либо они нас. Разобрать нары!»

— Сидеть и ждать мы не стали, — рассказывал дальше Костик, — такое уж бывало: тоже какая-то бригада отказалась платить, а потом сидели и ждали, дескать, если сунутся, мы их... А они взяли и подожгли барак со всех сторон! Сами против каждого окна с ножами и поленьями стояли и ждали, когда чья-нибудь голова покажется... Кому охота в огне погибать? Работяги стали через окна выпрыгивать, тут им и конец пришел.

Ильченко знал про этот случай, велел всем на блатных идти, и не скопом, а цепочкой. Если скопом —

каждый норовит за чужую спину скорониться, а тут — лицом к лицу...

В общем, битва была настоящая. Надзор долго не вмешивался — самым дороже, а может, начальство приказало: блатные у начальника ОЛПа что жернов на шее — план с ОЛПа спрашивают, а четвертая часть не работает. Перво-наперво ворвались мы в барак. Блатные только с виду страшные, на деле трусливы. Были среди них бойцы, да Ильченко их сразу нейтрализовал: послал на них самых сильных бригадников, человек десять, они их и утихомирили. А с остальными мы справились. Выгнали всю эту поблу из барака и в запретку погнали. А там на вышках пулеметы: шелохнись только — тут же очередью прошьют. И стали с той минуты наши воры в законе — суками, то есть «отошедшими», а таким жить вместе с ворами в законе в одном лагере не светит. Увезли их на другой ОЛП, а там и месяца не прожил Лом — прирезали его блатные.

— А что твой Ильченко? — спросили мы. — Остался бригадирить?

— Поммастера его сделали, — с гордостью ответил Костик, — еще при мне. И сто́ит. Авторитет у него поболее, чем у нарядчика. Начальство это понимает. Только срок скостить ему не может. Не та статья.

Сам Костик очень надеялся на пересмотр своего дела. По его словам, оно вообще выеденного яйца не стоит. И свидетели — за него.

С трепетом ждал он каждого грохота ключей и открывания двери.

— Мне сам Иван Николаич сказал: «Будешь ты, Константин, на воле, тогда вспомни нас, грешных». Значит, буду...

Пройдет немногим более трех лет — и я напишу в лагере на Тунгуске рассказ, который назову «Глазок».

Каждое человеческое сообщество возникает вследствие обычаев предков, которые иногда называют законами.

Тюрьма тоже сообщество. Кроме созданных режимом правил, в ней есть свои, придуманные ее несчаст-

ными обитателями. Один из них — обязательный рассказ каждого о своей жизни. Кто и когда придумал такое, сказать трудно, но мудрость этого «закона» познаешь особенно ясно в камере приговоренных, когда позади остались допросы, «пятый угол»¹, карцеры, ночи в ожидании трибунала и, наконец, сам трибунал. Уже накарябана на четвертушке бумаги карандашом просьба о помиловании — и маячит впереди или этап в Сибирь или пуля в затылок. Конечно, теперь не расстреливают. Но ведь сегодня — нет, а завтра? Было уже такое.

Думать о своем ближайшем будущем страшнее, чем смотреть в сторону немецкого орудия. Его не видно — сокрыто ночной темнотой, — но ты знаешь, что оно есть — стоит на том берегу, и твой берег вместе с пулеметной ячейкой давно им пристрелян, и оно ждет рассвета, чтобы всадить тяжелый снаряд в твой полуразвалившийся окопчик.

В такие минуты очень хочется, чтобы рядом были люди. Много людей. Чтобы шумели, спорили, смеялись... Чтобы не давали смотреть на проклятый «глазок» в двери! Сила в нем страшная — в таком махоньком, в старинный пятак, со вставленным мутным стеклышком.

Говорят, удав свою жертву сначала притягивает взглядом, а уж потом набрасывается. Наверное, это оттого, что жертва остается с ним один на один. Будь рядом с тем сусликом его товарищ или несколько — хрен бы удаву его заглотать! Отвлекли бы они его от смертельного взгляда.

В камере приговоренных все — суслики: головы круглые, наголо бритые, глаза выпучены. Иному хоть миску баланды под нос сунь, хоть чинарик в рот — не заметит. Этак и умом тронуться можно. Вот тут-то и приходит на помощь тюремный «закон», который один очкарик, не разобравшись, назвал «дикой нелепостью». Вспомнят о нем суслики, встрепаются.

— Чья очередь травить, мужики? Твоя, Серый? Или твоя, Лопух?

¹ Побой на допросах.

— Гаврилы Ладова, — скажет с хитрой улыбкой Рассудительный.

И все поймут, почему он так сказал.

— Давай, смоленский, трави за жизнь.

Оторвется Гавря от «глазка», глянет на всех, шевельнет белыми губами.

— Об чем травить-то? Я ж ничего не знаю.

— А наш закон знаешь?

Это опять Рассудительный. Положит свою ладонь на Гаврину стриженую голову и скажет:

— Ничего, брат, не поделаешь: такая традиция.

Остальные рассядутся на нарах, засмолят сигарки и будут сидеть, поджав ноги, — чистые киргизцы!

А Гавря всё от «глазка» оторваться не может: вот-вот отворится железная дверь — и надзиратель крикнет: «Ладов Гавриил, с вещами!» И вскочит суслик Гавря, пришибленно оглянется на товарищей — на Приблатненного, на Рассудительного, на Шпиёна, на остальных — и будет стыть в его глотке смертный страх и крик вроде того, что слышали прошлой ночью в коридоре: «Прощайте, братцы!» Но не спрячешься за чужие спины, как в атаке на немецкие траншеи, не залезешь под нары, потому как нет этих спин и нар, а есть открытое хайло двери, в котором кроме надзирателя — еще двое. И пойдет он — руки за спину, и, сколько будет идти, столько чувствовать затылком нацеленный в него ствол...

Как тогда, на передовой.

Но пока нет ничего такого — ни лязганья двери, ни шагов за ней, только «глазок» поблескивает тускло.

— Ну, что ж ты, брат? Долго нам еще ждать?

Опять Рассудительный. Вообще-то он Логинов. Полковник Логинов — бывший командир гаубичного дивизиона.

— Товарищи ждут. Вспомни мужика-западника! Тоже сперва молчал.

Действительно, еще за день до того, как Гавре сюда прийти, втокнули в камеру мужичонку в лаптях, портках домотканых. Прямо с пашни взяли, и конь в борозде остался. Недели под следствием не сидел — все ясно было начальству. Сперва он и в камере осужденных все падал. Упадет на пол и лежит, не шеве-

лится. Станут подымать — лепечет несуразное, деток своих по именам перечисляет: Микола, Михей, Савва, Иван, Степанко, Юстина, Ульяна... Наизусть выучили, подымать перестали — лежи, коли охота, а пришел черед — потребовали: рассказывай, такой-сякой! Мужик сперва оторопел: неграмотный же! А потом сам начал, да так складно! Про то, как сватался да женился, да как детки нарождались... Лицом будто просветлел, заулыбался щербато — зуб ему следовательно вышиб на допросе, — а как на этап дернули, пошел легко, даже рукой помахал, дескать, держитесь, хлопцы!

— Ну, вспомнил?

— Да вспомнил...

Только о чем рассказывать-то? Ничего интересного у Гаври в жизни не было. Вон Рассудительный американцев на Эльбе видел. Одному полковнику руку пожал. За то и посадили: знай, кому пожимаешь... Вот он бы порассказал. А Гавря что? До семнадцати лет жил в детдоме. Говорили, будто нашли его на вокзале под скамейкой. Лежал в тряпки завернутый и у бродячей сучки сиську сосал. Заметили, когда из тряпья вывалился. Хотели поднять — сучка не дает. На людей кидается, рычит. Насилу отогнали. А кругом одни пассажиры, все на поезд торопятся, да и дома свои такие...

Дежурная по вокзалу подошла, поглядела.

— В детдом бы надо. Есть тут недалеко, за углом... Давайте уж, отнесу.

Там не принимают: грудник, кормить некому.

А сучка крутится возле, скулит. Дежурная на нее посмотрела, говорит:

— Да вот она и выкормит, только возьмите. Не все ли равно...

Поселили найденыша вместе с сучкой-кормилицей в сторожке дворника Ефима. В палаты не брали — боялись начальства. Но сучку кормили хорошо, чтобы побольше молока давала. Весь детдом бегал смотреть на такое чудо. Мальчонку называли Гавриилом, отчество дали Ефимово, а фамилию — по имени кормилицы: Ладов — сучку Ладой звали. Таскали ей кто что мог. Даже огурцы ела. Потом издохла. От ста-

рости, наверное. А в сорок первом война началась. Всех, кому семнадцать исполнилось, в армию забрали. В военкомате удивились: все тощенькие, а один крепкий, упитанный. Большое дело — материнское молоко, главное, чтоб получал его младенец в начале жизни своей как можно дольше.

— Мы, — говорят, — тебя в истребительный полк запишем. Будешь немецкие танки уничтожать.

Стал Гавря бронебойщиком. Как контузило, не помнит. Вроде кто обухом по затылку ударил. Очнулся в немецком плену. Кругом колючая проволока, за ней знакомые места: шоссе на Рославль, овраг, где в войну играли, за ним детский дом. Оттуда воспитательницы в лагерь картошку приносили. Охрана разрешала.

Осенью Гаврю в Германию отправили. На заводе работал и в шахте, в Руре. Уголь добывал. Когда американцы освободили, домой в Смоленск запросился. Отговаривали мужики — не послушал. В Бресте прямо с поезда попал в тюрьму. Там узнал, кто он есть на самом деле: изменщик родины и американский шпиён. После увидел: таких в тюрьге — пруд пруди. Вот — осудили... О чем тут рассказывать? Не о Ладе же кормилице! Засмеют. В детдоме так «сучонком» и звали.

Сунулся опять к «глазку», а товарищи оттаскивают.

— Нельзя, парень, крыша поедет.

— Да ты про любовь расскажи, — говорит Рассудительный, — любил же ты кого-то?

Покопался Гавря в памяти, пошевелил мозгами.

— Повариху Егоровну любил, она мне всегда добавки давала, еще — дядьку Ефима, дворника...

Грохнули хохотом, повалились на нары. А чего смешного? Что в детдоме, что в истребительном полку, если в котелок чуток погуще попадет, человек и живет, и воует веселее.

— И за что же тебя, сердешный, такого смешного, к таким-то годам приговорили?

Это Завьялов. Не то взаправду поп, не то просто добрый человек, жалостливый. Его самого за то, что бендеровца накормил, к двадцати пяти годам приговорили, а он других жалеет.

— Теперь таких дураков не расстреливают, — говорит кто-то.

Все это знают, да ведь сегодня у них нет расстрела, а завтра, глядишь, новый Указ издадут.

И Гавря решил.

— Я вам про Машу-давалку расскажу.

— Про какую-такую давалку?

— Да была у нас в полку... Санитаркой служила, раненых с поля боя выносила. Ей за это медаль «За отвагу» дали и обещали орден, да токо я уж не застал — контузило.

— Ну и что? Эка невидаль медаль. Да здесь у каждого медалей да орденов — полные «иконостасы». А санитарочек мы видывали...

— Она не такая, как другие. Те все больше к командирам липли: сытнее, чем у солдатского котла, да и защита... Бабам на передовой несладко. До ветру сбегать и то надумаешься. Мужик — он что кобель: пристаёт! Вот девки там к командирам и ладятся. И зазря их тыловые крысы «пе-пе-же» обзывали, срамили. От такой жизни к любому хмырю сунешься, лишь бы со звездочкой.

Маша на ихние звездочки не смотрела. Она нас, солдат, жалела. Особливо тех, кто в первый свой бой идет. Сидит такой скукоженный, серый весь и трясется. Его и водка не берет. Командир отделения материт, взводный наганом грозит — нипочем, а Маша подойдет к такому, обнимет за плечи и скажет: «Что ж ты, родненький, один-то сидишь? Нехорошо это. Э, да ты молодой еще, небось и не целовал никого? Пойдем со мной, я тебя приласкаю...» — и уводит в кусты. Вертается отсюда совсем другой человек. Вроде у него и страха перед немцем нет. Как в наступление полк подымут, Маша ему кричит: «Ничего не бойся, Ванечка! Живой приходи, а коли ранят, меня кличь, я приду!»

Вот такая она была, наша Маша. Комсорг Устименко все к ней придирался: «Опять ты, Веселова, несмотря на мои предупреждения, молодых бойцов развращаешь? Придется об тебе обратно командиру полка докладывать».

— Доложил? — спросили и замерли. Ждут.

— Доложил, — ответил Гавря, — не раз докладал.

— Ну, что он?

Усмехнулся Гавря. Первый раз, наверное.

— Да послал его наш полковник!..

Выдохнули разом, зашевелились, загудели.

— Правильный был у Гаври полковник, справедливый.

— Смелый, однако...

— Да был ли такой? Может, ты, Гавря, и про Машу-санитарочку наврал? Была у вас в полку такая?

— Ей-богу, не вру! — Гавря даже перекрестился. — Хоть кого спросите...

И тогда сказали разом все, кто толпился вокруг:

— Святая женщина! Жалко, если погибла.

И чувствует Гавря: ему вроде уж и «глазок» не страшен! Как тем новобранцам, которых осенью сорок первого под Вязьмой женщина приласкала. А когда отворилась наконец железная дверь, пошел Гавря смело — руки назад, — только узелок с сухарями оставил: пусть едят...

Когда за ним дверь надзиратели затворяли, крикнул вслед полковник Логинов:

— Ничего не бойся, рядовой Ладов! Помни о святой женщине Марии!

Такие они, тюремные «законы». Хоть плачь, а рассказывай.

Но ведь и то правда, что нет на свете более благодарного слушателя, чем зеки. Хотя иногда — и более жестокого. Ночь напролет травы — слушать будут, а если клевать носом начнешь, подымут с нар и заставят стоя рассказывать.

Есть записные рассказчики. Это из тех, кто много читал на воле и память хорошая. Им не позавидуешь. Правда, рассказчику умереть не дадут, его подкармливают. Если камера посерьезней, поинтеллигентней, то и передохнуть дадут. Такое насилие, впрочем, только в отношении молодых. У них-де и память лучше, и сил больше — пускай тепшит других.

Тепшил и я. После одиннадцати месяцев одиночки такая практика шла мне на пользу. Придуманые ранее фантастические сюжеты изменялись в сторону реальности, детали отшлифовывались, отдельные фразы

заменялись другими, более удачными, язык делался выразительнее, слова точнее — слушатели не выносили длиннот и рассусоливаний. Сам того не сознавая, я постепенно становился писателем. Однако главным в этом становлении было все то же: мой бедный мозг, как сухая губка, продолжал впитывать информацию извне — процесс, начавшийся в камере № 27. Редкий зэк не расскажет о себе всё, расскажет честно, горячо, истово крестясь на оконную решетку в тех местах, которые вызывают у слушателей недоверие. За годы, проведенные в лагерях, я встретил представителей разных сословий, профессий и национальностей. Бывший партработник хлебал баланду из одного котелка с влосовцем; бывший чекист с благодарностью принимал замусоленный чинарик от урки; советский разведчик, лежа на нарах, мирно беседовал по-немецки с немецким разведчиком. Учителя, врачи, крестьяне, профессора, полицаи и генералы, старосты и следователи — все смешалось, перепуталось, сплелось в единый клубок в этом Ноевом ковчеге по имени ГУЛАГ.

— Сами мы никого не арестовывали, для этого имелись другие. Мы только принимали...

Мой собеседник на этот раз — бывший надзиратель с Лубянки Федор Ёлкин. По его словам, с 1932 по 1938 год он пропустил через свои руки «многие тысячи».

— Здесь, пожалуй, все бы не уместилось.

Глядя в потолок, он поворачивает бритую голову, словно прислушиваясь к глухому шуму в соседних камерах.

— Я никого не обижал. Чего не было — того не было, это как на духу. Не веришь?

Он старается в полутьме рассмотреть выражение моих глаз.

— Ну, как хошь, — говорит он через минуту и продолжает: — Разные там были. Больше — военные. Комиссары. Командиры тоже — комкоры, коммандармы. Меньше комбрига не помню. Которые меньше — тех в Бутырку али в Лефортово. В Лефортове я тоже служил.

Мы лежим рядом, голова к голове. За оконной решеткой моросит ноябрьский дождь. Тусклый свет фонаря под жестяным абажуром мечется под выпшкой со стрелком, бьется о стену, и клетчатая тень раскачивается на потолке камеры. Это пересыльная тюрьма. Днем часть зеков работает — строит новый корпус, что-то цементирует; другая стирает белье, варит лак, который сама и пьет, спрятавшись под нары от глаз надзирателей. На ночь всех запирают в камеры.

Ежедневно приходят этапы из тюрем, здесь собираются в один большой и уходят в Сибирь, на Воркуту, в Магадан, в Среднюю Азию. Огромные камеры, величиной со спортивный зал, всегда переполнены.

Мы с Федором тоже ждем своего часа. Иногда нам кажется, что о нас забыли.

— Духотища какая! — говорит Федор и снимает с себя лагерную телогрейку. Подняв похожий на жесткую щетку подбородок, он жадно ловит ртом слабую струю свежего воздуха. В окне нет стекла. Его выбили не из озорства, а оттого, что нечем было дышать: в помещении, рассчитанном на тридцать человек, сейчас больше ста. Все, кроме нас двоих, спят. Душно, жарко, нестерпимо воняет потом и парашей. Она давно переполнилась, и теперь содержимое растекается по полу.

Мой собеседник хочет справить малую нужду, но ступать в зловонную жижу не желает и мочится прямо с нар.

— У нас на Лубянке такого не допускали, — говорит он, воротясь, — культура была!

Он произносит «у нас на Лубянке» как будто говорит о каком-то санатории.

Пока он сползал на край нар, а потом лез обратно, чье-то грузное тело заняло его место. Вдвоем мы кантуем спящего зека, как бревно, иначе с ним не справиться, и Федор ложится.

Наши места в этой камере особенные. Через окно струится воздух, пропитанный дождем и дымом. Мы — дышим...

Напротив — кухня, там уже растапливают плиты.

— Часов пять, наверное, — говорю я.

— Половина четвертого, — поправляет Федор, — у них там три котла, если даже начать с полпятаго, все равно не успеть. Как-никак три тысячи.

Спрашивать, почему нас тут три, а не две или четыре, нет нужды — Федор знает все. Он «повторник». Служил когда-то в личной охране Дзержинского, потом был разжалован в надзиратели. Приписали, ни много ни мало, связь с Троцким. Шел как-то по коридору Смольного Лев Давыдович, а Федор стоял на посту у кабинета Ленина, вот Троцкий его и спрашивает: «Скажи-ка, бгатец, Вгадимиr ИлЬич у себя?» Не расстреляли потому, что, кроме этих слов, он от Троцкого больше ничего не слышал.

— Таких, как я, у нас на Колыме до хрена было, — говорит он. И я снова чувствую знакомую нотку гордости: все-таки Колыма — не какой-нибудь Унжлаг. — Всю кремлевскую охрану дядя Ус извел. Думаешь почему? А потому, что много знали!

— О чем знали? — подхватываю я, придавая своему голосу некоторую пренебрежительность: мол, не больно-то и интересно...

— Обо всем. — Бывший стражник поворачивается на другой бок, доски под ним скрипят. — Об том народу знать не положено.

Опять! Неужто даже Колыма не в силах выбить из этих людей ощущение избранности, гордой сопричастности к таинствам великих мира сего?

— Питание нам полагалось особое, потому как работа секретная.

Это слово я слышу не в первый раз. Этим словом советская власть в свое время приворожила паренька из костромской деревни Потылицыно. Сытный паек на фоне всеобщего российского недоедания подтверждал важность доверенного ему поста.

— Машинистки, шоферня и прочие у нас воблу на махорку меняли. Нам-то хватало, а у них дети.

— А ты не женат был?

Он хмыкает в пышные, как у Сталина, усы.

— Не. Молодой ишшо. Да и не хотел жениться на деревенской — городскую приглядел, интеллигентную. Наши-то сперва все на интеллигенточках женились, куда приказ от начальства не вышел...

— Неужели приказ?

— Ну, приказ не приказ, а так... Собрание в Кремлевском полку провели. Разъяснили, дескать, не гоже вам, защитникам революционного правительства, связывать семейную жизнь с классово чуждыми элементами. Есть, мол, такие сведения, что эти дамочки-мадамочки только и ждут, как бы всадить вам нож в спину.

— Тебе, Федя?!

— Дурак ты, — говорит он беззлобно, — рази дело во мне. Короче, кончили мы с этим. Стали своих в столицу привозить, деревенских, они надежнее.

— Ну, а если у интеллигентной женщины любовь к тебе была?

— Любовь тоже можно к стенке... Да и не за любовь они к нам липли. Мне на том собрании глаза раскрыли. Из-за пайка! Голодно было в Москве, а они непривычные. Известно, буржуйки.

Он задремал. За окном всё не кончалась осенняя ночь. Фонарь на стене раскачивался, только теперь на него сверху, с невидимого неба, опускались белые хлопья. Зима посылала нам свой суровый привет.

Я вспомнил, как в войну, в такую же, как эта, темную ночь, сидели мы с бабушкой возле «буржуйки» и ждали маму. «Буржуйка» была крохотной — на большую, которые делали в мастерской на улице Карла Маркса, у нас не хватило необходимых двух килограммов хлеба. Нормальную печку топили дровами, нашу — мусором и щепками. Наверное, поэтому мы мерзли.

Поздно ночью или даже к утру приходила мать. Она появлялась неслышно, и я, задремав, не всегда ее встречал.

— Опять ничего не ела? — спрашивала она строго. — Ты пойми: мне с парнем возиться некогда, у меня таких, как он, полторы тысячи, а завтра, может, еще столько же привезут.

Она работала инспектором района, и, как только в наш город стали прибывать эвакуированные детские дома из Ленинграда, на нее возложили их размещение по деревням, обеспечение питанием, школами. Хуже всего дело обстояло с транспортом. Здоровых

лошадей забрала армия, машин в селах не было и до войны, и детей от станции до села везли на тракторных прицепах или вели пешком. Истощенные голодом ребятишки, протопав честно километра два, садились на землю, и тогда мать и наиболее сильные воспитательницы несли их на руках. Бывало, мать не возвращалась дня три-четыре, и тогда бабушка шла на проходную льнозавода и, попросив разрешения у дежурной, набирала какой-то номер, вкрадчиво говорила в трубку:

— Извините, пожалуйста, Иван Гаврилович, это вас Слонова беспокоит. Ваша подчиненная Анна Петровна до сих пор не вернулась из командировки. Не случилось ли чего с ней? — Выслушав короткий ответ, вторично извинялась и бережно вешала трубку. — Слава богу, жива она. В Неверове ночует, в детдоме. Управится с делами и вернется.

Моя мать была яркой комсомолкой двадцатых годов, фанатично преданной идеям коммунизма, готовой в любую минуту отдать жизнь за мировую революцию. Начавшаяся Отечественная война с ее проблемами отдалила поднебесные цели, заменив их земными, но не смогла до конца развеять революционную романтику; всё, что она делала, — делала ради великого будущего и призывала к этому меня.

— Которые в советскую власть сильно верили, переживали, — словно подслушав мои мысли, говорит проснувшийся Ёлкин. Он чему-то улыбается. — Один профессор, помню, все доказывал, что его арестовали случайно и вот-вот выпустят! Чудак! С Лубянки никто на волю не уходил. А другой, такой же чокнутый, уговаривал передать письмо товарищу Сталину. Он-де его лично знает.

— И ты передал?

— Не положено. Да и ни к чему, — он снова улыбается.

Мне неприятна его улыбка, но обнаружить это нельзя — обидится и замкнется. Такое уже было не раз, правда, с другими.

— Интеллигенты всегда так — мельтешатся. Военные — те по-другому. Хотя тоже не все. Напарник мне рассказывал: привел одного такого на допрос, он,

как кровь на полу увидел, так в беспамятство и плелся. А в большом чине был. Тоже, видать, из интеллигентных. Да их у нас и за людей-то не считали. Одно слово — белая кость, а она, белая-то, хлипкая. Не в пример которые из крестьян. Командарма Блюхера хорошо помню. Лично на допросы водил. Этот в беспамятство не впадал. А уж допрашивали... По первой категории!

— Били?

— Били — не то слово. — Ёлкин больше не улыбается, взгляд его суров, брови нахмурены. — Тебе и в страшном сне не приснится, что с ним делали, а вот, поди ж ты, выдержал...

— Освободили?! — ахнул я.

Ёлкин досадливо повел плечом.

— Про то разговору нет. Не подписал он. Понял? Все подписывали, а он не подписал.

Вот в чем дело! Значит, практика готовых протоколов придумана не Кишкиным. Между прочим, я артачился, не подписывал готовых протоколов вовсе не из страха, а из озорства, ибо к тому времени знал точно: даже настоящих шпионов не расстреливают, а обменивают на своих, липовым же дают срок и отправляют в лагерь. Эти сведения мне отстукал сосед по одиночке. Он же предсказал: дадут десятку и отправят в ИТЛ — мы нужны советской власти живыми.

— Токо проку от евонной стойкости никакой, — говорит Федор.

— Расстреляли?

Ёлкин кивнул.

— И ведь что обидно: чуть было не освободили.

— Ты же говорил...

— Говорил. А его вот едва не освободили, потому как начисто невиновен и не подписал. Так и следователь сказал. Сообщил, значит, по инстанции.

— Послушай, Федор, но ведь были какие-то свидетели, факты...

— Свидетели, конечно, были — у кого их нет. На кого хошь чего хошь покажут. А фактов не было. Да и не искали тогда факты. Это теперь ищут, а тогда сам на себя наговорил и — порядок: тащут в трибунал. А как не наговоришь, ежели тебе гвозди под

ногти забивают али суставы выворачивают? Факты... Кто там чего искал! Не до того. Торопились очень... А ты не перебивай!

— Не буду. Дальше-то что?

— Дальше начали передавать по инстанции. Дошло до Сталина. Все в точности доложили. Сталин сосал свою трубочку и говорит: «Если всё так, как вы говорите, то маршала Блюхера надо выпускать. Стойкий оказался коммунист, нам такие нужны». Ну, конечно, тут же нарочный в тюрьму — генерал, я думаю. Предъявил начальнику тюрьмы бумаги — все по форме. Привели Блюхера. Только генерал хотел объявить ему великую радость, глядь, а у командарма глаз вытек!

— Как вытек?

— Обнаковенно. И не завязан ничем. Знать, прямо с допроса. Генерал оказался тертый: бумагу ту — в карман, с командармом потолковал о том о сем, велел надеяться, соврал, что дело его пересматривать будут, и скорехонько уехал. Прямо к Сталину. Тот выслушал, опять свою трубочку раскурил и говорит: «Да, нельзя выпускать». Только эти три слова и сказал, а жизнь маршала в тот же день оборвалась.

Я был потрясен. О Василии Константиновиче Блюхере в нашей семье говорили как о хорошем знакомом — с ним служил брат моей матери. Однажды и мне довелось его видеть и даже сидеть за одним столом у нас на даче. Было это во время маневров Московского военного округа в городе Вязники, где мы тогда жили.

Получив известие о его аресте, наша семья раскололась на два враждебных лагеря. Отец разразился бранью и сел писать гневное письмо в ЦК. Оно еще не было дописано, когда почта принесла газеты, в которых сообщалось, что органами НКВД обезврежена большая группа военных, долгое время занимавшаяся шпионажем в пользу одной иностранной державы. Среди казненных были Василий Константинович и его заместитель. Отец отшвырнул газету, порвал свое письмо и с ненавистью произнес:

— Мерзавцы! Кого они хотят одурачить? Липовые

«враги народа» нужны им самим, чтобы оправдать свое существование!

Неожиданно взбунтовалась мать.

— Ты сначала почитай, что эти подонки говорят сами о себе. Скажешь, и это инспирировано органами НКВД?

Они крупно поспорили, дверь в кабинет закрыли, я ушел к себе. О Василии Константиновиче у нас в семье больше не говорили. И вот через десять лет я узнал, что мой отец оказался прав. Жаль, что он не дожил до этого дня.

Еще об одной правде я узнал в Оршанской пересылке. Ко мне подошел человек в кожанке и шапке-ушанке. Уточнив мою фамилию, сказал:

— Ты земляков из Минска искал. Вот они, твои земляки.

Подошли еще двое.

— Здравствуйте, — поздоровался первый, — вы про парк Челюскинцев пытали¹, что за городом? Так я про то ведаю. И ён ведает, — он указал на своего товарища, — его вёска² як раз за тым лисом. Да ты, Петро, сам повидай чоловику!

Мешковатый, нескладный Петро, бородой обросший до самых глаз, не спеша забрался на нары, удобно устроился, закурил из моего кисета и начал. Жил он за лесом, который еще до войны стал называться парком Челюскинцев. От его деревни к Минску вели две дороги. Одна в объезд леса, через станцию Степанка, другая через лес, напрямик, мимо Ботанического сада, — короткая. Однако ездить по ней не разрешали. Говорили, будто в лесу — стрельбы. Милиционеры тренируются из винтовок. Там и вправду каждый день стреляли. Но ехать в обход, через Степанку, значило потерять время, вот мужики и наладились ездить на базар напрямик — благо стрельба начиналась не с рассветом, а позже.

Сосед Петра, Рыгор Будка, возил на базар дёжки³ — бондарил он. Нагрузит иной раз целую гору на свою

¹ Спрашивали.

² Деревня (белор.)

³ Кадка для теста, а также для засолки огурцов.

лошадь — куда уж тут в объезд? Ну, и ездил мимо Ботанического сада и парка.

И доездили. Выехал как-то с небольшим опозданием, — чересседельник куда-то запропастился, насилиу нашел, — конягу поторапливал. Когда доску, где написано, что ездить нельзя, проехал, услышал стрельбу. Поворачивать не стал, наоборот, припустил. Проехал и вторую доску, и совсем немного оставалось ему до Московского тракта, когда из леса, наперерез ему, выбежал голый человек. Да не просто голый, а в крови весь, израненный. А за ним два милиционера с наганами.

У Рыгора кобыла сама остановилась, он сидит в телеге ни жив ни мертв. На его глазах милиционеры того человека насмерть застрелили — сажени две не добежал он до ограды Ботанического сада — и подошли к Рыгору. «Кто такой? Куда едешь?» У Рыгора от страха язык отнялся. Рот раскрывает, пальцами шевелит, а сказать не может. «Да он немой», — говорит один и знаками показывает, чтобы с телеги уматывал. Выкатился Рыгор на траву, лежит. Голову сзади руками закрывает. Слышит, милиционеры погнались на лошадь. Глянул из-под локтя и увидел, как они того убитого на телегу взвалили и погнались в лес.

Хотел Рыгор убежать — ноги не слушаются, хотел закричать «ратуйте!»¹ — голоса нет. А и хорошо, что не крикнул. Воротились милиционеры из леса с лошадью. Один говорит: «А с этим что будем делать?» — «Чего с немым делать, — отвечает второй, — пусть живет». Махнули рукой, дескать, вали отсюда.

Три месяца прохворал Рыгор. Думали, богу душу отдаст, однако пронесло. Рассказал о том, что видел, только при немцах, да и то родным. После, когда Советы обратно пришли, пуще прежнего боялся, что жена и пасынок проговорятся... Так и дрожал до самой кончины. Перед тем, как принять святое причастие, рассказал все односельчанам да с тем и умер.

¹ Помогите!

На той же пересылке встретил я еще одного человека — видно, разговоры о том, что какой-то чудак предвоенным прошлым Минска интересуется, между зэками ходили.

Собирали очередной этап. «Дальний» — говорили бывалые люди: конвой в белых овчинных полушубках, валенках. Из всех камер собирали и утискивали в одну, большую. Потом и этой не хватило — стали загонять еще в две. Народ кинулся искать земляков, подельников, знакомых. Кто обнимался, плакал, а кто и за грудки хватался. Тут меня и разыскал бывший учитель Антон Миронович Савицкий.

— Вы, что ли, насчет парка Челюскинцев интересуетесь? А на какой предмет, будь ласка?

Узнав, что — «просто так», успокоился.

Жил он с супругой возле самого Ботанического сада, что вплотную примыкал к парку Челюскинцев, только окна его домика выходили на Московское шоссе. Летом 1936 года в парк — он тогда еще назывался лесом — начали водить арестантов. Сперва небольшими кучками, потом целыми колоннами — по двадцать-тридцать человек. Конвоировали милиционеры и энкаведэшники — их узнавали по фуражкам и хромовым сапогам. Загородный лес был объявлен запретной зоной, деревянные щиты со строгими предупреждениями стояли на всех тропинках. До 1937 года арестантов водили только ночами, затем стали водить и днем.

— Мой дом стоял крайним на Московском шоссе, дальше, метров через сто, кончалась изгородь Ботанического сада и начинался лес. Конечно, мы догадывались, что там происходит: ведь арестованные шли только туда и назад не возвращались. Ни в моем доме, ни в соседних ночами не спали.

Однажды вечером прогнали очередную партию арестантов. В хвосте колонны шел наш священник отец Алексей. Церковь закрыли задолго до этого, и Алексей Иванович работал у нас в школе истопником. В тот вечер он был одет в поношенное драповое пальто, боты, и на голове была надета фетровая шляпа.

Обычно мы с женой наблюдали за арестованными через окно. На этот раз я находился во дворе — при-

кладывал дрова — и не мог ошибиться. Отец Алексей шел, спотыкаясь, и повторял одно и то же: «Простите, православные! Простите, православные!» При этом кланялся на обе стороны — вот почему я его хорошо разглядел.

Должен вам сказать, что улица была пуста — она всегда пустела, когда гнали арестантов.

В доме я застал жену плачущей — она тоже все видела, хоть и не слышала. В ту ночь мы легли не раздеваясь — очень уж было тревожно. И вот далеко за полночь я услышал за дверью какое-то царапанье, а потом как бы слабый стон. Ужас сковал мои члены. Вы знаете, человек я мирный, за всю жизнь мухи не обидел, а тут такие страсти... Жена вцепилась в меня. Так и просидели мы с ней до утра. А наутро я отворил дверь на улицу и увидел отца Алексея лежащим на моем крыльце. Он был совершенно гол и окровавлен. Кровь была и на досках крыльца. Ночью прошел снег и накрыл тело священника белым саваном.

Не успел я сообразить, что делать, как подъехал грузовик. Трое милиционеров стали грузить тело в кузов, а четвертый подошел ко мне и спросил фамилию, имя, отчество и профессию. Потом сказал: «Вот что, учитель: если вякнешь, под землей найдем!» И уехал. Я и не «вякал», а грех на мне как камень: ведь отец Алексей, раненный, замерз на моем крыльце!

После той ночи я в Бога уверовал. Считаю, кара мне послана за тот грех, — он обвел глазами стены камеры, — не ропщу.

В этапных камерах не спят, в них думают, гадают, куда занесет судьба. Тем, кто едет не впервой, — легче.

— Был три года в Челябинске. Попал прямо из армии. Поспорил с замполитом насчет политики. А тут еще баба — одна на двоих. Показал он на меня... Глазом не моргнул, показал, что я против советской власти высказывался. Десятку военный трибунал сунул. А в сентябре повезли на новое следствие в Барановичи — там наша часть стояла. Замполит уж не замполит, а арестованный, под следствием сидит. Стали спрашивать, не болтал ли он чего

при мне этакого... Нет, говорю, не болтал. За три года службы я от него ничего такого не слыхал. Он — в слезы. «Прости, — говорит, — Андрей, не знал я, что ты такой...» Добрый, значит. Да я не добрый, а только знаю: раз дело завели, от червонца ему не отвертеться, и без меня свое получит. Такая по стране кампания идет.

— Мобилизация.

— Вот, вот. Стройки-то какие задумали! Великими стройками коммунизма называли! Только будет ли им конец?

— Навряд ли. У большевиков — размах. И всё — чужими руками. К чему тут скромничать? Память о себе хотят оставить. Как фараоны...

Упитанный человек, — диво для тюрьмы, — устроившись на большом «сидоре», неторопливо рассказывал кому-то:

— Поваром меня поставили. В лесоповальной бригаде. А тогда, в тридцать седьмом, бабы и мужики вместе сидели. Так меньше помирали. Бабе с воли какие-никакие сухарики да пришлют, а мужик при ней... А Варьке-то присылать неоткуда — детдомовская она. На повале дошла до точки. Кожа да кости. Насчет того, чтобы поджениться с ней, никто и не думал. А — девка, между прочим... Подходит к котлу — ватник старый, штаны ватные тоже — вата лезет, бахилы десятого срока. Не девка — чучело. «Куда тебе, чучело, первое-то?» — «Сюды», — говорит и живот выпячивает. На животе у ей на веревочке котелок старый, — видно, кто пожертвовал. Налил. «А второе?» — «Сюды», — и задницей поворачивается. Там тоже котелок, еще старее. А руками она не владеет — замерзли. Видать, рукавицы кто-то спер.

— Жалко небось таких-то?

— Да ведь как сказать. Всех не пережалеешь. У нас на ОЛПе таких-то восемьсот душ было. Самому бы как выжить. Нет, брат, наша жалость на воле осталась, в зоне человек человеку волк. «Умри ты сегодня, а я — завтра!» — так говорят...

В окнах только-только забрезжил рассвет, когда по коридорам загрохотали солдатские сапоги, заматерились надзиратели — эков стали выгонять во двор

пересылки. Савицкий от меня не отставал и в строй встал рядом.

— Бог даст, и в лагерь вместе попадем. Земляк в зоне — все равно что родственник.

Декабрь подходил к концу. Новый год, похоже, встретим на колесах. Если доживем. Толчками, тычками, матерком кое-как построили колонну по пять. Вдоль нее ходил высокий капитан в козьем полушубке и сдвинутой на затылок шапке. Он был пьян.

— Капитан Хорошев, — послышалось сзади нас, — не повезло: двоих-троих загубит на этапе, это уж точно.

— Застрелит? — спросил Савицкий.

— Он не стреляет. За стрельбу отчитываться надо — хлопотно. Он себя по-другому развлекает. Выберет кого-нибудь, велит раздеть до кальсон и — на открытую платформу. Там солдат в тулупе — часовой. Под его присмотром, привязанный наручниками к борту, человек замерзает. В Сибири перегоны большие. Иной раз, полдня гонят без остановки. Ну и толкают с платформы «снегурочку» прямо в кювет.

Прием этапа конвоем уже заканчивался, когда за забором пересылки послышалась разудалая строевая песня. Звонкий молодой голос старательно выводил:

— Соловей, соловей, пташечка, канареечка жалобно поет!

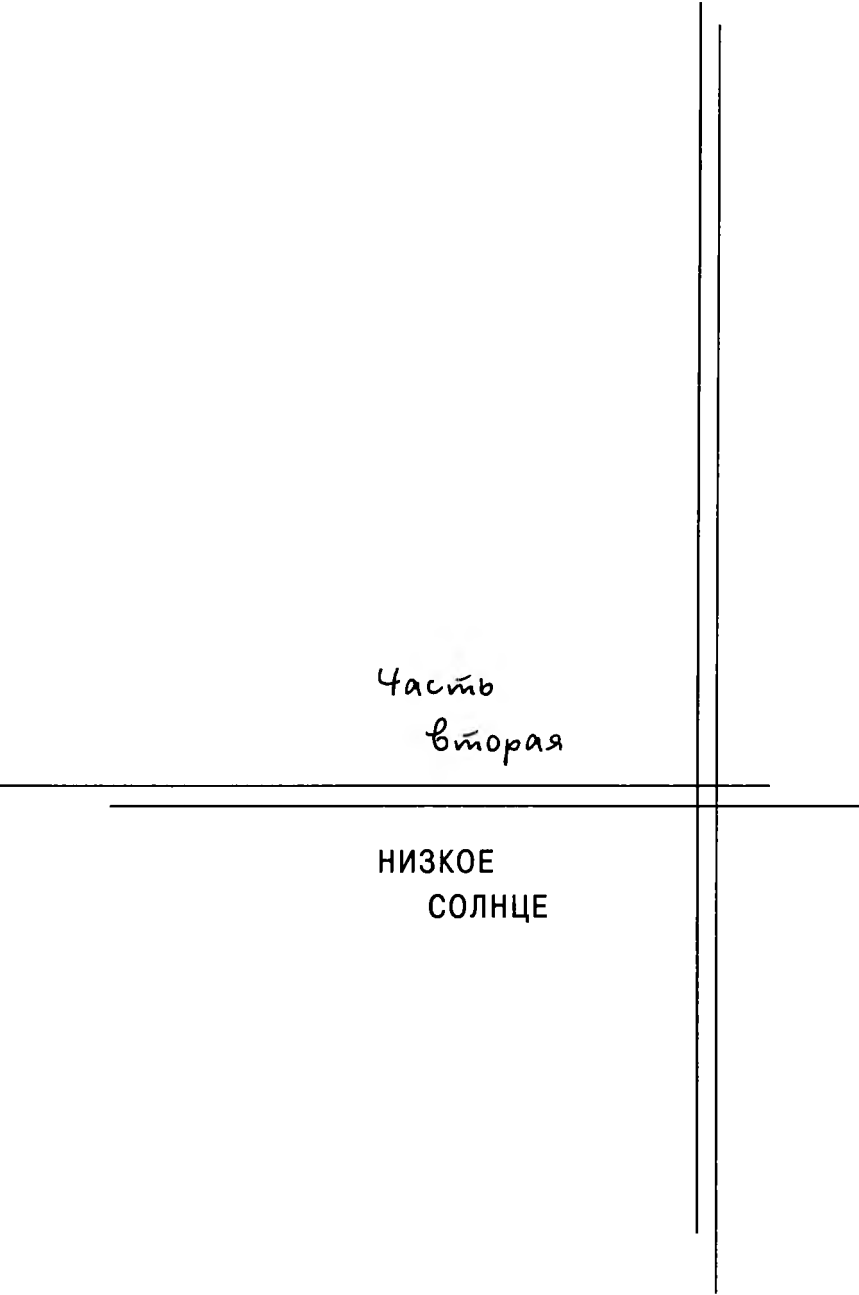
Хор здоровых солдатских глоток подхватил мелодию и понес, постепенно удаляясь.

— Внимание! — хрипло заорал начальник конвоя. — Слушай сюда! Предупреждаю: шах вправо, шах влево считаю побегом, конвой применяет оружие без предупреждения. Шагом марш!

Колонна дрогнула, качнулась и двинулась к воротам пересылки, колыхаясь, как состав с углем на старой узкоколейке.

А молодой радостный голос самозабвенно выводил:

— Раз поет, два поет, горе — не беда. Эх, да канареечка жалобно поет!



Часть
вторая

НИЗКОЕ
СОЛНЦЕ

Глава пятая

ЭТАП

*И оборотился я, и увидел
всякие угнетения,
какие делаются под солнцем;
и вот слезы угнетенных,
а утешителя у них нет;
и в руке угнетающих —
их сила...*

Книга Екклезиаста, гл. 4, ст. 1

В трудные минуты жизни я всегда вспоминаю отца.

Сейчас мне трудно. И не физически — это еще куда ни шло, — а морально. Меня везут в товарном вагоне для скота. Пол никто не мыл — только поскоблили лопатами — и в углах кучи коровьего навоза. К нему уже добавился другой — наскоро сколоченный лоток, на котором мы какое-то время усаживались, как куры, очень скоро замерз, и теперь пол залит фекалиями.

В вагоне нары двухъярусные, но нижние — невысоко над полом, если так пойдет дальше, то они окажутся в зловонной жиже. К счастью, мое место на верхних, возле забитого железом окна. Эти места Савицкий отвоевал с трудом — в вагоне, как и в камере, свежий воздух дорог.

На этапе нет разделения на политических и

уголовников, в телятники запикивают всех вместе. Если зэку не дать лежачего места, он может не дотянуть до конца пути. Конвоем нас не жалко, но, если смертность будет слишком высока, начальнику конвоя капитану Хорошеву дадут втык — зэк еще на этапе, еще не прибыл в лагерь, а на него в Управлении лагерей уже спущен производственный план.

Первое, что сделали уголовники, попав в вагон, — это спалили в печке весь запас угля, рассчитанный до самого Котласа. Еще не понимая, чем это обернется, я спокойно наблюдал за ними. Понял, когда они принялись за нижние нары. Сжечь их можно за несколько часов, а что дальше? Дальше они, вероятно, примутся за верхние...

— Эй вы! Мотайте отсюда! — крикнул я.

Десятки рыл уставились на меня. Одни с интересом, другие со страхом, третьи... Третьими были уголовники.

— Гля, Шмоль, — сказал один, — фраер, подпоясанный ломом¹. Иди потолкуй, может, он не сечет.

— Ты чо, солдат, за бендеру мазу держишь? — спросил, подходя ближе, второй.

— Да он фашист!² — сказал третий, продолжая отдира́ть доску.

Я прыгнул с нар. Савицкий и еще двое за мной последовали. Западники, которым места достались внизу, поняли это как поддержку и двинулись на блатных. Однако решимости их хватило только на то, чтобы отогнать шпану, преследовать ее они не стали. Я же понимал, что, если сейчас не пугнуть хорошенько, они начнут терроризировать всех поодиночке. Поэтому я взял ребят покрепче и пошел в другой конец вагона, где на верхних нарах собралась побла.

— Если будете шуровать или начнете грабить мужиков, мы вас ссучим, — сказал я, — выбросим на штыки.

¹ Прозвище независимых, не признающих воровской власти. Обычно это сильные физически люди, но явление в лагерях крайне редкое.

² Уголовники называли всех политических фашистами не без одобрения и прямой указки охраны лагеря или тюрьмы.

Мужики промолчали, но их мрачный вид и широкие плечи убедили больше, чем мои слова.

Насчет штыков я не шутил. Дело в том, что во время следования эшелона проверки делаются на остановках. Тогда поочередно отворяются двери, и в вагон поднимаются трое во главе со старшиной. Внизу, на насыпи, выстраиваются солдаты, и штыки их винтовок направлены на открытые двери. Даже случайно выпавший из вагона будет заколот штыками. Стрелять не будут из опасения попасть в своих.

А трое в вагоне производят проверку. Сначала эков сгоняют в один угол, а поскольку их много, два сержанта «трамбуют» живой товар, загоняя людей на нары и под нары. Затем следует приказ взяться за плечи впереди стоящего. Когда и это выполнено, раздается команда «бегом марш!». Держась за плечи друг друга, эки бегут в противоположный угол вагона. Пробегая мимо сержантов, каждый получает сильнейший удар дубиной по загривку. При этом оба сержанта ведут счет вслух, но оба пьяны, счет путается, эков гонят обратно, и счет начинается сначала. Одновременно снаружи изо всей силы лупят по доскам пола и стенам — проверяют, не подпилены ли доски. Когда пересчет закончен, сержанты, посмеиваясь, спрыгивают на землю, а в вагон подают бачок с баландой. Обычно это вода и сваренная в ней капуста, реже — крупа. Это первое. По идее, должно быть еще и второе, но из-за нерегулярных остановок и нехватки воды на кухне в бачок с капустой валят и кашу. Не припомню, чтобы за все время пути кормили больше одного раза в сутки.

Особо стоит сказать о хлебе. Конвой подает его утром в фанерном коробе, разрезанным на пайки — точно по количеству людей. В вагонах, где нет бывалых или просто инициативных, он попадает в руки уголовников, и уже они «распределяют». Те, кому хлеба не достанется, должны молчать, иначе расправа неизбежна. Об этих подлостях на этапе я слышал от многих, в том числе и от Федора Ёлкина.

— Всегда бей первым, — поучал он, — но за правду. Урки это понимают. Если за правду — народ будет за тебя.

— Говорят, воров в законе трогать нельзя, — возразил я, — за это полагается смерть.

— Такой закон у них есть, — помолчав, согласился Ёлкин, — только он — для своих. А ты фраер. Откуда тебе знать, который из них в законе, а который нет? Бей в глаз — и всё!

Я вспомнил нашу драку в камере. Наверное, Денисову кто-то подсказал верный ход...

— Теперь насчет этапа, — продолжал Федор, — как влезешь в вагон, смотри, кто тебе подходит. Выбери человек шесть. Лучше — из вояк. Растолкуй, что к чему. Воров сразу вычисли. Это легко — их в вагон последними сажают, когда в «масти»¹ разберутся. Вычислил — не спускай глаз. Они всегда начинают шуровать с одиночек. Их бери под защиту. Одиночка тоже может пригодиться. Допустим, ты не дал его ограбить. Он тебе за это и сухарик пожертвует, и постережет, пока кимаришь... Урки ведь ночами свои расправы творят. Так что помни, служба: твоя жизнь в твоих руках.

Это я помнил. После того как шугнул блатных, поставил на раздачу баланды отца и сына Дубинных — они ехали со мной с самого начала, — хлеб доверил Савицкому. Шпана пробовала возражать, но поддержали западники:

— Нехай вин буде старостой.

Илье Григорьевичу Дубинину лет шестьдесят, его сыну Олегу семнадцать. Есть еще дочь Оксана — ее везут в женском вагоне — ей восемнадцать. Брата и сестру арестовали в сельском клубе на вечеринке во время облавы. У Олега на вороте рубашки, а у Оксаны на подоле юбки имелась вышивка: желтые колоски и синие васильки. Как известно, это цвета знамени украинских националистов. Правда, дело было не на Украине, а в Белоруссии... Арестовали всех, кто был в клубе, — вышивка была в моде — и увезли в тюрьму города Барановичи.

¹ Воровской мир делится на «масти», между которыми идет вражда. Разборки часто кончаются резней. С этим вынужден считаться конвой: воров разных «мастей» в один вагон не сажали.

Илья Григорьевич поехал выручать своих детей и учеников — он работал в школе учителем, был на хорошем счету у начальства, а в войну даже выполнял обязанности партизанского связного.

Однако прежние заслуги не помогли. Семью Дубининых вместе с остальными арестованными судили за связь с бендеровцами и отправили в Сибирь. Дома осталась одна престарелая жена Ильи Григорьевича и второй сын — инвалид.

Через Дубининых я вышел на сильную группу западников, среди которых, возможно, были настоящие бендеровцы, но поддержка смелых людей была мне необходима: уголовники уже два раза пытались избить Савицкого, грозили расправой и мне. Кроме того, мешки под головами мужиков не давали покоя шпане. Верховодил у них молодой вор, совершавший свою третью ходку в Сибирь. После стычки из-за миски баланды, которую мы отдали больному, он показал мне заточку длиной сантиметров двадцать.

— Вот. На всех вас хватит. По одному будем мочить, а тебя, солдат, первого.

— Ладно, — согласился я, — только, если промахнешься, мы тебя кастрируем.

Он поиграл заточкой и ушел. Всю ночь на половине блатных продолжалась карточная игра, а на расвете я проснулся от криков и топота. Возле наших нар кого-то били. Потом ко мне поднялся один из западников и протянул уже знакомую заточку.

— Ось... До тебе лиз сучонок. Кажеть, солдата проиграл — тебя. Хлопцы ему дали... Но ты и сам не спи, а колы схочешь, нехай учитель та его хлопец тремают. — Он сунул заточку в щель между досками и сполз вниз. Вокруг снова воцарилась тишина, нарушаемая стуком колес под вагоном.

* * *

Когда мне трудно, я вспоминаю любимую поговорку отца: «Не вставай на цыпочки, чтобы казаться выше, чем ты есть, и не приседай, если на самом деле высок ростом».

За благородство товарищи прозвали его «графом».

В полку культивировалась грубость времен гражданской войны, командиры матерились, каждый бравировал своей лихостью, особенно в езде на лошади, — все командование военным округом происходило из легендарной конницы Буденного, но моему отцу многие подражали. Начальство же отца недолюбливало. Посмеиваясь, он рассказывал, как обиделся командир дивизии, когда один из красноармейцев в споре с товарищами, сказал: «Лейтенант Слонов? Да я за него жизнь положу!» — «А за меня?» — спросил оказавшийся рядом комдив. Боец сначала смутился, но быстро нашелся: «Так жизнь-то одна, товарищ комдив. За вас уж кто-нибудь другой...»

«Слонов зазнался. Откололся от пролетарских масс», — вот что говорил о нем комиссар дивизии на совещаниях. У отца был слишком независимый характер, чтобы обращать внимание на такие мелочи — его рота (главное в его жизни) неизменно занимала первое место в армейских соревнованиях.

Моим воспитанием он занимался в свободное от службы время, но и этого хватило, чтобы к тринадцати годам сделать из меня твердого двоечника. Зато я отлично скакал на лошади, стрелял из винтовки вполне прилично, плавал, бегал, прыгал... В полковой конюшне имелась закрепленная за мной кобыла Герань, которая стремглав летела на свист, ложилась и вставала по моей команде.

Наверное, чему-то отец все-таки не успел меня научить, но вот свой характер передал полностью.

...А эшелон все мчался на северо-восток, оставляя позади последнюю надежду. Направление больше определяли по солнцу, увидеть название станции удавалось редко.

Кто первым заговорил о побеге — не знаю. Наверное, на этапах об этом говорят постоянно. С этапов бегут чаще, а беглецов ловят реже.

Есть много способов получить желанную свободу. Совсем без риска — это писать жалобы и ждать, что их рассмотрят. Он плох тем, что жалобы политических заключенных если и рассматривают, то все равно оставляют без удовлетворения, сроки же рассмотрений исчисляются многими месяцами. Другой, опасный, — побег. Он годится для молодых и сильных.

Из политических обычно бегут большещрочники, в первую очередь прибалты (они особенно свободолюбивы), затем немцы, японцы, венгры, румыны, за ними русские и украинцы-западники. Из категорий — бывшие солдаты Отечественной и бандиты.

Побег «на рывок» особенно распространен, поэтому конвой суров при погрузке и выгрузке в многолюдном городе. Безумен такой вид побега в тайге, в степи, на приисках. Беглеца непременно ловят и бьют всласть, до самозабвения, до истерики, вымещая на нем свои собственные жизненные неудачи и обиды — измену женщины, несправедливость начальства, холод и усталость от погони. Беглеца бьют сапогами, отчего уголовники называют обыкновенные кирзачи «самосудами», прикладами, натравливают на него собак. Затем его привязывают к лошади и волокут по земле или по снегу все те километры, которые он успел пробежать, а потом, избитого и окровавленного, бросают в ледяное нутро каменного подвала с кирпичным полом и голодными крысами. Если же он очутился, то его кладут возле вахтенных ворот на целый день, дабы те, у кого в голове зреет мысль о побеге, видели, что осталось от их товарища...

Итак, если бежать, то на остановке. Но как? Доски пола простучиваются, двери на запоре, окно забито железом. Каждый третий вагон имеет тормозную площадку, на которой стоит часовой с винтовкой, а то и с автоматом. При выгрузке весь конвой собирается у того вагона, который открывают. Собаки рвутся с поводков, рычат от злобы. Арестантов выводят по одному и сажают на землю с руками за спиной. Пока всех не выведут, никто не поднимется с колен. Даже легкий поворот головы вызывает окрик конвоира, а то и удар прикладом в шею. Бить в шею — их любимый прием. Здесь у зэка сходятся вены и артерии, проходят наиболее важные нервы, наконец, это место не защищено одеждой. Получив удар, зек теряет способность сопротивляться. Если удар пришелся в затылок, он может вообще не встать...

Подумав об этом, я ощутил удар по затылку. Оглянулся — никого. Что за чудо? Мистика! Стараюсь отвлечься мыслью об этапе.

Когда он построен, конвой вытягивается в две линии по бокам, собаки занимают места сзади. На путях, вдоль которых нас ведут, стоят поезда — множество товарняков без паровозов. Рядом с движущимся составом этап не водят. Заключение — человек отчаянный, беспросветное будущее это отчаяние усиливает, доводит до крайности — и вот уже кто-то делает скачок в сторону, под вагон...

Господи! Да это же я... я ныряю под вагон и бегу куда-то! Сзади крики, стрельба, лай собак, но я знаю: стрелять им запрещено, на путях могут оказаться случайные прохожие, собак спускать тоже нельзя, но часть конвоиров бежит следом. Я знаю: оставшихся в колонне эзков в этот момент кладут на землю лицом вниз. Почему-то я тоже падаю и хватаю губами колючий грязный снег. Я хочу пить, но никак не могу напиться.

А топот конвоиров все ближе, я слышу их тяжелое дыхание. Только бы не пинали сапогами в живот!

— Солдат, а солдат, ты чего?

В вагонной полутьме какие-то расплывчатые светлые пятна. Нет, это не пятна, а лица. Люди что-то говорят, и голоса их звучат так громко, что у меня ломит в ушах. Савицкий кладет мне на лоб свою холодную ладонь.

— Не меньше сорока, — говорит он, и все повторяют за ним «соро́ка», «соро́ка», делая ударение на втором слоге, а Олег созорничал и добавил: «белобока». От этой «белобоки» мне стало совсем плохо.

— Нужен врач. Эй вы, давайте врача!

Они кричат и сыплют на меня раскаленные угли.

— Врача! Врача! Врача!

Они колотят ногами в дверь, а Олег бьет меня плечом по голове.

Потом что-то загрохотало, вспыхнул яркий солнечный свет, и знакомый голос старшины конвоя произнес:

— А ну, суки, вали в тот конец, не то будет вам врач. Вы, четверо, берите больного.

Раздался топот, и все стихло. Меня взяли за руки и за ноги и понесли навстречу солнцу и лаю собак, а потом опустили — почти бросили. Я лежал на снегу возле вагона и слушал.

— Мне покойники ни к чему! — кричал капитан Хорошев. — Забирайте.

— Но у нас нет транспорта. И потом, нас вызвали, чтобы просто осмотреть...

Женский голос! Женщина рядом! Откуда она здесь?

Капитан Хорошев что-то кричал, но я не понимал ни одного слова. Зато отлично понял, что сказала женщина.

— Хорошо, давайте его формуляр. Но учтите, капитан, мы будем жаловаться! Как ваша фамилия?

Меня снова подняли и куда-то понесли. Потом мы долго ехали на каком-то грузовике, и шофер то и дело останавливал машину и забирался под капот. Когда наконец меня вынули из кузова, я увидел ворота лагеря, вышки по углам зоны и толпу возле вахты.

— Ну что, Сорокина, — крикнул мужской голос, — удалось отделаться?

— Нет, — ответила женщина, — пришлось взять одного с сыпняком.

— Сорокина, я же вам приказал...

— Не кричите, товарищ майор! Сами знаете: есть инструкция... Хорошев ее знает тоже.

— Ладно. Где его формуляр? Что, опять пятьдесят восьмая? Ну, знаете...

Женщина — теперь я ее рассмотрел — молодая, скажочно красивая, светловолосая и голубоглазая, в полубубке, из-под которого выбивалась пола белого халата, махнула рукой, я поплыл по воздуху, влетел на вахту, миновал ее и поплыл над землей вдоль дорожки между двумя высокими сугробами. Справа и слева виднелись крыши бараков с трубами, из которых тонкими стуйками вился дым. Людей не было видно, только когда мы поднялись на высокое крыльцо, откуда-то появились два зэка — я узнал их по стриженным головам — и втащили носилки со мной в приемный покой. Здесь женщина — теперь уже без полубубка — снова меня осматривала и прослушивала. От рук ее пахло туалетным мылом, а от халата — карболкой.

— В седьмую, — сказала она и исчезла.

Два санитары подняли меня и повели, придерживая

сзади и сбоку, по длинному коридору. Голова моя кружилась, и язык как наждак ворочался в пышащей жаром полости рта.

Плата оказалась шестиместной, но все койки были заняты, и меня положили на топчан возле двери. Сейчас же третий санитар — тоже стриженный наголо — сделал мне укол, и все вышли.

И тогда со всех коек ко мне ринулись босяки в одних подштанниках.

— Новенький? С этапа? Куда везли?

— Курево есть?

— А планчик¹ есть?

— А бабки?² Обшмонали или сам лопухнулся?

Загремел ключ в замке, и ээки кинулись врассыпную. Появился санитар, похожий больше на циркового борца, и голубоглазая красавица — доктор. Стоя в дверях, она раскрыла папку с документами и ласково произнесла:

— Сергеев — на выписку, Блехман — на процедуру, Огibalов — за нарушение больничного режима — в изолятор на трое суток.

Захлопнув папку, она грациозно повернулась и, покачивая бедрами, удалилась. В двери снова лязгнул ключ.

И тут потолок надо мной, который до этого лишь слегка покачивался, стал кружиться вокруг матового плафона с лампочкой, и кружился до тех пор, пока я не перестал воспринимать его как потолок, а поверил в то, что это водопад, низвергавшийся с высокой скалы...

* * *

Прошло немало времени, прежде чем я снова пришел в себя. Стояла морозная ночь, и фонарь за окном на зоне был совсем такой, как полмесяца назад на Краснопресненской пересылке, и так же раскачивался от ветра.

¹ Анаша, марихуана — продукты конопли.

² Деньги.

Куда я попал? Что это за больница? В лагере она или в поселке? Если в поселке, то почему санитарам здесь работают зэки, а если в лагере, то почему нас запирают?

Я сделал попытку подняться, но потолок снова пустился в пляс. Дождавшись, когда он успокоится, я выпростал ногу из-под одеяла и, держась за стену, сделал два осторожных шага.

— Параша возле двери, — сказал кто-то.

Когда я вернулся, на моем топчане сидел маленький человек с тонкими чертами лица и сухим носом, весь заросший черной щетиной. Большие блестящие глаза его смотрели на меня из глубоких провалов.

— Моя фамилия Блехман. Папа Блехман — меня здесь все знают. Если есть бабки, можешь отдать на хранение. Процентом не беру, но зато надежно. — Тут он, должно быть, заметил, что мне плохо, и переключился на другое. — Повезло тебе, солдат. Твой этап ушел на Воркуту, а это, я скажу, совсем не Ташкент. Впрочем, до конца ты все равно бы не дотянул: сыпняк — дело серьезное, хотя это Зинкин диагноз, а она всегда ошибается. Вот завтра придет Данилыч, тогда уж точно скажет, как лечить.

— А откуда он придет? — спросил я.

— Из кандея¹. С Зинаидой поругался. Они часто ругаются. Она фельдшер, он профессор. В Кремлевке наших вождей лечил. Только он зэк, а она старший лейтенант медицинской службы и заведующая больницей. Как с ним поругается, так неделю в погонах ходит: напоминает...

— А почему он придет только завтра?

— Срок кандея кончается, Зинаида ему семь суток выписала. Только ей ссориться с ним не резон, он ей диссертацию пишет.

— За что же его посадили?

— Горького отравил. И Сталина хотел... Много их тогда взяли. Других профессоров еще в тридцать седьмом расстреляли, а ему червонец сунули. До звон-

¹ Карцер.

ка отсидел — добавили еще пять. Теперь, я думаю, досидит до пятьдесят третьего — опять добавят. Здесь ведь тоже такие специалисты нужны. Наше Сухо- безводное — лагерь пересыльный, с Воркутинских, Ин- тинтских и всяких прочих этапов снимают больных, доходят и — сюда. На излечение. Тут, я скажу, жить можно. Но мало кого в зоне оставляют. Подлечат — и на этап. Специалистам только лафа. И еще ху- дожникам. Начальник лагеря мастерскую организо- вал. Для всего Унжлага плакаты малюют. «Заклю- ченный, ты должен...» Суки, между прочим! Кому и за что я должен? Если снова уголек рубать, так Папа Блехман вам этого уголька нарубал уже довольно! Можно, скажите, ему немного отдохнуть? Неужели он для этого должен каждый раз мастырку¹ себе делать? Так в самом деле здоровья лишишься...

— А остальные — тоже мастырщики?

— Двое. Еще двое — настоящие больные. Одному осталось всего ничего. А вон тот, у окна, — идейный. Профессиональный стукач. С восьмого ОЛПа еле живого привезли — прищучили его там, раскололи — теперь здесь отсиживается. Только и нам покоя от него нет, стучит. Ничего не поделаешь — привычка. Да на нас стучать — надзирателей смешить: они о нас и так всё знают. Данилыча иногда за зону во- дят. Под конвоем. В больничку, где вольняшки ле- чатся. Только там оборудование хуже нашего, так что, если какая операция или еще что серьезное, сюда до- ставляют.

— И женщин?

— И женщин. А кто их тут тронет? Ведут с кон- воем, и, когда оперируют, надзиратель у двери стоит. Наши, конечно, сбегаются. Смотрят издали. Для них любая баба — загляденье.

— А Данилыч с охотой идет туда?

— Кто знает? Я говорю: там оборудование прими- тивное, а ответственность большая, так, наверное, без желания идет. Гонораров он от них не берет.

¹ Фальшивая рана или ложное заболевание, иногда очень ре- ально имитирующее настоящее.

— А предлагали?

— А как же! Сам посуди: если он у начальника ОЛПа дочь от смерти спас, как же он ему не благодарен? Говорят, уж так и этак, и деньгами давал, и мясо свежее в пакет заворачивал, — не берет. Начальник на него за это с тех пор зуб имеет: от такого лица не принял!

— Скажи, Папа, зачем ты деньги на сохранение берешь, если процентами не пользуешься? Не логично.

Он молчал довольно долго, потом, странно поёживаясь, произнес:

— Видишь ли... У каждого есть своя слабость. Вот этот, с краю, он москвич, третий год сидит всего, открытки собирает.

— Какие открытки?

— Всякие, лишь бы на ней баба была нарисована. За голых даже платит. Ну, а я... Мне с деньгами теплей. Я раньше бухгалтером работал в тресте.

Загремел ключ в замке, и Папа мгновенно исчез. Словно растворился. Началась раздача лекарств. Все порошки лежали в одной большой коробке. Санитар, как мне показалось, брал наугад порошок и всыпал содержимое в широко раскрытый рот больного. В дверях со скучающим видом стоял надзиратель.

* * *

Ночью я проснулся от приглушенных стонов и какой-то возни в углу. Лампочка не горела. В полутьме на фоне окна метались человеческие фигуры. С меня сдернули одеяло, и хриплый голос потребовал:

— Встань, падло! Посылку получил? Маслице, сальце, табачок... Говори, где прячешь?

— Оставь его, — произнес другой, — это не Гонтарь. Гонтаря вчера выписали, а это солдат. С этапа.

— Солдат? Тогда прохоря есть. Где прохоря? Говори, сука!

— Не, — сказал его товарищ, — у этого ботинки. Линяем, Жора!

Они ушли. На соседних койках зашевелились больные, со стонами и кряхтением собирали разбросанные по палате вещи.

Вошел надзиратель, зажег свет, притворно удивился:

— Вот, мать честная! Токо на минутку отлучился...

Папа Блехман, поскуливая как щенок, бегал по палате. Левый глаз его затек от удара, губа кровоточила.

— Все забрали! — хныкал он. — Надзор пмонал четыре раза — не нашел, а эти... Что я скажу кредиторам? Солдат, ты будешь свидетель: они же меня избили!

Днем пришли работяги и добавили Папе еще один фингал — под другим глазом: блатные забрали то, что они отдали Папе на хранение.

— Эх, напустить бы на этих урок кавэче! — сказал Папа, немного успокоившись.

— Разве это поможет? — усомнился я. — Ведь КВЧ — всего лишь культурно-воспитательная часть. Газетку почитать — это они еще сумеют...

— А! — сказал Папа. — Что ты понимаешь? Я же не про это кавэче, а про другое. Про то, которое — с дубинками. Ты еще не видел их дубинки? Тогда тебе повезло. Хотя все еще впереди, — он добежал до бачка с водой, опустил туда серую от грязи тряпку, немного отжал и приложил к фингалу, — знаешь, солдат, что в лагере самое страшное? Самое страшное — это новый порядок. При старом еще кое-как жить можно, при новом можно только помирать. Так вот, кавэче — это новый порядок!

* * *

Вскоре вернулся из кандея Данилыч. И в первый же день разругал Зинаиду: крупозное воспаление легких не могла от сыпняка отличить! Заведующая больницей, военфельдшер Сорокина, стоя возле моей койки, молча кусала губы, в ее глазах метались злые молнии. Если б могла, она бы, кажется, разодрала Данилыча на части! Но она не могла — профессор был ей очень нужен.

Отыгралась она на мне: выписала из больницы

раньше времени. Данилыча в этот день на месте не было — ездил на девятый ОЛП осматривать больных. Вместо больничной койки я оказался в бараке лесоповальной бригады. Впрочем, побаиваясь гнева Данилыча, Зинаида, по-видимому, предупредила нарядчика, что меня до этапа на работы гонять не следует. Дневальный барака «вечный зэк», посаженный еще при Дзержинском, Маркел Маркелыч Летунов — не то старый чекист, не то работник Наркомата в прошлой жизни — обрадовался мне, как родному.

— Думаешь, почему я в лагере двадцать лет отсидел — и всё еще живой? А всё потому, что из них лет пятнадцать сижу возле нее, голубушки, — он погладил шершавой ладонью теплый бок печки, — как после причиненного однажды на лесоповале уродства попал в дневальные, так и состою при ней, — он снова любовно погладил печку и подкинул в топку пару поленьев, — тебе, конечно, такая лафа не светит, — он смерил меня с ног до головы придиричивым взглядом, — молод, здоров, силой Бог не обидел. Тебе прямая дорога на лесоповал. Или на уголек в шахту. Небось первая «а»? Во-от! А у меня уж лет десять, как вторая инвалидная! Если опять начальство срок не добавит, то, Бог даст, и на свободу выйду.

— А за что добавляли? За нарушения?

— Нет, я не нарушал, — он покачал головой, — не из тех... Первый раз вообще три года дали. В тридцать втором больше не давали. Отсидел — добавили, стало пять. Отсидел эти — добавили еще, стало десять. И всё тихо, незаметно, будто так и надо.

— Жаловались?

— А как же! Все мы поначалу правду ищем. Потом, когда рога обломают, успокаиваемся...

— Так за что же все-таки?

— За что... — он невесело усмехнулся. — Думаю, все-таки за то, что много знал! — Он вышел в холодный коридор, вернулся с небольшой охапкой дров, бросил их возле печки и продолжил: — Такие, как я, молодой человек, были первыми, кто советскую власть на престол российский сажал. С самого нача-

ла, с семнадцатого года, — и всё с ней. Кем только не был! Как где какая заваруха или неувязка — так меня туда. Сам Ленин, заметь, мне мандаты подписывал. В Смольном меня в лицо знали; со всех пропуска охрана требует, а мне — под козырек: «Пожалуйста, товарищ Летунов, проходите, вас ждут». А ты ляжь, солдатик, ляжь, чего тут сидеть? Меня ведь не переслушаешь, я могу и до вечера... Ты небось недолеченный? А что было-то? Крупозное? Ай-яй-яй! Шутки плохи. Иди ложись, я тебе свой бушлат дам, накроешься. Бригада не скоро вернется, еще только за полдень перевалило...

По его совету я забрался на указанное место, накрылся двумя бушлатами и заснул. И проспал весь остаток дня, вечер и всю ночь. Дневальный меня не будил, но исправно складывал в котелок и второе от обеда, и мой ужин и ставил к себе под топчан, подальше от голодных глаз работяг.

Что мне снилось в ту ночь — не помню. Наверное, что-нибудь хорошее. Как ни странно, в лагере мне почти всегда снились счастливые сны...

* * *

Проснулся я рано — наверное, отоспался. Минут за десять до общего подъема, когда еще колокол у вахты и не думал звонить, а за окном достывала лютая сибирская ночь, в барак вбежал перепуганный Летунов. Бросив дрова на пол, завопил благим матом:

— Беда, братцы! Кавэчисты идут! Подымайтесь! — и юркнул под нары.

— Кто идет? — не понял я.

Об этом я спросил соседа по нарам — пожилого латыша Кампу.

— А вот явятся, узнаешь, — коротко ответил он и стал поспешно натягивать валенки.

До подъема оставалось минут семь-восемь, когда вошли они — рослые, подтянутые, со свирепым выражением на лицах. Паника охватила весь барак. Зэки прыгали с верхних нар; захватив одежду в охапку, выскакивали на улицу. Зазевавшихся кавэчисты

сами сдергивали с нар, бросали на пол, награждали пинками и выталкивали за дверь.

Один из них — не очень высокий, но широченный в плечах — подошел ко мне и, подняв дубинку, на которой я заметил три белых буквы КВЧ, традиционно спросил:

— А тебе что, особое приглашение?

Такие же дубинки имелись и у остальных.

— Обожди, Петро, — вдруг сказал его товарищ, — не видишь, свой брат — вояка, — и сел рядом на нары. — Танкист? Летчик?

— Артиллерист.

— По какой статье?

Я ответил. Он довольно кивнул.

— Значит, побратимы. Мы тоже по пятьдесят восьмой. Долгунов Александр. А это Чистов Сергей. Оба бывшие комбаты. — Тут его позвали товарищи. — Ладно, после поговорим, сейчас нам работать надо, — и вместе с товарищами исчез за дверью.

Откуда-то вылез дневальный; поглядев на дверь и послушав крики на улице, подсел ко мне.

— Ну, познакомился с командиром? — Заметив мое недоумение, пояснил: — Сашка Долгунов у них за главного. Он-то всё и затеял...

— Что затеял?

— Да этот кавэче гребаный. Житья от них теперь нет.

Он ушел по своим делам, а я отправился в КВЧ. Начальника еще не было, в большом зале, похожем на спортивный, возле топящейся печки сидел на корточках седой человек и грел руки. Прогрев, он шел к столу, брал кисть и продолжал писать объявление для вольнонаемных по поводу каких-то путевок на юг, за которые каждый должен уже сейчас внести по пятьдесят рублей сорок копеек. На мое приветствие человек только кивнул, но не взглянул и не поднял головы.

Почти следом за мной вошел начальник КВЧ младший лейтенант Школьников — о нем я слышал от дневального Летунова — и уже знакомый мне Александр Долгунов. Они прошли в комнату начальника и там долго беседовали. Потом оба вышли. Началь-

ник куда-то ушел, а Долгунов, увидев меня, подошел, протянул руку.

— Зачем сюда, служба? Работу ищешь?

— Просто так зашел. Лежал в больнице, выписали, теперь жду этапа.

Он подумал, поскреб жесткую щетину на подбородке.

— А к нам не хочешь? Тогда и этап — побоку...

— А вы кто?

Он усмехнулся, поиграл дубинкой, с которой, видимо, никогда не расставался, толкнул локтем художника.

— Вот так, Аристарх, оказывается, есть люди, которые о нас еще не слышали...

Художник — он оказался совсем не старым, но совершенно седым — странно захихикал, еще больше сгорбился и впервые взглянул на меня.

— Молодой человек, наверное, плохо видит, — он кивнул на дубинку в руке Долгунова, — позвольте, Александр Павлович, я вам буковки поправлю...

— Обойдется. — Долгунов взял табуретку, сел возле печки. — Аристарх, гумозник, не видишь, гость стоит? Принеси стул!

Художник, все так же согнувшись, юркнул в дверь каморки, которой я сразу не заметил, и, вынеся оттуда скамейку, с поклоном подал ее мне. Долгунов смотрел на него с плохо скрытым презрением.

— И откуда у бывшего партработника замашки лакея? А? Ты не знаешь, служба?

— Жизнь меня таким сделала, Александр Павлович! — сказал Аристарх. — Четвертый год в лагере.

— Заткнись! — посоветовал Долгунов и больше на Аристарха не смотрел. — Так ты, в самом деле, о нас ничего не знаешь?

— В самом деле.

— Странно... — он покачал головой, — не о славе пекусь, не подумай. Хотелось бы знать что́ народ о нас говорит. В глаза все льстят, а за глаза... Кто разберет, который друг, который враг нам.

— Кому вам? — я все еще делал вид, будто ничего не знаю.

Он помолчал, почему-то тяжело вздохнул и заговорил, глядя в пол.

— Зэки зовут нас «кавэчистами» вот из-за этого, — он снова поиграл дубинкой, — сдуру согласились с Аристархом, намалевали три буквы. Его идея. Насчет идей он мастер... А все просто. Прибыли мы вместе полгода назад с этапом. Служили в Германии, в оккупационных войсках, там и судили трибуналом. Всем — по десятке сунули полковники, мать их... Ехали тоже вместе, в одном вагоне. Там впервые шоблу пощупали...

— Ну и как? — мне стало весело — я знал, что такое этап, где хозяйничают блатные.

— Жидковаты против вояк. А у меня парни — на подбор. Один Ваня Пяткин чего стоит! Да ты его видел, он тебя хотел дубинкой угостить. Короче, навели мы в своем вагоне порядок. Мужики не могли нарадоваться: никто не ворует, не грабит, не издевается. Кормили, конечно... Так что слава наша — с того первого этапа. Защитники! Чего лыбишься? Мы же такими и были.

— А теперь? — я откровенно засмеялся. Долгунов встрепнулся, погрозил пальцем.

— Значит, кое-что все-таки знаешь! Ах, ты... В армии-то в каком звании был? То-то что сержант... А я капитан!

— Что, во фрунт стать прикажете? А руки по швам или как?

Он понял, что переборщил.

— Да ладно, парень, не паясничай, мне теперь самому тошно.

— Это отчего же? Все уважают, слушаются, дрожат от страха, — я кивнул головой в сторону внимательно слушающего нас Аристарха. Долгунов с отворачиванием плюнул.

— Эта мразь всех боится. И каждого предать может. Ты слушай сюда. Первый раз я так... Как на исповеди. Есть что-то в тебе, сержант, располагающее.

— Не пожалеешь, что рассказал?

— Не пожалею. Похоже, недолго нам тут осталось... Меняются времена. А тебе рассказываю, чтобы хоть один человек правду о нас знал. Не перебивай, не то пожалею, что начал. В общем, прибыли мы на этот треклятый ОЛП. Пригнали нас в зону, а тут такое

творится!.. — он покрутил головой, зажмурился. Долго молчал, светривая одну сигарку за другой. Минутами мне начинало казаться, что он жалеет о том, что начал этот разговор, и вот-вот замолчит. Но он продолжал:

— Определили нас в бригаду лесоповала, поместили в барак. Хорошо — в один. А ночью нас обокрали. Всех десятерых. Сапоги свистнули. Утром на работу идти, а мы босые. Выдали чуни. Как у всех. Ладно, пережили. День отработали, на вторую ночь украли обмундирование. И опять у всех десятерых. Гимнастерки диагоналевые, с иголки, брюки, шинели... Да что говорить, в Германии офицеров одевали по первому разряду. Да, выдали взамен всего бушлаты — хэ-бэ-бэ-у — и клифты лагерные. Мы молчим, не возникаем, сам понимаешь, присматриваемся. В лагере впервые, а тут еще нарядило советует: «Только к начальству не ходите. Шмоток все равно не найдете, а слух пустят, будто вояки — вы то есть — стучать бегает». Ладно, молчим, терпим. Как-то у Генки Свиблова — бывшего политрука — пайку сперли. Это, сам понимаешь, даже по лагерным меркам подлость. В бараке шум поднялся, работяги, кто посмелее, возмущаются вслух, а мы молчим. И паечки свои, как раньше, в тумбочку кладем. Только я в свою паечку однажды крошек от чернильного карандаша настругал... В обед попался подлюка! Урка вон из того барака, что возле хлебoreзки. Разинул пасть в столовой — рыбку заглотать хотел — а я ему в эту пасть... Короче, битва была не на жизнь, а на смерть. Нас десять, урок десятка три, если считать с шестерками. Хорошо, нас кое-кто из работяг поддержал — мужики крепкие, тоже, наверное, Родину защищали. В общем, когда надзиратели прибежали, все было конечно: двое убитых, восемнадцать раненых, включая моих. Думал, судить будут, срок добавят, а начальник решил иначе. В тот же день повели нас к нему. Гнездилов его фамилия. Сейчас его нет, другой правит. Смотрю, сидит за столом вполне нормальный человек и нормально на нас смотрит. «Воевали?» — «Так точно, пришлось». — «За что срок получили?» — «Так у вас же все известно. Личные дела.

Протоколы допросов». — «Я, говорит, цену этим протоколам знаю. Спрашиваю, на самом деле за что судили?» Оказалось, бывший следователь наш начальник! За какой-то проступок с должности турнули и из Москвы сюда перевели. С понижением в звании. То-то, я смотрю, у него на погонах три звездочки, а чуть выше — дырка от четвертой. Капитаном был старлей Гнездилов! Рассказали мы ему всё. Да и чего скрывать? За неразглашение того мерзостного вранья следователи с нас расписку не брали. Обвинения, сам знаешь, дурацкие. Хвалил американскую технику... Ну и что? Да я на их «студебеккерах» пушки до Берлина дотащил! Как же мне ее не похвалить? А ихняя тушенка? До нее чем кормили? Чечевичной похлебкой да пшенкой, а с них не навоюешь. Много еще чего насобирали в том же духе. Вижу, слушает Гнездилов внимательно и — самое главное — верит каждому слову. «Ладно, у остальных что?» — «Да то же самое, товарищ капитан, — отвечаю, — только один больше наболтал, другой поменьше». — «А почему у Пяткина такой большой срок?» — «В плену был, — отвечаю, — трое суток до того, как бежал», — и опять его капитаном и «товарищем» называю. «Порядок на ОЛПе беретесь навести?» — «Попробуем, товарищ капитан, только чтобы охрана не вмешивалась, и еще чтобы нас на работу не гоняли, а то ничего не получится». — «Ладно, — говорит, — распоряжусь. Вас, бывший воин Долгунов, назначаю старшим, по всем вопросам — только ко мне, если ОЛП через месяц план начнет выполнять, сделаю вашу жизнь вполне сносной. «Капитаном» и «товарищем» меня больше не называйте, для вас я «гражданин начальник», если нет вопросов, приступайте».

Сам понимаешь, отказаться мы не могли. Да и зачем? Аристарх, подкинь дровец, печь совсем затухла! — и, когда пламя обогрело его протянутые руки, стал рассказывать дальше:

— Всего неделя понадобилась нам, чтобы навести порядок. Всех урок — а их тут больше ста голов — загнали в один барак и колючкой отгородили от остальных. Это, сам понимаешь, не помогло. Тогда сделали из них бригаду лесорубов и каждое утро стали

выгонять вместе со всеми из зоны в лес. Там они, понятное дело, не работали, у костров грелись, но в зоне их целый день не было, а это уже хорошо. Сунулись было в больничку, а там Данилыч — тоже Человек — им от ворот поворот. Вот мужик! Ничего не боится. Эй, Аристарх, слышишь? Есть еще люди на этой земле! Бери с них пример — и будешь человеком, а не...

— Слышу, — отозвался Аристарх, — только Данилыча давно в карты проиграли, кончатся ваши дубинки — и его не будет: зарежут урки профессора. — Он вытер нос рукавом бушлата. — А его смерть будет на вашей совести, Александр Палыч.

— Все верно, — сказал тихо Долгунов, — только на него и без нашей вины урки давно зуб имеют. Жалко старика, многих спас от смерти, а себя вряд ли сумеет. Еще то верно, что нам тут долго не продержаться. Новый начальник нас к паскудной работе приспособил: каждое утро работяг на развод выгонять. Теперь мы вроде вышибал у него. Надзиратели не вмешиваются — всё мы. И дубинки наши уж не против шпаны, а против работяг для начальства работают. Отсюда, сам понимаешь, какое нам теперь уважение. — Он вздохнул, хотел, как мне показалось, бросить свою дубинку в печь, но раздумал и поднялся. — Вот все о нас тебе рассказал, а зачем — и сам не понимаю. Аристарх, как думаешь, зачем я вот этому бывшему сержанту душу раскрыл?

— Каждый человек, если совесть его нечиста, ищет успокоения в исповеди, — без запинки отбарабанил художник. Казалось, он ждал этого вопроса. — Ваша совесть, Александр Павлович, можно сказать, чиста, только вам, при вашей совестливости, кажется, будто вы в чем-то виноваты. Так я вам скажу: на вас лично вины нет, это всё лагерь. На вашем месте любой бы совершил то же самое, потому что, если бы вы тогда гражданину начальнику Гнездилову в его просьбе отказали, вас бы судили за убийство, и Гнездилов этому бы не стал мешать, а поскольку вы для него доброе дело сделали, он вас прикрыл, и не только вас, а и всех ваших товарищей-фронтовиков. Что до Гнездилова, то и его понять можно: ОЛП наш совсем от рук отбился, блатные власть взяли, план

из года в год не выполняется, в карты проигрывали не только заков, а незадолго до вашего прибытия и надзирателя проиграли, по фамилии Лямин, а у него пятеро деток и жена беременная. Хорошо, Гнездилов узнал, отправил на десятый ОЛП, а с урками только вы с вашими молодцами, Александр Павлович, и сумели справиться, так что честь вам и хвала, а за дубинки вас уж как-нибудь простят...

Стоя с открытым от изумления ртом, слушал бывший капитан бывшего партработника. Я же вспомнил Минскую тюрьму и своего сокамерника — отца Федосея из маленькой церквушки, затерянной в лесах Белоруссии. Что, если бывший партработник также имел встречи со священнослужителями и много от них перенял?

— Во чепет! — сказал, обретя наконец дар речи, бывший капитан. — А что, Аристарх, может, ты и грехи мои заодно отпустишь?

— Не дано мне, Александр Павлович, — серьезно ответил художник, — а если в самом деле надумаете, то советую обратиться к Мазалеву Ивану Платоновичу из второго барака, он на воле попом был, за это и срок получил.

— А что, может, и верно, пойти к попу? — глядя на меня, сказал бывший капитан. — Только вдруг я и его однажды своей дубинкой достал? Не отпустит ведь, долгогривый, нет! — он невесело засмеялся, и я увидел в глубине его рта стальные зубы, а на щеке сбоку — старый шрам. Ранен был капитан, защищая Родину, а теперь его самого защитить некому.

Пересыльный лагерь — ОЛП № 7 — в поселке Сухобезводное был известен в Унжлаге не только хорошей больницей и гениальным доктором Данилычем. Здесь имелся лесопильный завод, поставлявший пиломатериалы на мебельный комбинат в Котлас; кроме того, он производил «палубник» и «авиационник», а также шахтные стойки. Кроме больных на пересылке из этапов оседали специалисты-лесообработчики, механики пилорам, токари по дереву, столяры-модельщики.

Бродя по зоне в ожидании этапа, я обратил внимание на барак с широкими дверями и высокими ок-

нами. У входа кучей были свалены рейки и готовые подрамники.

Поколебавшись немного, я вошел и оказался в большом зале, сплошь уставленном портретами вождей в багетных рамах. Розовощекие, молодцеватые воропиловы, буденные, сталины, молотовы, коневы, рокосовские, говорovy, берии и маленковы смотрели на меня умными, то ласковыми, то суровыми, глазами. Сильно пахло скипидаром и сырым деревом.

— Тебе чего? — не очень любезно спросил появившийся откуда-то парень в испачканном красками халате. — Культорг прислал? Так передай: в гробу мы видели его лозунги! Пускай идет к Цветкову.

— Я не от культорга. Из больнички выписался, вот... брожу куда. Этап должен быть...

Он смерил меня взглядом, что-то решил про себя и сказал:

— Проходи.

В соседней комнате, много меньшей по размеру, было тепло и сильнее пахло красками и скипидаром — наверное, именно здесь работали художники, о которых мне говорил Блехман.

За одним из мольбертов стоял очень худой человек с головой, напоминавшей желтую тыкву, большие глаза его смотрели грустно и отрешенно. Он как бы не слышал, что мы вошли, и продолжал водить кистью по туго натянутому полотну.

— Это наш бригадир Арсений Витковский, — сказал парень, — а я просто Коля. Коля Зубков. Есть еще двое, но они сейчас на ОЛПах. Лозунги повезли, потому как — бесконвойники. Они ездят, а мы за них вкалываем. Опять, наверное, на женский заедут. Как думаешь, Арсений Петрович, заедут или нет?

Его товарищ не поднял головы. Зубков подождал и продолжил:

— План мастеркой спустили в расчете на четверых — видишь, сколько подрамников! Это, это и это — к седьмому сдать, это к девятому, а этого... — он нерешительно тронул носком валенка портрет Сталина, — вообще к завтраму. У, гады!

— Коля! — не поднимая головы, произнес Витковский.

— Что «Коля»? Надоело... А вообще-то я не про него, — он кивнул головой в сторону портрета, — против него я ничего не имею, начальство ненавижу.

— Коля! — снова без выражения произнес Витковский.

— Да что «Коля»? Что «Коля»? — взвился Зубков. — Ни про кого не скажи! А с этими, — он откровенно пнул ногой другой портрет, — так просто нянчимся, как с иконами. А я их, между прочим, сам делаю! Захочу — вместо ангела черта намалюю!

— Коля! — в последний раз предупредил Витковский и впервые поднял глаза на меня. — Это ты в больничке нашего Данилыча рисовал? Для самоучки неплохо. — Он положил кисть и, прихрамывая, отошел от мольберта. — У нас не хочешь поработать? А то ведь еще неизвестно, на какой ОЛП попадешь... Я поговорю с Цветковым.

— Для начала пускай стогняет за обедом, — сказал Зубков. — Вон там, в углу, четыре котелка. Вытри чем-нибудь... В три нальют первого, в один сложишь второе, да скажи, что для Арсения Петровича, они тогда со дна подденут...

Когда я вернулся с котелками, оба сидели за расчищенным кое-как от мусора столом и ели сырую рыбу.

— Присоединяйся, — сказал Зубков, — сперва противно, а потом ничего. Меня Петрович научил. От цинги — первое средство.

Рыба оказалась чехонью. Уговаривать не было нужды: в лагерь я попал не от родной маменьки и недостатком аппетита не страдал.

После обеда Витковский пошел за перегородку «согнуть часок», а мне Зубков велел загрузить три больших холста.

Сам же принялся за портрет Сталина в маршальском мундире. Работая, рассказывал о Витковском.

Оказывается, Арсений Петрович однажды уже был вольным человеком. Отсидев первый срок от звонка до звонка, вышел на свободу, но в Москву не поехал: за десять лет растерял не только родных, но и друзей, да и ехать в лагерных бахилах и бушлате не хотел. Он хотел немного подработать. В Воркутинских лагерях его знали, начальство его уважало.

Был он не слишком стар, но слаб телом настолько, что первое время от дома, где снимал комнату у надзирателя Телепнева, до хлебного магазина добирался в три приема: первый раз отдыхал на завалинке избы распутной бабенки Соньки Поперечной — тоже бывшей эчки, второй — на крыльце начальника почты Скурихина, третий — в двадцати метрах от магазина на пенечке.

После освобождения другого художника, Петра Крохалева, его жизнь стала меняться в лучшую сторону. Крохалев тоже не сразу поехал в Россию, как они называли центральную часть страны, а поселился вместе с ним. Художественного образования Петр не имел, но был тем, кого принято называть самородком. Какое-то время, до освобождения Витковского, они работали вместе, и Арсений Петрович многому научил Петра. После освобождения Витковского он занял его место — без лозунгов и плакатов концлагерь жить не мог.

Со старым другом Витковский стал питаться лучше, ожил и путь до магазина стал преодолевать за один прием.

Через год в Воркуту с дальнего ОЛПа прибыл еще один художник — Родион Назаров, закончивший в свое время Суриковский институт, — и тоже поселился в Воркуте. Простившись с надзирателем Телепневым, к немалой досаде последнего, три художника с разрешения городского Совета переселились в недостроенный дом на окраине. Дело простое: Крохалев до ареста работал на судоремонтном заводе плотником, Назаров научился этому ремеслу в лагере. Архитектуру он и Витковский изучали в институте, и скоро на окраине Воркуты вырос чудо-терем с крутой двускатной крышей и невиданными здесь огромными окнами, резным крыльцом и петухом на коньке крыши.

Начальство Воркуты, однако, не зевало: еще не закончен был сарай для столярных работ, не сложена печка в жилой части дома, а план мастерской уже спустили. Кому-то пришла идея снабжать воркутинские ОЛПы дополнительной наглядной агитацией.

Художники трудились днем и ночью, а заказы все

прибывали, и штат мастерской расширялся. Понимая, с кем имеет дело, воркутинская администрация не особенно церемонилась с бывшими зэками: откажетесь выполнять — вылетите из Воркуты в два счета!

Так жили два года с половиной, пока Арсению Петровичу не пришла нестерпимая охота повидать родину. Деньги у него теперь имелись. Друзья провожали его скрепя сердце: Витковский получил первый срок за болтовню, о его дворянском происхождении следователи не знали.

Предчувствия не обманули друзей: очередное письмо они получили от Витковского уже из лагеря. Он благополучно доехал до Москвы и нашел дом, в котором родился, и даже разыскал старых друзей отца — двое из них жили в доме Витковских. Они-то и донесли на Арсения Петровича, убоявшись, что он каким-то образом отберет на правах наследника их жилую площадь...

На суде они показали, что Витковский ругал советскую власть и намеревался мстить за обиду, причиненную его семье. Народный суд Кировского района Москвы осудил Арсения Витковского на десять лет ИТЛ и отправил в Унжлаг.

Арсению Петровичу шел пятьдесят третий год. На освобождение он больше не надеялся.

* * *

Почти месяц я проработал в мастерской художников — Арсений Петрович договорился не только с Цветковым, но и с нарядчиком: на этап меня не брали.

Кроме обязанностей уборщика, я грунтовал холсты, сколачивал подрамники и даже делал подмалевки. Кроме портретов вождей и членов Политбюро, художники халтурили для себя: рисовали «ковры» на плотной бумаге и полотне — с лебедями, рыцарями и русалками. Делалось это с помощью нескольких шаблонов. Таким образом, на пересылке в каждом бараке висели либо рыцарь, обнимающий красавицу, либо целующиеся лебеди, либо выползающая из мор-

ских вод русалка с голубыми глазами и длинными волосами цвета спелой соломы. «Ковры» шли по пятерке за штуку, и делал их один Зубков, Витковский «сидел» на портретах.

Но Арсений Петрович писал не одних вождей. По заказу некоторых заключенных он писал их портреты маслом и рисовал карандашом. Заработок обоих шел в общий котел.

Портреты меня заинтересовали. Их заказывали люди неглупые и относительно состоятельные. Снятый с подрамника и свернутый в трубку холст через вольняшек отправлялся на родину.

Когда Витковский выполнял заказ с фотографии, я занимался своими делами, но, когда перед ним садился живой человек, я бросал дела и пристраивался рядом. Каждый заказчик желал быть изображенным молодым, здоровым и непременно в хорошем костюме с галстуком. Бывшие военные требовали изобразить их в парадном мундире или кителе с медалями и орденами. Для таких у Витковского имелся набор открыток. Большинство просило в свой «иконостас» добавить еще два-три ордена...

Но встречались и другие заказчики. Однажды, после отбоя, в мастерскую пришел пожилой интеллигентный человек и попросил написать его таким, какой он есть: усталый, седой, в ватной телогрейке, с руками, искалеченными ревматизмом и работой.

Сам не понимая зачем, я схватил карандаш и стал рисовать его в альбом. Пока Витковский писал маслом, я успел сделать один портрет и несколько набросков. За все время сеанса, — а он продолжался часа три, — человек не проронил ни слова. Когда все было закончено, он поднялся и стал расплачиваться. Тут он случайно бросил взгляд на мои рисунки.

— А сколько вы возьмете за это?

Напрасно я уверял, что рисунки чепуховые, что я вообще не художник и что он, если хочет, может взять их бесплатно. Человек молча выложил двадцать рублей, забрал рисунки и ушел.

Витковский долго сидел за столом, барабанил пальцами и вздыхал: заказчик заплатил за рисунки больше, чем за портрет маслом.

— Кто этот человек? — спросил я.

— Один чокнутый, — ответил Зубков, — а по национальности не то прибалт, не то немец.

— Он не чокнутый, — тихо проговорил Витковский.

— Так все говорят, — возразил Зубков, — правда, механиком на лесопилке работает, а вообще инженер. Он доходягам свои посылки отдает! Вот и зовут чокнутым.

— Он не чокнутый, — повторил Витковский и поднялся, — ненормальный я: привык халтурить, вот и не разглядел настоящего заказчика. Да что там — заказчика! Человека не разглядел. Интеллигента, а их мало...

— Дурак ты! — вдруг напустился на меня Зубков. — Разве так с ними надо? «Рисунки несовершенны...» Кто тебя просит перед ними откровенничать? Знаешь, что не художник, и молчи!

— Заткнись, — посоветовал Витковский, — хорошо, хоть у него совесть имеется.

Днем я понес деньги инженеру. Он не взял. Мои рисунки висели у него над тумбочкой.

Когда я вернулся, между Витковским и Зубковым только что закончился спор. Арсений Петрович велел мне сесть и слушать внимательно.

— Здесь, на пересылке, — сказал он, — тебя век держать не будут. Молодой, здоровый. А свой червонец ты еще только начал разматывать. На лесоповале его не размотаешь — такого еще никому не удавалось. Год-полтора, редко два, — и всё. Вперед ногами. На то и лагерь. То, что сразу попадешь на лесоповал, — бесспорно. Всех молодых, особенно вояк, туда отправляют. Или на уголех, если в Караганду угодишь, ну, да это все одно. Значит, надо уже сейчас искать выход. — Он помолчал, рассматривая узоры на замерзшем окне. — Пока ты, конечно, не художник. Но Зубков прав: не надо самому себя унижать. В нашем деле мало кто разбирается по-настоящему. Больше доверяют авторитетам. Был тут до меня некто Васька Дадонов. Вовсе рисовать не умел. Никакой школы не кончал. Но малевал вот такие «ковры» и прослыл художником. Ну, правда, лозунги писал. Еще плакаты на досках. И что ты думаешь?

Лет шесть из десяти в КВЧ прокантовался. Иначе как «художником» не называли. А уж язык был подвешен... — Витковский засмеялся и покрутил головой. — Даже мне начал было мозги вправлять: то у тебя не так, это не этак. Я, говорит, Академию кончил. Ну, я показал ему Академию! Последние полтора года он сапожником работал. Хотя все не на лесоповале. С тобой — другое. Тебе незачем врать — способности имеются. А вот уверенности в себе нет. Ты что, не сможешь лозунги писать? Сможешь, конечно, но надо, чтобы начальство тебя признало. Ты должен сделать пару серьезных работ. Начни с копий. Для этого лучше всего подойдут серовские «Ходоки у Ленина». Фигур немного, и Ленин тут... Расчертишь по клеткам репродукцию, нанесешь на холст и малюй. Цвет видишь — это я понял. Можешь здесь же и попробовать. Подскажем вначале, а там сам поймешь.

К счастью, у меня действительно «пошло». Несмотря на то что Зубков по-прежнему требовал от меня черной работы, мне удавалось вечерами выкраивать время для настоящей живописи. Руководил моими занятиями Витковский, Зубкову он не доверял.

— Он цвет не видит, а это в нашем деле большой недостаток. Хотя рисовальщик неплохой. В кружке ИЗО при какой-то фабрике учился.

Я хотел сказать, что тоже, еще до войны, занимался в кружке, но вовремя прикусил язык: открывать талант в самоучке мастеру всегда приятней, нежели развивать уже открытый...

* * *

Учеником я оказался не только способным, но и прилежным. Не прошло и месяца, как Витковский сказал:

— Если так пойдет, то скоро нечему будет тебя учить. Чего доброго, съешь меня, как я когда-то Додонова.

И напрасно я уверял, что не способен на подлости, Витковский только посмеивался.

— Не переживай: все правильно. Думаешь, Зубков

не пытался меня сожрать? В КВЧ ведь по штату полагается один художник. Второй — Зубков то есть — числится в бригаде лесоповала. Понятно? Вот он и хотел... Подавился парень. Я же его с лесоповала потом вытаскивал обратно. Привык, понимаешь... теперь он тигр воды. Хотя кто знает? Лагерь есть лагерь.

С начала марта Витковский посадил меня на портреты вождей маслом — сухая кисть перешла к Зубкову. С этим парнем отношения у меня ухудшались прямо пропорционально моему профессиональному росту. По совету Витковского я долго не отвечал на его грубости, но однажды он бросился на меня с ножом. Обезоружить не составило большого труда, но он мог зарезать меня ночью. Зубков был связан с блатными — доставал для них в медсанчасти наркотики. Однажды в столовой какой-то блатняга вылил на пол мою баланду. Двое других стояли наготове поодаль...

— Правильно, что не стал драться, — сказал Витковский, — здесь всем верховодят суки¹. Картежная игра процветает, каждые два-три дня — убийство. Зубков тоже играет, говорил ему — не помогает. Не исключено, что на тебя натравил он. Но, как говорится, не пойман — не вор. Меня он, кстати, тоже ненавидит...

Дня через два, когда Зубков куда-то ушел, он сказал:

— Я тут думал... Нет у тебя другого выхода, парень, как уходить на этап. Жаль с тобой расставаться, но жизнь дороже. Иди к нарядчику, с ним все согласовано. От него зависит — куда. Скоро этап на Котлас. Лагерь старый, благоустроенный. Там у меня хороший знакомый в КВЧ. Дам письмо к нему...

Однако помощи не потребовалось: буквально через день меня вызвали в контору и приказали собираться на этап, но не на север, а на юг: посланная моей

¹ Одна из воровских «мастей». Себя называют «отошедшими» от воровского «закона», во всем остальном — те же воры.

матерью жалоба наконец рассмотрена — и мое дело направляется на доследование.

Услыхав об этом, Витковский на минуту потерял дар речи.

— Вот и не верь в чудеса, — сказал он, придя в себя, — я ведь сон видел... — Тут он вспомнил более важное и схватился за голову. — Эх, зря я нарядиле в лапу дал! Теперь уж не вернешь.

Узнав, что, по крайней мере, сегодня этапа не будет, я побежал в пятый барак попрощаться с капитаном Долгуновым и его товарищами. За месяц я видел их всего раза два. Чтобы выгнать работяг из барачков, они вставали до подъема, когда я еще спал. После развода все девятiero отдыхали. Жили они отдельно от остальных работяг в бывшей каптерке и дверь всегда держали на запоре. Туда я к ним не ходил. Долгунов сам как-то пришел в мастерскую Витковского, посидел, побалагурил, позволил Коле сделать портрет карандашом, но остался им недоволен — слишком старым изобразил его художник. Уходя, пригласил заходить, но как-то неуверенно, будто чего-то стеснялся или не хотел, чтобы я видел, как он живет.

Между прочим, упомянул о какой-то рукописи, оставленной эком, которого неожиданно загнали на этап. Жил тот эк в этом лагере давно, еще с войны, когда мужчины и женщины сидели вместе. О той поре, как я понял, и была написана рукопись и посвящалась женщинам-эчкам.

А начался разговор с того, что болтун Зубков проговорился Долгунову, что я пишу рассказы и что он, Зубков, попал в один в качестве главного героя...

— Правда, пишешь? — спросил бывший капитан. Я неуверенно кивнул.

— Ничего законченного, только черновые наброски.

— Где хранишь?

— Да здесь же, где еще...

— Вот это напрасно, надо сдать в каптерку под расписку. Как ценную вещь. Кстати, заberi у меня ту рукопись. Авось сгодится.

Это была вторая причина моего последнего свидания с Долгуновым.

Уже по тому, что дверь в их барак была заперта, а внутри меня встретил настоящий часовой, было понятно, что положение кавэчистов в лагере незавидное. Сделавшие доброе дело парни, освободившие лагерь от тирании воров, превратились в угнетателей тех, кого освобождали, и теперь прячутся и от урок, и от работяг. Начальство, превратившее их в мерзавцев, похоже, хочет от них избавиться. Из десяти двоих уже отправили на другой ОЛП. В первый же день одного зарезали, другого покалечили.

— Эта судьба ждет и нас, — сказал Долгунов, — у большевиков всегда так: народные герои очень скоро превращаются в палачей. Так было с Тухачевским, Блюхером, Чапаевым, Якиром и прочими героями гражданской войны. Одни по приказу Ленина, другие Сталина топили в крови народ, если он поднимал голову.

— Как это? — у меня от изумления перехватило дыхание. — Ведь мы же на них чуть ли не молились!

— Молимся и сейчас. Пока не узнаем правду о них. А узнать ее можно только здесь, юноша, — он протянул мне завернутую в полотенце рукопись, — еще не всех свидетелей советская власть перебила, много участников гражданской бродят по лагерям. Да ты сам порасспрашивай. В восьмом бараке доходит бывший комдив. В гражданскую служил у Миронова во Второй Конной армии. Двенадцать лет молчал, а с неделю назад вдруг заговорил...

— Уже не говорит, — сказал стоявший у входа, — вчера в яму свезли.

— Вот как?! — Долгунов еще более помрачнел. — Не знал. Жаль. Не договорил бедолага. Подозреваю, меня он выбрал в качестве попа: в грехах каялся, о крови, что на нем была, говорил. Бери, юноша, эти бумаги и прячь понадежней. Особенно на этапах. А если нас услышишь плохое — не верь. На нас только немецкая кровь, русской нет. Воевали честно, а то, что здесь скурвились, так это не по нашей вине, честное слово!

В мастерской я развернул рукопись. Это была тетрадь, исписанная карандашом размашистым почер-

ком, и десятка два отдельных листочков бумаги, похожей на оберточную. Ни имени, ни фамилии автора найти не удалось. Долгунов, как выяснилось, тоже не знал. Все описанное происходило частично в этом лагере, частично в каком-то другом, где заключенные носили на одежде номера.

— Тридцать восьмой год, — уверенно сказал Витковский, перелистывая вместе со мной страницы, — а лагерь не каторжный, хоть и с номерами. В каторжном впереди номеров обязательно стоит буква. Каждая буква — это сколько-то тысяч, в зависимости от ее места в алфавите. Например, номер «А-700» означат, что в общелагерном списке этот зэк тысяча семисотый; если «В-300» — три тысячи трехсотый и так далее.

Первое, что я обнаружил, начав читать, — рукопись не представляет собой законченного произведения, а состоит из обрывков каких-то наблюдений, бесед с заключенными, переписанных приказов по лагерю, разговоров начальства между собой. Автор был не простым зэком, а кем-то вроде нарядчика или бухгалтера. Это, кстати, давало ему возможность писать и доставать бумагу, слышать и видеть то, что скрыто от глаз и ушей остальных. Куда же он все-таки девался? Умер? Освободился и уехал, забыв про рукопись? Перечитывая ее во второй и третий раз, я пришел к выводу, что писал ее не один человек, а двое — мужчина и женщина. Четкий почерк с округлыми буквами явно женский, но именно то, что писала эта рука, было живо, интересно и художественно. Мужчина протоколировал сухо и бесстрастно. Фактам, конечно, верилось, но за душу брали все-таки женские эмоции.

— Что думаешь делать? — спросил Витковский, помахивая перед моим носом пачкой бумаг.

— Не знаю, — признался я, — может, привести их в порядок да так и оставить?

— Вот в этом виде? — он снова тряхнул бумагами. — Это значит — всё погубить, а материал тут такой, что хотелось бы донести до народа. — С минуту он смотрел на меня и кусал губы — привычка с детства, — потом спросил: — Ты знаешь, что такое соавторство? Ну да откуда тебе знать...

— Почему же? Ильф и Петров вместе написали гениальное произведение, даже два...

— Тем лучше. Значит, поймешь мою мысль. На нашем ОЛПе нет пишущих, мы с Николаем тоже тебе не поможем, так что бери все на себя: доделай! И присоедини к своим. Пусть и это будет твоим. Стыдного тут нет — настоящие авторы тебе только спасибо скажут. Только вряд ли они живы.

— Не сумею я. У меня ведь просто короткие рассказы, зарисовки, а тут настоящее литературное произведение.

— Ну, до этого еще далеко. У тебя верный глаз — это главное. Читал я твои «зарисовки»... Нет, это не «зарисовки», а нечто более серьезное — не знаю, как выразиться. В общем, у тебя верный глаз — такое мое мнение. Вот Коля говорит, что ты станешь художником — у него тоже верный глаз, — а я думаю, писательство пересилит! Вместе то и другое не уживется, каждое требует себе человека всего, со всеми потрохами. Жаль, будущего твоего не увижу. Не доживу, наверное, а было бы интересно...

Витковский оказался прав, хотя сам еще не знал об этом. Некоторое время живопись и литература у меня шли рядом, потом постепенно литература стала брать верх. Писал я теперь днем и ночью с таким желанием и страстью, перед которыми меркли все лагерные неприятности. Верил твердо: придут иные времена — и я окажусь на свободе. И уже видел в мечтах себя сидящим за нашим старым письменным столом на дубовых ножках, перед черным мраморным прибором с начищенными медными деталями. И стол, и письменный прибор, и часы «Павел Буре», висевшие на противоположной стене, принадлежали еще моему деду, затем перешли к отцу, а когда он ушел на фронт, стали моими. В письмах к матери я иногда спрашивал обо всех этих вещах, чем вызвал ее удивление.

«Пианино, шубу и мебель, — писала она, — мне удалось продать, а дедушкин стол никто не берет — слишком стар, боятся жучков, письменный прибор кажется покупателям слишком громоздким — все-таки шестнадцать предметов! — гораздо удобнее иметь

ручку с пером или карандаш. Осталось продать кое-что из кухонной утвари, но это — копейки. Когда продам и это, не знаю, что буду делать с посылками, ведь зарплаты хватает только на квартиру, электричество и дрова...»

Итак, письменный стол еще жив! Листая чужую рукопись, я находил в ней множество ошибок, чувствовал торопливость, поверхностность: «Вчера опять урезали пайку. Сказали, в связи с военными действиями на Халхин-Голе...» Однако, поразмыслив, все-таки пришел к верному выводу: о таких фактах надо писать сухо, протокольно: чем трагичнее происходящее, тем — короче, и только самое нужное. «Покойников теперь долго не закапывают, они лежат кучей за зоной, постепенно заметаемые снегом. Дней через пять закопают. Мы видим их сквозь щели в частотколе, многих узнаем, и от этого становится еще тоскливее на душе».

А вот что-то вроде шутки: «Начальник сказал, что тех, кто хорошо работает, будут хоронить в гробах...» Думаю, у того, кто писал, от такой шутки — мороз по коже...

Уж не с этой ли чужой рукописи я стал писать сжато, что иногда вызывало неудовольствие первой моей читающей публики — эзков: «И чего обрываешь на интересном? Бумаги жалко?»

Время от времени я показывал свои новые опусы Витковскому.

— Не всякая краткость — сестра таланта, — сказал он и задумался. — А вообще-то, может, ты и прав: наступают новые времена. Начальник КВЧ дал как-то свежий журнал... Писатель пишет о войне — забыл его фамилию. И, знаешь, читать интереснее, чем «Войну и мир» Толстого! Быстрее раскручивается сюжет, нет рассусоливания, философии всякой. Идет бой, он показан честно, просто, кроваво, а там уж сам соображай, что к чему и за что погибали мужики. Кстати, сейчас мне бы в голову не пришло перечитывать «Госпожу Бовари», а ведь когда-то читал с упоением.

Всякий переезд связан с хлопотами. Тем более когда не сам едешь, а тебя везут, да еще под конво-

ем, когда представить не можешь, что ждет тебя в Минске — снижение срока, свобода или этап в еще более страшные лагеря. И что произойдет на этапе? Разденут тебя урки догола или что-нибудь оставят «на сменку»? Или, наоборот, сам возьмешь в руки инициативу, как уже было, и загонишь шпану под нары? Наконец, узнает ли мама о моем приезде и дадут ли нам свидание?

Есть о чем волноваться будущему этапнику. Так было и раньше, но теперь добавилась забота о рукописи — о тех самых шести общих тетрадях, к которым пришта нитками тонкая тетрадка с чужими мыслями, болью и страданиями. Прятать на себе бессмысленно: шмонать будут не единожды. Сдать в багаж, как советовал Долгунов? А если конвой не посчитает рукопись ценностью и бросит в огонь? Для рядового конвоира бумага — материал, из которого зэки мастерят игральные карты, и не более того.

На мое счастье, тетради, завернутые в плотную материю (Витковский дал дефицитное полотно!) и перевязанные веревочкой, приняли еще до этапа, составили опись и выдали мне квитанцию, предупредив, что ни во время следствия, если таковое будет, ни на этапах я свою драгоценность не получу, а выдадут ее только по возвращении в лагерь, в чем ни начальник надзорслужбы, ни каптерщик, принявший сверток, не сомневались.

— И чего мельтешите, мотаетесь туда-сюда? — выговаривали мне умные люди. — Сидели бы тут, раз оказались в приличном лагере, а ведь еще неизвестно, куда попадешь после пересмотра дела.

И с тем, что лагерь этот не из худших и что можно десять раз покаяться, что не сиделось на месте, я был согласен, но теперь от меня уже ничего не зависело. Запущенная год назад жалобой моей матери бюрократическая машина давала первые обороты.

Ровно через два дня меня и еще двух человек, по виду уголовников, вывели из ворот ОЛПа и в кузове грузовика — лицом назад — повезли на железнодорожную станцию. Разговаривать, закуривать и шевелиться не разрешалось. На станции нас присоединили к большой группе заключенных с других ОЛПов,

посадили на землю и запретили поднимать голову. Ждали поезда Москва — Воркута. Метрах в пятидесяти от нас на асфальтированной площадке его ждали вольные — женщины с сумками и чемоданами и военные. Те и другие искоса на нас поглядывали без большого, впрочем, интереса: в здешних местах такая картина вполне обычная.

Поезд опаздывал, и скоро арестанты начали проявлять беспокойство. Тогда конвой разрешил подняться и справить малую нужду тут же, не сходя с места. Никого из посторонних это не возмутило и не удивило, просто женщины на перроне стали смотреть в другую сторону. Пожалуй, мы для них были чем-то вроде скота.

Еще через полчаса показался поезд, пассажиры на перроне оживились, мы же оставались спокойными: прикажут — войдем в вагон-зак, займем места...

Однако все купе оказались переполненными: из Воркуты, Инты и Сухобезводного везли зэков в разные места Советского Союза — кого на новое следствие, кого, как меня, на пересмотр дела.

Мне досталось место на верхней полке во втором от туалета купе. Вместо положенных шести человек здесь разместились пятнадцать. Обе верхние полки соединялись досками, и над нижними жильцами, таким образом, висели полаты с плотно лежащими телами их товарищей. От спертого воздуха, наполненного испарениями полуголых тел и густого табачного дыма, было трудно дышать. Рядом со мной, голова к голове, лежал пожилой, обросший щетиной человек и все время кашлял кровью. На худом лице горячечным блеском светились глаза. Иногда, просыпаясь, я чувствовал его дыхание на своих губах...

Даже первое, беглое разглядывание попутчиков принесло мне некоторое успокоение: блатных среди них не было. Вскоре это наблюдение подтвердилось дикими воплями из дальнего купе: по недосмотру конвоя к ворам в законе поместили суку — и теперь его не то душили, не то резали. Весь конвой бросился туда, и началась жестокая возня — слабых и малорослых в конвой не берут... Минут через десять, когда утихли крики, по коридору протащили воло-

ком молодого парня. Голова его болталась на окровавленной шее — по-видимому, ему перерезали горло.

Я всегда поражался умению урок пронести через любые шмоны ножи, заточки и даже пики. Это страшное оружие затачивают под полом барака в специально вырытой яме. Куют, естественно, в кузнице, и не сами урки, а работяги, а вот затачивают они сами неделями, а то и месяцами. Все это время во «фраерском» бараке, под полом которого происходит работа, неотлучно дежурит урка. В его задачу входит следить, чтобы внезапно не нагрянули надзиратели или не заглянул под пол любопытный фраер. Если такое случится, несчастный не доживет и до утра.

Хорошо бы и мне научиться так же искусно прятать мои записки в зоне!

Вспомнив о них, я стал думать о тетрадях, что ехали в багажном вагоне, небрежно брошенные под лавку. Хотя что-то светлое есть у меня в этом темном мире.

А чахоточный все кашлял и кашлял и отхаркивал мокроту в окровавленный платок...

Чтобы не думать о нем и возможных последствиях (чахотка — страшная вещь), я начал вспоминать отдельные куски из новой, не моей тетрадки и выстраивать их один за другим по порядку. Похоже, это не «сено», как сказал Витковский, а отдельные, из-за недостатка времени и возможностей, перепутанные главы. Как бы здорово было вернуться к этой рукописи сейчас, немедленно! Лампочка под потолком горит тускло, к тому же она в коридоре и светит только дежурному, но у меня отличное зрение — две «единицы» в обоих глазах, — если плотно прижаться к решетке, можно читать...

Убаюканный несбыточными мечтами, я наконец уснул. Мне снилось, что чужая тетрадка мной отредактирована, переписана и отдана в печать.

Глава шестая

ДОЧЬ КОМБРИГА

*Живых поглотим их,
как преисподняя,
и — целых,
как нисходящих в могилу...*

Книга притчей Соломоновых,
гл. 1, ст. 12

В ночь на шестое сентября в спецлагере НКВД № 40 умерло сразу пять человек. Накануне в обед баланда была особенно жидкой, не баланда, а мутная водичка с вываренными чечевичными шкурками. Пóвара тут же послали на общие работы, но дело было сделано: дистрофики не получили того минимума, который, возможно, позволил бы им протянуть еще с недельку...

Вообще в этом спецлагере женщины умирали нечасто. За полгода пребывания здесь Лариса помнила один такой случай. У интеллигентной женщины № 12740 регулярно крали хлебную пайку. Она не жаловалась — за жалобы ночью били. В пионерском лагере под Парголово, где Лариса провела свое последнее пионерское лето, нарушителям «правил чести» устраивали «темную», здесь же наоборот: избивали обиженных.

иногда до полусмерти. И обворованная молчала. От работы она не отказывалась — это ей просто не приходило в голову, — но однажды не смогла подняться с нар. За невыход ее посадили в карцер. Оттуда она вернулась совершенным дистрофиком и через два дня умерла. Ее соседка по нарам № 50220 узнала об этом первой — пошла ночью к параше и увидела в тусклом свете лампочки оскаленный рот и белые глаза покойницы.

Хоронили ее, как и полагается, в общей могиле, раздетой донага, с фанерной бирочкой на левой ноге. Самых «похорон» Лариса не видела — была на работе. О них рассказывала № 50220. Ее, как заболевшую ангиной, оставили в зоне.

С умершей Лариса подружилась совсем недавно — бригадир поставил их вдвоем на очистку от глины деревянных трапов. № 12740 уже тогда была слаба и то и дело садилась на землю. Лариса работала за нее. К концу рабочего дня она уже знала, что двенадцать тысяч семьсот сороковую зовут Ниной Николаевной Дольской, что по образованию она авиаконструктор, а по воспитанию «смолянка» — перед самой революцией закончила Смольный институт в Петербурге.

— Двадцать лет, Ларочка! Всего двадцать лет — говорила она, слабо шевеля белыми губами. — Не верится, что все это было.

— Где сейчас ваши подруги? — спросила Лариса. Кое-что об Институте благородных девиц она слышала от своей бабки — матери отца.

— В Париже, наверное. Большинство уехали вместе с институтом в семнадцатом. Директрисой у нас была супруга генерала Кутепова Александра Павловича. Мы все были в него немножко влюблены.

— Моя бабушка говорила, что многие учебные заведения эвакуировались вместе с воспитанниками, воспитателями и даже швейцаром.

— Только Пажеский, Донской кавалерийский, Кадетский, остальные не успели.

— И все в Париж?

— Нет, военные больше в Югославию. Оттуда, им казалось, легче будет помочь России, когда она... в общем, когда народ одумается. Но Россия в них не

нуждалась, она поверила большевикам и — счастлива, как видишь.

— Вы оттуда... я имею в виду за границу, никаких сведений не получали?

Дольская странно усмехнулась.

— На допросах меня о том же спрашивали. Нет, не получала. Не от кого было получать. Я ведь сирота. Хотя кое-что все-таки знала. Например, то, что в этих корпусах вся организация сохранена. А также — традиции. Странно, что ты этим интересуешься.

— Ничего странного. В нашей семье об этом говорили часто. У папы много знакомых военных, которые потом перешли в Добровольческую армию к генералу Деникину. Он сам ведь тоже служил в царской армии и чин имел поручика, а в Красную Армию пошел после революции вместе с друзьями.

— Ах вот что... Не говори об этом никому. И пожалуйста, не зови меня Ниной Николаевной. Я номер двенадцать тысяч семьсот сорок.

— Вам так больше нравится?

— Я привыкла. Да и надзиратели злятся, если иначе...

В другой раз их поставили на разгрузку вагонов с углем. Лариса спросила:

— Нина Николаевна, почему вы не уехали вместе со всеми?

Дольская подняла голову и долго смотрела на быстро темнеющее сибирское небо. Ответила, с трудом подбирая нужные слова, ей казалось, что семнадцатилетняя девочка может ее не понять.

— Я русская, Ларочка, а русский человек так уж устроен. Он вовсе не приживается в чужом краю, а остается с родиной в ее тяжкий час. Тот, кто убегает, не русский. Такие уж мы...

Ее потерю Лариса переживала так же, как когда-то гибель матери. Ее жалели, утешали как могли. Ходили слухи, что № 12740 и Лариса — родственницы.

Вместе с ней переживала потерю соседка Дольской по нарам — украинка № 50220.

— Квиточков бы яких на могилку положить, так могилки ж нема, зараз заровняли усе. Дуже вона

квиточки любила. По висье, дэ який прогляне, вона ж его кохает, кохает, пока хто-сь не зъист.

— Розы она любила, — сказала Лариса, — мечтала когда-нибудь увидеть...

Над изголовьем еще не занятой постели Дольской висели открытки с цветами, в основном с розами. Сама Дольская писем не получала, а открытки выпрашивала у тех, кому разрешалась переписка. Черной мастикой в письмах зачеркнуты строчки, которые, по мнению цензора, содержали тайную информацию. Женщины открытками не дорожили, и Дольская раз в месяц получала добавление к своей коллекции.

Теперь открытки принадлежали Ларисе. Чтобы память о Нине Николаевне не тревожила душу, она спрятала открытки под тюфяк.

Смерть Дольской неожиданно сблизила ее с № 50220 — Оксаной Петренко из «широкого города Кыива». В день похорон, к вечеру, она перешла сюда из другого конца барака.

— Хочу с тобой, — сказала, закидывая тощее одеяло на верхние нары. Сунувшуюся было старосту барака просто послала подальше — Оксана в лагере не новичок и умела постоять за себя.

По вечерам она пела. Когда-то у нее был хороший голос — видимо, сопрано — но сибирские морозы, ангины и курение сделали свое дело — голос сел. Несмотря на это, послушать Оксану собирались женщины со всего барака. Усевшись в кружок, затягивали сначала одни, потихонечку, вдвоем или втроем, искоса поглядывая на Оксану. И она не выдерживала. Свесив босые ноги со вздувшимися венами и глядя в темное окно, заводила хрипловато: «Ой казала ж мени маты, тай наказывала, шоб я хлопців не любила, не приваживала».

Песенный репертуар ее был огромен, от святочных колядок до чистой классики. Лежа на нарах, Лариса слушала то арию Одарки из «Запорожца за Дунаем», то Наталку-Полтавку, то Наймичку.

— Спой вот это, — попросила она однажды и тихонько напела арию Кармен. Оксана моментально подхватила — когда-то она слышала эту «писню» по радио.

Мать Ларисы Елена Эдуардовна Хорунжая очень любила музыку. Когда отец бывал дома, устраивались маленькие музыкальные вечера. Сам Георгий Максимович хорошо играл на скрипке, жена аккомпанировала на рояле. На такие вечера приходили соседи — сослуживцы Георгия Максимовича с женами и детьми. Сами сослуживцы на такие забавы смотрели искоса: ни тебе водки, ни добрых революционных песен. В маленьком киргизском городишке водка и пляски вприсядку с «гиканьем и свистом» были у них единственным развлечением. После концерта устраивались танцы. Тапером была мама. Она же заваривала чай. Его покупали у киргизов, которые имели связи с контрабандистами. Они же привозили в военный городок баранину, кумыс, козий сыр, кишмиш и огромные сладкие дыни, вкус которых Лариса не могла забыть и в лагере.

Чая в лагере не было никакого. Иногда бесконвойники проносили в зону кедровые ветки и листья черной смородины. Она росла по берегам таежных речек. Но за смородину и кедрач надо было платить деньгами или табаком, а у Ларисы ни того, ни другого не было.

Впрочем, летом она сама кое-как добывала зелень. В основном это был пырей — самая живучая травка из всех, что пытались вырастить на тщательно проторенной полосе запретки. В самом лагере не было ни травинки. Чтобы найти пырей, надо было встать раньше всех и пройти медленным шагом вдоль запретки. Пырей вырастал возле столбов, на которых натягивалась колючая проволока, но не со стороны зоны, а со стороны частокола, окружавшего зону. Рука зэка, протянувшаяся туда, попадала в запретку, и часовой имел право выстрелить с вышки, а надзиратель — запереть в карцер или заставить три дня мыть полы на вахте. И все это из-за крохотного зеленого стебелька высотой не больше Ларисино мизинца. Но она понимала, что без этого стебелька ее жизнь в один прекрасный день может оборваться, и потому, как могла, хитрила. Медленно шла вдоль запретки, слегка пошатываясь, как ходят дистрофики, и изредка садилась на землю. Для стрелка на вышке — явление обычное.

Когда за столбиком показывался зеленый стебелек, Лариса опускалась на колени...

Если стебелек был очень маленьким, она съедала его тут же, если довольно большой, несла в барак. Раньше всем найденным она делилась с Ниной Николаевной, теперь — с Оксаной.

* * *

Жить совсем без любви Лариса не могла. После ареста родителей ее отвезли в спецдетдом, где она сразу привязалась к воспитательнице Митрофановой. «Маме Юле», как звали ее дети, шел тогда девятнадцатый год, Ларисе — шестнадцатый. Мама Юля была комсомолкой, Лариса только что лишилась этого высокого звания, Митрофанова была дочерью рабочего, Лариса дочерью, внучкой и правнучкой военного. Дома Лариса играла на рояле Шуберта, Моцарта, Гайдна, Чайковского, а Митрофанова с трудом осваивала гармошку, да и то потому, что все организованные передвижения воспитанников спецдетдома по зоне должны были сопровождаться музыкой. У Ларисы было очень красивое лицо с правильными тонкими чертами, большие темные глаза, густые ресницы. У Митрофановой — круглое курносое лицо без бровей и ресниц с маленькими светлыми глазками.

В одном только Митрофанова обошла Ларису — это в прическе. Свои, цвета спелого колоса, волосы она могла заплести в косичку, сделать челку надо лбом или зачесать на затылок, как это делала директор спецдетдома Алевтина Игнатьевна Разгонова. Голова же Ларисы была обстрижена под машинку.

И все-таки они дружили. Дремучая серость одной и развитость другой представляли собой как бы разноименные полюса — они притягивались друг к другу.

Кроме довольно длинных волос у Митрофановой имелись и другие достоинства. Например, на спортивных состязаниях она боролась, крутила на турнике «солнышко», поднимала гири. Раскрасневшаяся и довольная, мимоходом хлопала Ларису по плечу:

— Учись, подружка!

Слово «подружка» услышала однажды Разгонова.

Подойдя к сидевшим на скамейке девушкам, сказала, глядя почему-то на Ларису:

— Подружкой она тебе, Юлия, никогда не была и быть не может. Она чесеир¹ — дочь врага народа, а ты комсомолка, воспитательница, общественница. Дочь рабочего, наконец. Стыдно не понимать разницы, ведь тебе скоро девятнадцать.

Тогда, на спортплощадке, Лариса сдержалась, не заплакала, но в палате с ней случилась истерика.

Отец Юлии Поликарп Петрович Митрофанов навещал дочь редко — много работал на Кировском в литейке. Его жена умерла, когда Юле шел третий год. Поликарп Петрович был высокого роста и имел большую физическую силу. В детдоме его знали и любили. Когда в дверях проходной показывалась его высокая медлительная фигура, мальчишки всех возрастов устремлялись к нему. Так и ходил он, обвешанный пацанами, довольно улыбающийся в прокуренные усы.

Однажды Юлия привела его в палату к Ларисе — хотела похвастать, какие у нее в отряде умные и хорошие девочки. Она всерьез верила, что перевоспитывает детей врагов народа.

Поликарп Петрович взглянул на Ларису, одобрительно кивнул — девушка ему понравилась, и обратил внимание на табличку, привинченную к ее койке. Прочитав фамилию, поднял глаза на Ларису.

— Так, так... Хорунжая, значит? Лариса Георгиевна? Фамилия знакомая. А позволь спросить: комбригу Хорунжему Георгию Максимовичу не родственница будешь?

— Это мой отец, — ответила Лариса и села на койку — ноги ее не держали.

— Так, так... — с деланным безразличием повторил Митрофанов, он оглянулся. В дверях стояла директор спецдетдома Алевтина Разгонова.

На следующий раз Поликарп Петрович не стал возиться с пацанами, а сразу прошел в палату к Ларисе. В руках у него был какой-то сверток.

¹ Член семьи изменника родины.

— Вот тут... Поешьте с Юлькой. Тоже небось рыбку-то обожаешь. Моя от нее сама не своя.

Но, как и в первый раз, в дверях палаты возникла Разгонова. Увидев на тумбочке сверток, решительно сунула его в руки Митрофанова.

— Это запрещено. Между прочим, вас, Поликарп Петрович, давно ждут на спортивной площадке, в прошлый раз вы обещали рассказать детям о штурме Зимнего.

И в третий, последний раз увидела Лариса Поликарпа Петровича. Был будний день, и Разгонова уехала в город на какое-то совещание. В проходной его знали и пропустили без хлопот. Он пришел, взял стул и сел рядом с койкой Ларисы — у нее болела голова: накануне до глубокой ночи читала книжку про Красную Армию. Ей вообще нравились эти книги, даже их примитивный язык, рассчитанный на детей и солдат. Читала, хотя уже давно была знакома и с Пушкиным, и с Толстым, и с Достоевским. Читала потому, что в каждом командире видела своего отца...

В этот раз Митрофанов не принес ничего. Посидев немного, прокашлялся и сказал:

— Служил я с твоим отцом, девушка. В Средней Азии басмачей били. Хороший человек был наш комбриг Хорунжий. И как это его утوراзило с врагами связаться? Мне Юлька сказала, я не поверил. И сейчас не верю! Напутали чего-то там наверху. Я знаю комбрига Хорунжего самолично! Не мог он... это самое... Не мог!

Лариса поняла, что Митрофанов пьян. Трезвый человек не рискнул бы произнести такое...

— Поликарп Петрович, идите домой. Тут у нас народ ходит, директриса может вернуться...

Она боялась не за себя — со своей судьбой она давно примирилась — а за Митрофанова и Юлю: узнают, что он служил под началом Хорунжего, чем еще это кончится...

Уходя, он заверил, что напишет самому Клименту Ефремовичу. Лариса кивала головой и благодарила, а сама думала: проспится и забудет. Или просто не решится — было уже такое с другими и не раз... Да и кому писать? Уже тогда она многое понимала, а

впоследствии, в лагере, Нина Николаевна Дольская подтвердила ее сомнения:

— Писать жалобы можно в случае судебной ошибки. То, что происходит в Советском Союзе, не ошибка судей, это запланированное истребление лучшей части общества. Кому-то наша интеллигенция стала мешать. А писать жалобы ЕМУ — вдвойне глупо. Это значит жаловаться на него самого.

* * *

Шел второй год пребывания Ларисы в спецдетдоме и третий месяц войны с белофиннами. Однажды Разгонова объявила, что их детский дом в качестве гостя посетит герой войны. Вожатым и воспитателям приказывалось в срочном порядке подготовить концерт. Песни — только боевые, революционные, танцы — бодрые, веселые.

— И чтобы никаких соплей! — Разгонова покосилась на Ларису. В детдомовской самодеятельности та выступала со старинными романсами.

Героическим гостем оказался бывший сосед Ларисы Володька Мельник — сын слесаря Федота Ивановича. Года два назад он поступил в военное училище, а когда приезжал на побывку, заходил к Хорунжим.

Во время торжественной части Володька сидел на сцене за столом, накрытым кумачовой скатертью, рядом с Разгоновой. От смущения он все время смотрел в пол и Ларисы не видел. В ответном слове он поблагодарил начальство и «весь личный состав» спецдетдома за теплый прием, а потом сказал, что никакой он не герой, а просто раненый, а настоящие герои — его товарищи, которые сейчас воюют с белофиннами.

Пока он говорил, Разгонова незаметно юркнула на кухню. По случаю приезда гостя начальство распорядилось выделить дополнительные продукты для праздничного стола, который не должен показаться постороннему человеку скудным — народ должен знать, что даже детей врагов народа советская власть кормит хорошо, потому что, как сказал товарищ Сталин, сын за отца не отвечает.

Там, на кухне, ее и застал Митрофанов за преступным делом: отослав куда-то повариху, Разгонова перекладывала в свою сумку конфеты, сливочное масло, печенье. Увидев Митрофанова, который был шефом спецдетдома, она страшно перепугалась и стала умолять не выдавать ее и даже пустила слезу. Митрофанов обещал.

Так вдвоем — Митрофанов больше ей не доверял — они и вошли в зал, где дети врагов народа с восторгом разглядывали бравого лейтенанта. Все девочки были одеты в одинаковые платья из перкаля, все наголо стриженные, все робкие и забитые.

Не робкой оказалась одна Лариса Хорунжая. Когда заиграл патефон, она подошла к лейтенанту и положила свою руку на его пахнущее одеколоном плечо.

— Потанцуем, Володя?

— Ты?! — изумился Мельник.

— Какая наглость! — воскликнула Разгонова и рванулась вперед, но Митрофанов удержал ее за рукав.

— Пусть повеселятся. Радостей тут у вас для них немного.

Разгонова хотела возмутиться — все-таки она здесь была директором, — но, вспомнив свой совсем не партийный поступок, сникла.

Девочки, увидев подругу танцующей, ринулись на середину и, вцепившись друг в друга, пытались припомнить движения, которым учились когда-то, до ареста.

— Почему ты сказал, что ничего героического не совершал? — спросила Лариса.

— А зачем врать? — удивился он.

— Но у тебя орден, а их просто так не дают.

— Каждому, кого ранило, вручается правительственная награда. Но хватит об этом. Скажи-ка лучше, как ты здесь очутилась. Где Георгий Максимович, Елена Эдуардовна? Вообще, что все это значит?

Она внимательно посмотрела ему в глаза.

— Ты действительно ничего не знаешь?

— Да я и дома-то полгода не был! А из госпиталя — прямо сюда.

— Лучше бы тебе вообще ничего не знать, — вздохнула она.

— Наверное, — согласился он, подумав, — меня предупреждали...

Это был последний вечер Ларисы в спецдетдоме. На другое утро ее вызвала в свой кабинет Разгонова и не без злорадства заявила, что в связи с совершеннолетием, которое исполняется через месяц, ее, Ларису Хорунжую, переводят в нормальный исправительно-трудовой лагерь, где содержатся изменники Родины и их пособники. Она так и сказала «нормальный» лагерь и при этом внимательно смотрела на Ларису: авось на прощанье выскажет что-нибудь антисоветское. Но Лариса не высказала. Она вернулась в свою палату — теперь уже под присмотром воспитательниц — собрала в узелок свои вещи, оделась и стала ждать. По словам Разгоновой, через час за ней придет машина.

Машина действительно приехала, но повезла ее не в «нормальный» лагерь, а в тюрьму. Какой-то человек долго и нудно спрашивал ее о матери, об отце и других родственниках, а также о Володке Мельнике, его отце-слесаре и об их отношениях. Особенно подробно спрашивал, о чем Лариса и лейтенант Мельник говорили во время танца в помещении спецдетдома, с какой целью Лариса пошла на нарушение режима — приблизилась к постороннему человеку без разрешения и даже гладила его по плечу...

Отвечая, она не сразу поняла, что этот человек — следовательно, что он ее допрашивает и не верит ни одному ее слову, что он очень старается уличить ее в чем-то нехорошем.

Кроме вопросов, связанных с Володкой-лейтенантом, он спрашивал ее также о Митрофанове и его дочери Юлии. Часто ли Митрофанов приходил к ним в детдом и о чем велись разговоры между Ларисой и этим человеком. Особенно ее удивили все время повторявшиеся вопросы такого характера: «Что ты передала лейтенанту Мельнику во время танца?» и «Что передавал тебе Поликарп Петрович Митрофанов в свертках, которые приносил регулярно?»

Она пыталась объяснить, что ей нечего было передавать и что Поликарп Петрович принес сверток только раз, — кажется, с рыбой, — но и тот ей не достал-

ся, однако все было напрасно — ей не верили. Спрашивая, следовательно ее ответы записывал на листочках и давал ей подписывать. В конце дня он позвонил. Вошла высокая костлявая женщина в защитной гимнастерке, такой же юбке и сапогах, стриженная коротко, с челкой, закрывающей лоб.

— Завтра мы продолжим беседу, — улыбаясь, сказал следователь.

Надзирательница молча тряхнула головой, они вышли.

В коридоре к ним присоединилась вторая женщина, намного моложе первой, лицом походившая на дворового мальчишку — курного и задиристого. Именно она толкнула Ларису в спину, когда та замешкалась на секунду перед открывшейся дверью. За этой дверью девочка увидела узкую и тесную, как могила, комнату без окон и мебели, если не считать деревянной скамьи у стены.

Все дальнейшее происходило, как в страшном сне. Ларисе приказали раздеться догола, и обе женщины принялись исследовать ее белье, щупать швы на платье, на поясе, на обшлагах. Изнутри платья на воротах была пришита полоска с ее фамилией и инициалами — так полагалось в спецдетдоме. Одна из женщин оторвала полоску, чтобы посмотреть, не написано ли что-нибудь на ее тыльной стороне...

Во время обыска обе женщины не проронили ни слова. Лариса стояла босая на цементном полу, от волнения не замечая ледяного холода. Единственное чувство владело ею в тот момент — чувство стыда. Позже, в камере, куда ее привели уже другие, появилось еще одно — обида. За что ее так унижали? Она понимала, что все происходящее каким-то образом связано с арестом родителей, но не понимала, какую роль в этом деле отвел ей следователь.

Выяснилось все на следующем допросе. Подписывая окончательный протокол, Лариса заметила в нем слова и выражения, которых не произносила. От этих вкраплений самая обычная фраза приобретала злобный смысл. Обдумывая эти превращения, она стала припоминать, что написанные следователем строчки часто оставались неполными, либо отстояли друг от

друга на расстоянии еще одной строки. Тогда она не придала этому значения, теперь поняла, что «красная строка» может превратиться в кровавую для Володьки и Митрофанова. И тогда она высказала следовательно все, что думает о нем и вообще о советских следственных органах, — несправедливость жгла ей сердце. Каждое ее слово следователь торопливо записывал, а в конце допроса вежливо попросил подписать.

Это был единственный протокол, который Лариса Хорунжая подписывала с удовольствием.

Меньше чем через неделю специальная сессия Кировского районного суда города Ленинграда осудила Ларису Хорунжую на пять лет ИТЛ за злостную клевету на советские следственные органы.

Так она превратилась в обыкновенную политическую заключенную. Шестого июля — в день ее рождения — Ларису из следственного изолятора перевели в Кресты, а еще через неделю этапом отправили в Сибирь.

* * *

Несмотря на строгие приказы и инспекторские проверки, в спецлагере НКВД № 40 систематически нарушался режим. Происходило это вовсе не по вине заключенных. Дело в том, что среди основного контингента — политических — не было ни поваров, ни сапожников, ни портных, ни слесарей, ни электриков. Посудомойкой или ассенизатором бывший профессор истории еще мог быть, но слесарем или хлебопек — никогда. Этих специалистов отбирали из проходивших через этот лагерь этапов. Поскольку отбор производился не только по формулярам, но и согласно устному опросу, в спецлагере № 40 оседало множество неспециалистов, а то и просто блатных, привлеченных слухами о том, что это один из немногих ОЛПов, где вместе с мужчинами содержались и женщины.

На самом деле, это было истиной наполовину. № 40 был ОЛПом женским, мужчины же, специалисты, содержались в отдельной зоне, отгороженной от общей колючей проволокой. Там же, в мужской половине, находилась больница-стационар и поликлиника.

Заболевших женщин водили туда в сопровождении надзирательницы. В стационаре они занимали одну палату, возле дверей которой дежурил надзиратель-мужчина.

Однако недаром говорится, что нет правил без исключений. Ворота, отделяющие мужскую зону от женской, накрепко запирались только в дневное время. В ночное строгие запоры пасовали перед мастерством тех, кто очень хотел попасть в женский барак. Вместе с запорами перед ними пасовали дежурные надзиратели — в основном старики. Строптивцев же либо запугивали, приставляя к горлу самодельный нож, либо покупали деньгами. Не довольствуясь кратким свиданием в женском бараке, счастливицы вводили подружек в мужскую зону на всю ночь.

Ходила туда и Оксана. Земляк прислал записочку, мол, с надзирателем все улажено, приходи после отбоя. Как узнал имя, где видел Оксану до этого, — не сказал, но она была рада. Потерявшие семью, свободу и надежду вернуться в прежний мир, люди искали если не любви, то хотя бы сочувствия и тепла и изредка находили у таких же несчастных. Никто на земле не любит так неистово и не расплачивается за свою любовь так жестоко, как зэки. У них нет прошлого, нет будущего, их энергия, разум, воля слишком долго были направлены к единственной цели — выжить. Гнетущая тоска по простому человеческому счастью концентрируется в короткий миг свидания. В этот краткий миг зэк или зэчка отдают друг другу не просто истосковавшуюся плоть — они отдают любимому всего себя, без остатка, без мысли о будущем, без оглядки на последствия. Слишком часто после свидания влюбленные отправляются прямоком в карцер или, что еще хуже, на этап.

После первого свидания Оксана вернулась счастливая: ее Николай не женат, хорош собой, работает механиком на пилораме. Кормил Оксану досыта картошкой и хлебом — ему дают усиленный паек — и обещал жениться, как выйдет на свободу, а пока клялся, что никому на свете ее, Оксану, не отдаст.

Не забыла Оксана и подругу: принесла ей записочку. Какой-то Володя писал, что видел Ларису однаж-

ды на приеме в больнице, влюбился и желал бы дружить. Кто такой Володя, Оксана не знала, просто кто-то сунул ей в руку записку, когда она с помощью Николая на рассвете пролезала через колючую проволоку.

Лариса тотчас порвала записку. О любви она имела совсем иное представление. Оксана не поняла, стала уговаривать, Лариса вспылила, назвала все, что происходит, аморальным, постыдным. Оксана расплакалась. Сквозь слезы призналась:

— С голодухи я до него пишла, подружка. Казал, накормит... А вин добрый хлопец, гарные слова говорил та ласкал, як жинку, вот серденько мое и тронул. А щёсь ты тут про мораль гуторила, так гэто не для нас. Нема туточко ниякой морали. Микола мени на прощевание калач дал — мабудь, с дому прислали — так надзиратель Шкворень в воротах отобрал. Це—мораль? А як каку зэчку полы мыть в надзорку погонюць, так яе уси трое, бо четверо усюнич насилуюць! Це — тэж мораль? Хиба ж ты не знаешь?

Лариса знала и это и страшилась надзорки больше, чем карцера, — ведь она была еще девочкой!

С Оксаной отношения кое-как наладились, но мужики одолевали сначала записочками, а потом и приходиться стали. Первым появился прыщавый оборвыш лет шестнадцати, с большими красными веками и глазами без ресниц. Неслышно подобрался к бараку и, когда Лариса пошла в уборную, увязался за ней. Голос у него был хриплый, то ли простуженный, то ли сифилисом тронутый.

— Ты, лапушка, меня не бойся, я не сам от себя, меня Щербатый прислал. Глянулась ты ему, к себе зовет. Ты... того... не ершись больно-то, как бы хуже не было!..

Он исчез так же незаметно, как и появился, — наверное, у блатных в колючей проволоке имелся свой лаз, — но Лариса больше одна не ходила даже в уборную. О главаре блатных, по кличке Щербатый, она слышала давно. Говорили, будто сняли его с этапа с мастыркой, поместили в лазарет, а когда подлечили, отправлять не торопились: Щербатый играл по-круп-

ному не с экаками, у которых денег вовсе не было, а с надзирателями — любителями карточных игр. Судя по тому, что он пользовался свободой передвижения по женской зоне, посещал клуб и столовую и один занимал весь первый ряд, когда крутили кино, должны ему были не одни только надзиратели. Начальник надзорслужбы младший лейтенант Сапрыкин лично выводил его за зону и раза два угощал домашним обедом у себя в доме. Обо всем этом в открытую болтали в зоне. Щербатый не раз, во время прогулок по женской зоне, входил в бараки и рассматривал себе подружку на ночь. После отбоя за ней приходили, и еще не было случая, чтобы хоть одна отказалась от приглашения. Выбранные Щербатым для любовной утехы были, как правило, молоды, не слишком истощены и красивы лицом.

— Вот и до тебя добрался, поганец! — с тревогой говорила Оксана. В посыльном мальчишке женщины узнали шестерку Щербатого — педераста по прозвищу Кот.

— Теперь они тебе покоя не дадут! — уверяли женщины. — Пока ты этому Щербатому не уступишь...

— Лучше смерти! — восклицала Лариса, заливаясь слезами. Со дня первого прихода шестерки Кота она потеряла сон. Ночью ей в каждом порохе мерещился либо прыщавый оборванец, либо сам Щербатый, которого она однажды видела в клубе, — косолапый и толстозадый огненно-рыжий парень, больше похожий на толстую женщину, нежели на мужчину.

Кот прибегал еще два раза. В последний приход принес записку от своего хозяина. Лариса, не читая, разорвала ее, а Кота прогнала, пригрозив пожаловаться надзирательнице, но женщины подобрали клочки бумаги, сложили вместе и прочли записку. Щербатый приглашал ее на одно свидание — только на одно! — обещал вести себя «как положено» и накормить до отвала гречневой кашей с настоящим маслом.

— Целый котелок! — свистящим шепотом подтвердил Кот, странным образом оказавшийся в женском бараке, под Ларисиной лежанкой. Кота тут же прогнали, но о котелке, полном каши, говорили еще дол-

го. Почти все сходились на том, что не такое уж это страшное дело — сбегать к мужику на часок-другой, тем более что мужик-то не простой доходяга-вздыхатель, а богатенький — по роже его толстой видать — а что блатной, так это даже лучше: попользуется один и другим не отдаст...

— Ты на себя глянь! — уговаривала Ларису староста барака — воровка со стажем, которую все почему-то звали «бандершей». — Кожа да кости. Еще дивно, что глаз положил. На меня вот не посмотрел, а у меня и тут, и тут — все на месте! Она вертелась перед Ларисой, поочередно показывая бедра, грудь и, действительно, не по-лагерному полные ноги. Староста барака за зону не выходила; когда бригады уходили в лес, бежала на кухню к своей подружке — тоже воровке — и там закусывала под водочку чем бог послал. Щербатого она знала хорошо еще по Беломорканалу и уверяла Ларису, что хоть на вид он и неказист, но мужик стоящий, вор авторитетный и слово свое держать умеет. Обещанный котелок с кашей рассматривала только как повод для знакомства:

— Приглянешься ему — будешь в лагере жить королевой: ни тебя на лесоповал, ни тебя в карцер — всё куплено!

Время шло, Лариса все больше доходила от скудной пищи и тяжелой работы в тайге. Котелок с кашей не раз возникал перед ней как мираж в пустыне, и от мечты о нем у нее начинала кружиться голова. Гречу она любила с детства.

— Где они берут крупу? — спросила как-то у Оксаны. — Ведь ее еще сварить надо!

— У них все есть, — помолчав, ответила Оксана, — и сало, и масло, и чего душа пожелает. Даже цыбуля! Сама бачила, да и Микола говорил...

Насчет одного-единственного свидания с главарем блатных у нее имелось двойное мнение,

— Як бы не була ты дивчиной, так и балакать нема чего — ничего бы не потеряла, а вот то що ты дивка — погано. Було б кому витдаватися...

Но если Оксана жалела подругу, то староста, а за ней и другие женщины прямо-таки толкали Ларису к Щербатому в лапы.

— Смотри, девка, сгинешь в тайге, и никто не вспомнит, а с этим законником, может, и до свободы дотянешь.

В конце концов бабьи разговоры и записочки, которые приносил Кот, сделали свое дело: Лариса согласилась. Она отлично понимала, что за котелок с кашей нужно будет расплачиваться своей честью, но, измученная голодом, смирилась и с этим.

До мужской зоны ее сопровождала Оксана, впереди, как пес, бежал мальчик-педераст — показывал дорогу.

Как она и предполагала, у блатных имелся свой проход в мужскую зону. Надо было в одном месте опуститься на коленки и пролезть под колючей проволокой, затем проползти по-пластунски метра два в сторону от нее и только затем подняться во весь рост.

— Сегодня в воротах стоит старшина Гузин, — сказал шепотом Кот, — этого ни за какие башлы не купить. При нем даже Щербатый из зоны не выходит.

Она молча кивнула. В конце концов, даже лучше, что надзирательские жадные глаза не шарили по ее фигуре, разглядывая очередную краля Щербатого.

В зоне Кот тут же исчез, а вместо него возле Ларисы оказались сразу двое: один — длинный, как жердь, с крючковатым носом; другой — короткопалый и кривоногий.

— С благополучным прибытием вас! — церемонно раскланялся длинный. — Как доехали?

— Краля! — восхитился, рассмотрев Ларису в полутьме кривоногий. — Натуральная краля! Везет же Щербатому!

Лариса в тоске оглянулась. До колючей проволоки было метров пять. Если броситься бежать, найти лаз и пролезть в него, то еще можно успеть. Надо только громко крикнуть, чтобы услышал надзиратель у ворот...

Должно быть, разгадав ее желание, оба вора одновременно вцепились в нее мертвой хваткой.

— Брось, девушка, с нами такое не пройдет!

— Только пикни, падло, пасть порву!

Она поняла, что все кончено. Сказала, обреченно понутив голову:

— Пустите, я сама пойду. Куда тут идти?

Ступив на порог небольшого барака, стоявшего отдельно от остальных, невзначай обернулась. Ей показалось, что по ту сторону колючей проволоки белеет платок Оксаны...

Дальше она шла не сама — ее тащили. Она за что-то запиналась и едва не падала, но те, что тащили, поднимали ее и толкали вперед. Боковым зрением она видела, что это обычный барак, правда небольшой, с двухъярусными нарами, на которых сидели и лежали раздетые до пояса мужчины. Некоторые играли в карты, некоторые спали, но, как только она приближалась, картежная игра прекращалась, а спящие поднимали головы. Что они говорили, она не понимала из-за сплошного гула голосов, хлопанья дверей и топота, — кажется, в середине барака кто-то отбивал чечётку — типичный танец тюрьмы. К тем, кто ее силой волок вдоль барака, то и дело подбегали полуголые зеки, но конвоиры пинали их ногами. Но вот за спиной Ларисы захлопнулась последняя дверь, и она оказалась лицом к лицу со Щербатым. «Пахан» сидел, поджав ноги, на сложенных штабелем пяти или шести тюфяках, тасовал карты и смотрел на Ларису. Справа и слева от него сидели еще двое — оба по пояс голые, с бритыми наголо синими головами. Наверное, они только что кончили играть в карты, но уходить не торопились.

— Привет, красючка! — у Щербатого оказался очень тонкий, почти женский голос, а из-за выбитого зуба он слегка присвистывал.

«Так вот почему — «Щербатый»!» — подумала Лариса и увидела Кота. Мальчик что-то делал за висевшей на веревке очень грязной простыней — кажется, устилал постель.

А Щербатый все смотрел и смотрел на Ларису. Потом он что-то негромко сказал партнерам, и те неслышно исчезли, один вправо, другой — влево. Однако Ларисе показалось, что они не ушли совсем, а затаились где-то рядом... Зачем? Неужели они думают, что она способна сейчас убежать?

Ноги ее не держали. Не спрашивая никого, она присела на край нар, на которых сидел на своих

тюфяках Щербатый. Он понял это по-своему и, протянув руку, взял подбородок Ларисы в свою ладонь.

— Долго стойку держать вредно, девочка, могут ножки подогнуться, тогда шлепнешься в грязь... — и крикнул, не оборачиваясь: — Ну, что там у тебя, Котяра? Долго мне еще ждать?

— А все... все давно готово, — залепетал испуганно мальчик, — пожалуйста отдыхать.

Не говоря ни слова, властно и сильно, как какую-нибудь вещь, Щербатый легко поднял Ларису, перенес за занавеску и небрежно бросил на тюфяк. Кто-то — кажется, мальчик — торопливо и неумело раздевал ее, обрывая шнурки и пуговицы. Теряя сознание, она почувствовала вдруг навалившуюся на нее тяжесть, которая душила ее, не давала шевельнуться. Потом она ощутила сильнейшую боль в нижней части живота и закричала и от этой боли вновь пришла в себя и, упершись обеими руками во что-то скользкое, потное, липкое, отодвинула его от себя, но уже через секунду оно снова навалилось сверху, и новый приступ боли отключил ее сознание надолго.

Однако не боль была причиной ее глубокого обморока, а прилив еще невиданной слабости. Если раньше ей все время хотелось есть, то в последние две-три недели чувство голода странно притупилось. За обедом она без всякой жадности съедала свои полмиски баланды и ложку каши, но при этом не испытывала ни сытости, ни голода, ни даже вкуса к тому, что ела. Знающая все, что касалось лагерной еды, староста барака сказала, что с этого времени не Лариса ест пищу, а пища ест Ларису и недалек тот день, когда вкус еды она забудет навсегда...

Сейчас, в чужом бараке, среди полутолых мужчин, жадно на нее глядящих, Лариса вдруг вспомнила слова старосты. Она была одета в свое казенное темно-серое негнущееся платье и телогрейку. Даже ватные брюки и бахилы были на ней. Она не помнила, когда и как оделась и почему в руке оказались зажаты белые трикотажные трусики, разорванные почти пополам и запачканные свежей кровью...

Среди гробового молчания окружавших ее мужчин

она попыталась подняться, но силы снова оставили ее — она легла на спину.

И тут, как по волшебству, перед ней возник черный от копоти алюминиевый котелок, наполненный с верхом слегка остывшей гречневой кашей. Котелок держал в руках тот самый мальчик с нелепой кличкой Кот. И лицо мальчика, почему-то в слезах, и тонкие пальцы его, державшие котелок, были невыносимо грязны, и Ларисе захотелось непременно встать, принести воды и вымыть мальчика. Она вновь сделала движение вперед, но ткнулась лбом в край котелка. От этого неловкого движения вся горка каши, которая была сверху, странным образом перевернулась. Каша упала вниз, на дно пустого котелка, а вровень с краями оказалась круглая фанерка, совсем новенькая, недавно обрезанная по кругу...

Лариса еще не успела сообразить, что случилось, как вокруг раздался хохот множества мужских глоток. Пустой котелок выпал из грязных пальцев мальчика-педераста и покатился по полу, остатки каши серыми опметками налипали на края нар, на колени и пальцы тех, кто хотел рассмотреть представление поближе. Сопровождаемая неистовым хохотом, Лариса, держась за стенки, прошла вдоль всего барака, с трудом отворила наружную дверь и почти упала в подставленные руки надзирателя — старшины Гузина.

— Эк, налопалась! — свирепо произнес он и, взяв Ларису за шиворот, толкнул ее к другому надзирателю — старику Нефедову. Его лицо и лицо Ларисы на секунду оказались совсем рядом.

— Она не пьяная, — сказал Нефедов, — только, похоже, не в себе.

— Сознавайся, сука! — не слушая его, спрашивал Гузин и тряс Ларису за плечо. — С кем пила? Кто поил?

— Да не пьяная она! — уже тверже повторил Нефедов. — Похоже, тут надругались над ей, а потом выкинули. Это все Щербатый энтот проклятый! Скольких бабенок замордовал. Гнать бы его на этап!

— Не твое дело! — свирепо заорал Гузин. — Когда надо, тогда и отправят! — Из барака, как тараканы, разбегались зэки, поймать хоть одного Гузин даже

не рассчитывал, и гнев его обратился на старика Нефедова: — Веди в карцер! — он грязно выругался. — Да из надзорки людей покличь, зараз шмон будем делать, они тут целый шалман устроили!

— Ах ты, беда какая! — жалостливо глядя на Ларису, говорил Нефедов. — Идти-то можешь?

Она отвалилась от калитки, возле которой стояла, прислонясь к ней, и, шатаясь, побрела впереди Нефедова. Сначала она не понимала, куда идет, потом сознание стало проясняться. Позади она слышала жаркий шепот Оксаны и бубнящий старческий голос Нефедова.

— Куда ж ты ее, Никодимыч? — говорила жалостливо Оксана. — Видишь, в чем душа держится! Отпусти! Вот тут... тебе наши бабы табачку посылочно-го собрали.

«Как странно, — подумала Лариса, — Оксана, когда очень волнуется, говорит совсем без украинского акцента».

— Да я бы и так... с радостью. Сам вижу, что плоха, да ведь не положено! Меня уж и так за мою доброту — на свалку скоро со службы...

Пока они сговаривались, Лариса ушла далеко вперед и завернула за угол крайнего барака. И увидела вышку. По форме она была точь-в-точь такая, как возле их дома на заставе в Средней Азии, и Лариса ее не боялась. Она вообще не боялась этих вышек — ведь они ей напоминали детство!

И она пошла к этой вышке напрямик, к той самой колючке, которая была натянута на низкие столбики. Запретка... Для нее она не была запретной никогда — ведь Лариса не собиралась бежать из лагеря, она ждала, что ее освободят, — не могут же они, в самом деле, считать ее отца врагом народа!

Она шла прямо к вышке, и силы ее с каждым шагом как будто прибывали. Под шатровой деревянной четырехскатной крышей на высоте пяти метров было темно, но она видела крохотный огонек папиросы. И еще она слышала пение. Пел молодой киргиз, она разобрала некоторые слова. Да, это та самая пограничная вышка, и на ней — пограничник, подчиненный ее отца!

Она легко перешагнула низко натянутую проволоку и по вспаханной земле запретки пошла к вышке.

И услышала всполошенный крик надзирателя Нефедова:

— Куда ты, чумовая?! Назад! Назад!

Пение на вышке прекратилось, кладнул затвор карабина.

— Ложи-ись!! — что есть силы закричал Нефедов и сам зачем-то упал на землю.

Сорвав с головы белый платок, Оксана на бегу размахивала им над головой и кричала:

— Не тронь ее! Не стреляй! Миленький хлопчик, прошу тебя!

Он выстрелил без предупреждения. По уставу. А поскольку нарушительница запретки была в нескольких шагах от бревенчатой стойки вышки, то получилось — в упор. Сверху он видел, как кто-то упал лицом в землю, потом медленно перевернулся на спину. Для верности сын киргизского народа и послушный служака выстрелил еще раз...

Хоронили Ларису как остальных — раздетой догола с биркой на большом пальце левой ноги. Из мертвецкой, куда она попала после запретки, ее вывезли на телеге вместе с двумя то ли подростками, то ли дистрофиками-мужчинами. На вахте дежурный надзиратель еще раз обыскал телегу — железной пикой ткнул по разу каждого покойника, перевернул на спину, — бывает, под мертвыми притаится живой беглец, — махнул рукой вознице.

Ров, куда до весны, чтобы каждый раз не закапывать, сбрасывали покойников, находился далеко за поселком, позади свалки, возле небольшой рощицы. Развернув лошадь, возница-бесконвойник подпятил телегу к краю обрыва и отвернул передок. Оставалось только слегка приподнять плечом край телеги — и мертвецы, как головешки, сами покатаются вниз. Однако вместо этого он расстегнул на груди бушлат, достал из-за пазухи помятый, спитый из красных лоскутов цветок на проволочной ножке и деловито прикрепил его к ноге той, которая казалась ему женщиной. Потом подумал, отвязал снова и привязал его уже к руке убитой — привязывать рядом с биркой показалось ему неправильным.

Потом он поддел телегу плечом, она накренилась — мертвецы, шурша, скатились по крутому склону вниз и там обо что-то глухо стукались бритыми головами. Наверное, о камни. Потом он не торопясь развернул лошадь, сел в телегу и закурил. Пробуя табак, удивленно покачал головой:

— Не омманула хохлушка: добрый табак, — куря, он иногда косился на невидимое отсюда дно карьера, — небось сама делала цветочек-то. Чудно, однако: на кой он мертвой-то? Вот через месяц придут бульдозеры, энтот карьер заровняют, другой выроят, и не будет видать ни цветочка ентого, ни самой покойницы. Но, драная! Собаки б тебя жрали! Поехали, однако: солнышко высоко, обед скоро... Но-о-о!

С тех пор как Вечный Зэк, как его называли в зоне, начавший хождение по лагерям еще при дедушке Ленине, почти оглох от простудной болезни, он разговаривал только сам с собой. Ну, разве иногда еще со своей кобылой, которая, он подозревал, тоже была глухая...

* * *

Итак, я ехал обратно в Минск еще на одно следствие, прекрасно понимая, что ничего нового оно мне не даст. Не пришло еще время отпускать нашего брата на свободу, не завершены еще Великие Стройки коммунизма, запланированные компартией и рассчитанные на наши руки — молодые, сильные и бесплатные, не подросла еще наша смена — молодые рабы страны Советов.

К счастью, в лагерь я попал не от родной мамочки. Почти пять с половиной лет армейской службы, включая войну, подготовили нас к лишениям, кроме того, для меня лично лагерь оказался хорошей школой, если не университетом. Лишних предметов мне не преподавали, зато необходимые — сначала для прозрения, затем для общего развития — преподнесли полностью, без купюр, умолчаний и обычного для советского просвещения ханжества. В лагере зэки группируются, как правило, согласно интеллекту: умному среди дураков жить тяжело. Находясь в од-

ном бараке с профессорами и докторами всевозможных наук, волей-неволей получаешь от каждого понемногу, что в сумме составляет некую часть различных курсов университета. Если к этому прибавить целенаправленные «лекции» о революции, гражданской войне и партийном строительстве соратников Ленина, Дзержинского, Троцкого и прочих вождей, да приплюсовать сюда же рассуждения прозревшего наконец-то бывшего работника ЦК, да влить в поток информации откровения крупного разведчика да воспоминания нескольких десятков белоэмигрантов — ученых, офицеров, интеллигентов, — то просто грешно говорить, будто в лагере я терял время попусту.

Учась в университете, человек затрачивает на учебу шесть лет, но много теряет на студенческих попойках, девочках, женитьбах. Я был лишен удовольствий, но зато и потерь времени. Скудное питание, конечно, не веселило, но я помнил, что в мире есть люди, добровольно обрекающие себя именно на такую жизнь, — монахи. К тому же занятия литературой радовали и вдохновляли меня. Еще в одиночке Минской тюрьмы я уверовал в свое призвание и стал жить ради будущего.

Последний этап в Минск, встречи с обитателями тюрьмы использовал для накопления литературного багажа, следствие же и третий по счету военный трибунал воспринимал как досадную задержку и совершенно сознательно стремился обратно в лагерь.

Вероятно, другой бы на моем месте мечтал об освобождении, но я, хорошо подготовленный моими учителями, уже знал о железной необходимости для советской власти существования концлагерей и не строил иллюзий насчет досрочного освобождения.

Через неделю после заседания военного трибунала меня отправили на Восток, в Красноярский край, с тем же сроком. До его конца оставалось больше пяти лет.

Но случилось непредвиденное: я вышел на свободу раньше. 5 марта 1953 года умер вождь всех народов товарищ Сталин, и наши дела начали пересматривать.

Глава седьмая

ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО

*И обретешь
милость и благоволение
в очах Бога и людей.*

Книга притчей Соломоновых,
гл. 3, ст. 4.

Очень многие сибирские поселки обязаны своим развитием или даже рождением советским концлагерям. Поселок Решеты возник на базе лагеря в начале тридцатых. Через три года таких лагерных пунктов в системе Краслага было уже шесть, а еще через десять лет — 23 ОЛПа, имевших, в свою очередь, по несколько подкомандировок с количеством эков от ста до пятисот человек.

Советский концлагерь — это экономически независимое образование со своей администрацией, сельским хозяйством, промышленностью, иногда весьма мощной, вооруженной охраной, а также штрафными лагпунктами, БУРа¹ и карцерами для тех, кто не хочет трудиться на благо любимой Родины.

¹ Барак усиленного режима.

Если начальника всего Краслага принимать за заместника государя императора в данном регионе Сибири, то начальники ОЛПов будут удельными князьями: могут сгноить заключенного в шахте, умертвить непосильным трудом на лесоповале, уморить в штрафном изоляторе или, наоборот, послать его на УП¹, ОП² или положить в больничку на лечение. Каждый такой начальник имеет в подчинении начальников поменьше, те набирают помощников, которые тоже изображают из себя начальников.

Еще древние заметили: на свете нет более беспощадного надсмотрщика, чем бывший раб. Система эта, доведенная до совершенства, казалась вечной. Как некогда вечным казался Рим. Но пробил час, и система рухнула. Как некогда рухнул Рим.

Крушение началось 5 марта 1953 года. Стоял солнечный, довольно теплый для Сибири день. Согнанные к вахте, мы курили и слушали радио. На вышках дежурили пулеметчики. С крыши свисали сосульки, малолетки отламывали их и бросали в спины надзирателей, когда те отворачивались. Потом нас снова загнали в бараки и не выпускали до следующего утра. На вышках по-прежнему стояли пулеметы.

А музыка играла и играла, и казалось, ей не будет конца. Когда она ненадолго умолкала, мы слышали выступления известных писателей и поэтов. Они клялись в любви к великому покойнику и верности идеям коммунизма. Некоторые рыдали прямо в микрофон.

А мы, запертые в бараках, плясали под траурные марши, и гнилые половицы трещали под нашими сапогами.

Потом двери отперли, мы взяли в руки поленья и пошли в третий барак. На глазах перепуганных придурков³ набили морду нарядчику, повесили за ноги стукача и, развалив зачем-то печь, отправились в

¹ Усиленное питание.

² Особое питание.

³ Вся обслуга из эков, включая музыкантов, каптерщика, поваров, помощника нарядчика, бухгалтеров, дневальных.

шестой барак, где кирпичом проломили голову «пахану», вымазали дерьмом его главного телохранителя и ссучили его, загнав в запретку.

Кто-то сорвал в клубе портрет Сталина, висевший там много лет, и сжег его прямо на сцене, правда без свидетелей...

На этом наши выступления закончились. Все начало понемногу стабилизироваться: из больнички вышел «пахан» и стал снова прибираться к рукам разболтавшийся ОЛП, с вышек наконец сняли пулеметы, возобновила свою работу КВЧ. Нам объявили, что, по-видимому, наши дела в ближайшее время начнут пересматривать и что нам надо лучше работать, потому что тех, кто сачкует, освобождать не будут.

Так, в ожидании чего-то лучшего, прошло полтора года. В конце августа 1954-го мне выдали долгожданный пропуск для следования на «объект» и обратно без конвоя. Сначала этим «объектом» стала для меня пожарка, затем поселковая баня, где я должен был работать истопником.

Всякую радость полагается обмывать. Я дал денег надзирателю, он сбежал в магазин и принес бутылку водки. Мы выпили с дневальным клуба, где я некоторое время работал художником и где теперь будет работать другой, объяснились друг другу в любви и легли спать каждый в своем чулане. В пять утра мне предстояло отправляться на свой «объект».

Дневальный клуба бывший власовец Голубов мог спать спокойно: из отмеренного ему срока в двадцать пять лет он отбыл только шесть.

* * *

В поселке Решеты — административном центре комендантского ОЛПа № 5 — жило много бывших эков. Одни зарабатывали на билет до Москвы и нормальные шмотки, другие успели «поджениться» и уезжать не торопились.

Многих я знал еще по лагерю. Среди них встречались «повторники». Теперь их вроде бы освободили окончательно, во что сами они верили плохо. Жили по-разному. В таежном поселке трудно найти рабо-

ту даже молодому, с железными мускулами, и «повторники» устраивались посудомойками, ассенизаторами, ночными сторожами, грузчиками. Престижными считались должности рабочего в магазине, банщика и конюха на продбазе.

По вечерам все бывшие зэки собирались у Счастличика — бывшего драматического артиста Валентина Басова, отсидевшего в лагерях девятнадцать лет и женатого теперь на поварихе столовой Ульяне Никитичне, у которой в Решетах имелся свой домик. Как выяснилось, она долго присматривалась и наконец выбрала себе мужчину тихого, культурного, не слишком пьющего и не очень старого. До того, что он был когда-то артистом, Ульяне Никитичне не было дела. Женщина обстоятельная, строгая, она концертов никаких не смотрела, считая это пустяками, и даже в кино ходила редко, предпочитая лишний часок поспать.

Басов нравился ей высоким ростом, гордой осанкой — даже лагерь не согнул его — и удивительно легким характером. Товарищи собирались к нему не для пьянки — такого бы Ульяна Никитична не потерпела — а поговорить, попить чайку. Не знала добрая женщина главного: собирались бывшие зэки, чтобы послушать радио «из-за бугра». Почти полгода Басов собирал приемник, и собрал-таки... Обитал он в переделанном своими руками чердаке, именовавшемся теперь мезонином. Внизу, при включенном громкоговорителе крепко спала хозяйка, а на чердаке до глубокой ночи, а то и до утра кучка мужиков слушала далекий голос. В глухом сибирском поселке самыми желанными вдруг стали не газеты, а «вражьи голоса», и особенно «Радио Свободы», летом 1954 года впервые вышедшее в эфир. Конспирация была как у блатных, когда они тайно, под полом, оттачивают свои страшные пики для кровавых разборок.

Расходились обычно по приставной лестнице через сад. За слушание вражеских голосов давали срок. Но так уж устроен интеллигент: дай ему сытую жизнь, легкую работу (или вообще никакой), но запрети общаться с себе подобными — и он умрет, как умирает муравей, изолированный от своих собратьев.

И потом, ничто так не сближает людей, как общие страдания, и ничто так не проверяет на порядочность, как лагерь.

Самым молодым в этой компании был я. Едва приступил к должности истопника, как был вызван к начальству и получил другое назначение — строить культурный центр славного поселка Решеты. Логика проста: раз ты художник, должен знать и архитектуру. Все было бы правильно, если бы я хоть немного учился на художника... Узнав о таком капризе начальства, я целый час пребывал в шоке, а на второй уже беседовал с бригадиром плотников, присланных в мое распоряжение. Иван Николаевич Затулый прекрасно понимал ситуацию.

— Та ты не бийсь. Хлопцы у меня уси работящи, на львивщине та на кывивщине хоромы робили без единого гвоздя, а це им сробить — як мени... Ну, та що там, не бийсь! — Перед тем как уйти, сказал о главном: — Кажить там начальству, нехай моим хлопцам дозволит йисты в гетой столовой, бо гонять их на обид до ОЛПу та обратно — тильке время терять.

Все было правильно, но я не знал, как это сделать. Оказалось, Затулый предусмотрел и это. Едва я заикнулся насчет его просьбы заведующему клубом капитану Пронькину, как тот сказал:

— Вот и дуй с этим к Монахову. Тебя он выслушает, а меня... — тут он употребил лагерное выражение.

Начальник ОЛПа полковник Монахов сам вызвал меня в тот же день — стройка была объявлена ударной.

— Бригаду получил? — По старой чекистской привычке полковник сверлил меня взглядом. — Приступай к работе, а в шестнадцать ноль-ноль будь у меня на совещании вместе с Затулым.

От изумления у меня отвисла челюсть. Монахов усмехнулся.

— Ничего, привыкай. К специалистам у нас отношение особое. Насчет режима: внизу подойдешь к дежурному, он сделает отметку в твоём пропуске, будешь приходить ко мне с докладом в любое вре-

мя. А также с просьбами и жалобами. Последнее желательно пореже...

— А можно прямо сейчас?

— Жалобу?

— Просьбу.

— Валяй, только покороче.

Я изложил просьбу Затулого.

— С завтрашнего дня будут питаться в подсобке, а теперь иди.

В вестибюле меня ждал капитан Пронькин.

— Ну, что он? Лютовал?

— Лютовал. Сказал, что этим должны заниматься вы, а мое дело — строить. — Я пьянел от собственной наглости. Пронькин снял и тут же надел фуражку, лоб его мгновенно стал мокрым.

— Хрен его поймет, это начальство: то орет, чтоб на глаза не показывался, то, чтоб сам доложил. Мне что, прямо сейчас к нему идти?

— Сейчас идите в столовую, скажите заву, чтобы сегодня бригаду покормили из остатков, завтра привезут продукты с ОЛПа.

Он поплелся в столовую, а я еще немного задержался на ступеньках Управления. Интересно, какой втык мне дадут за вранье? И еще: раз уж меня произвели в архитекторы, так пусть как можно больше людей увидят меня здесь, не то ковыряющим в зубах после обеда в офицерской столовой, не то просто греющим на солнышке.

* * *

Среди посетителей басовского «мезонина» самыми заядлыми были: художник Иван Туманов, получивший срок за то, что на казенных портретах изображал членов Политбюро такими, какими они были в жизни, без прикрас; бывший политрук Александр Меляев — осужденный за то, что в сорок втором году, будучи ранен, попал в плен; архитектор Александр Александрович Вахромеев — сын богатого ярославского купца; моряк Петр Булкин, спевший в кубрике эсминца «не ту частушку», и я — бывший солдат доблестной армии-освободительницы.

С той минуты, когда я по приставной лесенке взобрался на чердак Ульяны Никитичны, слушающих радио «Свобода» стало двенадцать.

Не могу вспомнить, что именно передавали в тот вечер из Мюнхена, но зато отлично помню обстановку, царившую на чердаке. Длинный, худой, похожий на кузнечика, в лагерном бушлате и женских тапочках Валентин Басов колдовал над приемником; красавец Туманов, недавно «подженившийся» на вольняшке, полулежал на топчане; возле него, согнувшись пополам из-за тесноты, примостился Сан Саныч Вахромеев, а возле двери «на атасе» застыл Сапка Меляев, по прозвищу «Жак», — в лагерной самостоятельности он был клоуном, — далее, вдоль стен, все остальные участники сходки.

А приемник трещит, шипит, захлебывается. Припав к нему волосатым ухом, Счастливчик плавно вращает ручки настройки. Время от времени он выпрямляет спину и стряхивает с себя тела друзей.

— Не наваливайтесь, суки!

Бывшие зэки молча отстраняются, чтобы через минуту навалиться вновь. Еле слышный голос диктора то прорывается сквозь вой глушилок, то снова пропадает: «...политика Сталина довела страну до полного обнищания...»; «В советских концлагерях томятся миллионы ни в чем не повинных граждан».

Слушатели вздыхают, перебрасываются взглядами. Разговаривать здесь запрещено: трудно предположить, чтобы в поселке, где половина жителей — бывшие зэки, плохо работали «оперы». Скорей всего, компания Счастливчика уже на крючке.

— Узнают, чем мы тут занимаемся, — сказал он, — тогда — «по тундре, по железной дороге...»

— Нужна ширма, — сказал Жак, — лучше всего — пьянка. За нее не посадят.

— Алкашей среди нас нет, — отрезал Басов, — пьющих трое: ты, Ванька Туманов и Петро. Ну, разве еще я... У остальных гипертонии, язвы, геморрой. И еще принципы, — тут он посмотрел на меня, — думаете, они все это не просчитали?

Все замолкают и смотрят на занавешенное окно. Что за ним? Притаившийся в палисаднике стукач? Облава?

А далекий голос из Мюнхена продолжает: «Захватив власть, большевики сразу взялись за перевоспитание граждан в духе коммунизма, то есть за превращение свободных людей в рабов. Преступники во главе с Лениным и Троцким лишили Россию даже тех немногих свобод, которые были выстраданы русским народом». И далее: «Российское общество, в подавляющем большинстве, не было готово к демократии. Россия — страна монархическая, основной принцип — всякая власть от Бога...» И еще, сквозь вой глушилок: «...к власти пришли, потеснив интеллигенцию, бродяги, арестанты, каторжники, дезертиры. В своих планах Ленин мог опираться только на них — его соратники для таких мокрых дел не годились». «Места уголовников на тюремных нарах очень скоро заняли сподвижники вождя, идейные вдохновители переворота, интеллигенция, священнослужители и, разумеется, доблестное офицерство, перешедшее на службу к большевикам. Ленин не доверял никому. Он понимал, что образованные люди очень скоро поймут лживость большевистских лозунгов...»

Несмотря на скудное освещение, многие записывали.

— Зачем вы это делаете? — спросил я.

— У нас в зоне остались друзья, — пояснил Вахромеев, — вот для них... — Сан Саныч возил в зону стройматериалы для ремонта бараков. Туманов ничего не записывал, но запоминал все; Жак, похоже, владел стенографией; остальные старались запомнить.

Работы по строительству нового поселка шли полным ходом, и меня то и дело вызывали к полковнику Монахову. Числившийся начальником строительства капитан Пронькин старательно увиливал от дела, пока не оказывался между двух огней: не достанет экама чаю или водки — будут работать спустя рукава, не подвезут вовремя кирпич, цемент, доски — будет иметь дело с Монаховым. Каждое утро Жора — так звали Пронькина — встречал меня упреком:

— Опять настучал начальству? Стараешься, стараешься...

— Вы забыли про гвозди, из-за этого полдня не работали. Обещали же!

— Обещал, обещал... Думаешь, припасли их для нас?

— Но ведь требование подписано три дня назад!

— Подписано, подписано... Кроме бумажки, кладовщику надо бутылку.

— А две ему не надо?

— Нет, просил одну.

— Будет ему бутылка! — я начинаю застегивать куртку. Это означает: иду к Монахову. Жора пугается.

— Ну чего ты сразу?! Я и сам знаю, что надо. Улажу. — И едет на базу.

Сибирская зима наступает рано, всегда в одно время, но почему-то для всех неожиданно. В конце августа полетели «белые мухи», а главное здание будущего клуба еще стояло без крыши. Начался всеобщий разнос. С Пронькина пообещали содрать погоны, меня до конца срока запереть в зоне. Жора пугался, а я не возражал: все равно не справлюсь. Что я знал по архитектуре? Разве то, что какой-то Микель-анджело в каком-то городе возвел какой-то храм? Но свет не без добрых людей. Как-то Вахромеев сказал:

— Приходи. Такие дела без науки не делаются.

Жил он в комнатке над конюшней, именовавшейся, как и в лагере, «кабинкой». Внутри было опрятней, чем у Счастливого: на кровати лежало чистое крахмальное белье — как выяснилось, давняя мечта Вахромеева — шесть полок сплошь уставлены книгами, в воздухе аромат натурального кофе. Первое, что сделал Сан Саныч, выйдя на свободу, это купил кофемолку. Так и ходил с ней, пока не поселился в этой кабинке. Вскоре здесь стали появляться книги. Вахромеев скупал их у лагерных библиотекарей, надзирателей и у самого начальника КВЧ — любителя выпить. К чести Вахромеева, на приключенческую литературу, особенно любимую эками, он не покушался, а скупал классику и справочники.

Лагерные библиотеки создавались на пятьдесят процентов из личных библиотек «врагов народа» и были значительно богаче и серьезнее районных. В лагере я читал Мандельштама, Есенина, Бунина, Мережковского, Гиппиус, Аверченко, в поселковой библио-

теке мне предложили прочесть «Как закалялась сталь»...

Кроме крахмального белья и кофе у Вахромеева имелась еще одна слабость — старый мерин, по кличке «Спокойный», чистокровный першерон. Сейчас ему лет пятнадцать—восемнадцать. Это исключительно добросовестный и умный конь. На вывозке на него клали немислимый для других лошадей груз — более двенадцати «кубов» — и он вез. Только недавно его перевели наконец на легкую работу. С Вахромеевым они давние знакомые. Когда-то бывшего архитектора — тогда еще не старого зэка — обменяли на этого самого коня: начальнику одного из ОЛПов понадобился архитектор, а у другого не выполнялся план по вывозке леса... Встретились они через много лет, в Решетах, человек и конь, укатанные крутыми горками.

При немошной плоти мозг Вахромеева каким-то чудом сохранил молодость. Он помнил сложные формулы, на память цитировал классиков и читал мне целые поэмы наизусть. Он учил меня всему, что знал сам, в том числе и строительному черчению. Ради меня заказал в столярке чертежную доску, раздобыл где-то ватман и старенькую готовальню.

Построить и обыкновенный дом для человека несведущего дело трудное, я же нацелился строить дворец с колоннами, балюстрадой и красивым портиком, а зрительный зал с ложами, балконом, лепным потолком и живописными фризами. Узнав, что мой замысел пришелся по вкусу начальству и что Монахов обещал разориться на дорогую люстру и бра, Вахромеев загорелся. Постепенно под его руками рождался сказочный дворец, который я не раз видел во сне.

— Удивительно устроен русский человек, — говорил он в редкие минуты отдыха, — ведь, если разобраться, ни тебе, ни мне этот дворец не нужен. Ты освободишься — и уедешь, моего имени вообще никто не узнает, так что это даже не тщеславие. Хотя у нас обоих это первая серьезная работа: я ничего не успел — рано посадили, ты только начинаешь, — значит, у меня это «лебединая песня», а у тебя — запев.

Концы его пальцев были сильно утолщены. «Повторники» говорили, что в тридцатых годах на Лубянке была мода загонять подследственным под ногти гвозди. Вахромеев подтвердил:

— Мне еще повезло, а многих просто уродами сделали. Одного священника помню... Так они же его кастрировали! Вообще, на выдумки были горазды. Особенно один, рыжий, веснупчатый, с длинными обезьяньими руками. Случайно узнали: бывший буденовец. Его командир на допросе признал. «Петруха, — говорит, — да что же это ты со мной делаешь? Мы же с тобой вместе за советскую власть бились в одном строю!» А тот ему: «В одном строю, да не в одну струю» — и кулаком вышиб своему бывшему комбригу зубы.

Узнав, что бригада Затулого делает по две нормы в день, Сан Саных пояснил:

— Вдохновение, а не плеть заставляет человека создавать шедевры. С помощью плетей строятся пирамиды, а вдохновение рождает Венер Милосских.

Кто-то из моих плотников придумал вытачивать базисы колонн на обычном токарном станке, зажав в руке стамеску. Тут же стамеску заменили специальным приспособлением. Монахов увидел, похвалил:

— Сколько этому изобретателю осталось париться у нас? — Ему ответили: больше восьми лет. — Многовато, растеряет себя, а жаль: он настоящий изобретатель.

Монахов по образованию инженер. Сначала к моей затее окружить Дворец сплошной колоннадой отнесся скептически, но, когда увидел первую колонну, согласился:

— Ладно, оставим после себя след... Только пазы во всю длину — зачем? Дорого.

— Это каннелюры, — вспомнил я уроки Вахромеева, — на коринфских колоннах полагается. Создают игру света и тени, имитируют дождь. С дождями у них было плохо.

— У кого это?

— У греков. Да и у римлян тоже.

— Ну, чернушники! Провозитесь со своими греками, влетят они в копеечку. А у меня баня не достроена! Ладно, валяйте, лучший с вами.

Как ни был Сан Саныч увлечен этой работой, не забывал и «мальчиков» в зоне, возил им свои записки. Но попался не он, а Туманов. 2 сентября в людных местах поселка появились написанные от руки листовки. Жители сами сдирали их с заборов и относили «куда следует», предварительно прочитав...

Сначала проверили меня: заставили написать заявление на допнаек для моих бригадников. Я написал. Через день срочно понадобилась моя автобиография. Одновременно со мной проверялись еще двое — тоже художники-самоучки. 9 сентября арестовали одного, но вскоре выпустили и снова вернулись ко мне. Уже без чернухи приказали переписать одну из листовок. Едва взглянув, я узнал почерк Туманова. В листовке излагалась передача радиостанции «Свобода» недельной давности. Я переписал со всей тщательностью. Проводивший расследование майор выругал помощника: надо было диктовать!..

Туманова взяли с поличным спустя два дня: как ни в чем не бывало, расклеивал свои листовки на тех же местах. В свидетелях недостатка не было: народ как раз возвращался из клуба... В «мансарде» поднялась паника. Каждый говорил, что Туманов не выдаст, и каждый вспоминал свое следствие и допросы...

— Между прочим, я признался, что был польским шпионом, — вспомнил самый старый из «повторников».

Посмеялись невесело, помогли Счастливику спрятать приемник, раскупорили бутылку «Перцовой»: кто знает, где каждый будет завтра...

— Слушайте сюда, пацаны, — сказал Счастливчик. — Если у кого еще что-то осталось, голову оторву. Сан Саныч, к тебе это особо относится: сам погоришь и нас потянешь. Сожги немедленно!

— Не враг же он сам себе! — сквозь кашель прогудел Булкин.

Помолчали, слушая ночь.

— Сюда пока не ходите, — сказал Басов, — когда уляжется, сам позову. — Он поднялся, упираясь плечами в потолок, словно ему сделалось душно и он пытался поднять крышу...

Из всех привилегий, подаренных мне Монаховым, я особенно дорожил правом возвращаться в зону поздно вечером. Необходимость этого я объяснял тем, что мой помощник — так мы называли Вахромеева — кончает работу в шесть и к чертежам садится после семи. Мне доверяли, но проверяли: не раз в конюшне появлялся колченогий вертухай Пашка, уволенный из вохры за связь с зэчкой. Уволенному тоже как-то надо жить, и Пашка зарабатывал на жизнь стукачеством.

— У тебя, Сан Саныч, табачку не найдется? Забыл днем купить, а сейчас Зинка-стерва ларек не открывает...

Курево Пашка забывает покупать систематически. Вахромеев платит эту дань безропотно, для него каждый вольняшка — по-прежнему начальник.

— Тебя спасает, что ты не бабник, — говорит он мне, — застал бы Пашка с какой-нибудь шмарехой, враз бы законвоировали. И чего они так о нашей морали пекутся? Кстати, почему ты не бабник? Парень молодой, здоровый, девки на тебя поглядывают...

— Освободится, свое возьмет, — подал голос Пашка, опять оказавшийся рядом, — у тебя, Сан Саныч, как насчет табачку?

Пашка берет дань не с одного Вахромеева, но с него — только табаком. Что взять с конюха? Другое дело — художник, пишущий маслом портреты вольняшек. Однажды сунулся ко мне за «пятерочкой». Я полез в карман, а вынул оттуда... кукиш.

— Но, ты! Зэк сраный! — возмутился Пашка. — Гляди у меня!

Я понимал, что с другим бы он не стал церемониться, но меня запросто принимает сам Монахов...

Пашка не одинок. Отношения вольняшек к бывшим зэкам, и тем более бесконвойникам, такое же, как в древнем Риме к рабам: патриции не замечают, свободные граждане могут похвалить за хорошую работу, даже не погнушаются выпить за наш счет, но стена, воздвигнутая Системой между этими сословиями, от этого не рухнет. Каждый вольняшка считает

себя на голову выше. В Великой Книге Будущего, заветной ГУЛАГу его создателями, наши имена должны вечно храниться в разных папках.

— Ты с ним поосторожнее, — говорит Сан Саныч, — говнист не в меру, шуток не понимает, а такие особенно опасны.

— Наши дела уже пересматривают, — говорю я, — теперь уж недолго...

Сан Саныч недоверчиво качает головой. Его лагерный опыт не зафиксировал случаев, когда бы радостные слухи сбывались.

Предупреждая меня об опасности, он все время забывал о себе. Зная, что идет расследование, продолжал возить в зону крамолу. Не довольствуясь радиопередачами, записывал и собственные мысли.

— Они, Сереженька, знают не все. Мы с тобой знаем больше. Например, то, что коммунизм у нас уже построен. Ну что ты устался на меня? Я же не говорю, что на всей территории! Пока — отдельными очагами.

— Лагпунктами, что ли?

— Конечно. Наши вожди опять экспериментируют. Народ не догадывается, а мы видели. Вот он, за теми вышками. Зона! «От каждого по его способностям, каждому — по потребности». Все укладывается как нельзя лучше, если то и другое будешь определять не ты сам, а специально для этого назначенные люди. В данном случае, лагерное начальство. Соответствует учению Маркса! В лагерях нет денег — они просто не нужны, нас одевают, кормят, моют в бане, показывают кино — какое надо! — лечат, когда мы доходим. Единственно, что не соответствует учению, так это то, что наших «коммунаров» гонят на работу палками. Но это уже мелочи, главное — есть основа. Заложена еще в семнадцатом.

— Вы что же, и по этому вопросу просвещаете своих «мальчиков»?

— По мере возможностей. Кстати, молодой человек, все начинается с основоположников.

Были дни, когда ему становилось совсем плохо. Мы выходили из конюшни и подолгу стояли возле южной стены — здесь было теплее. Прямо перед нами барак, напоминавший нам обоим лагерь. Теперь в

нем живут рабочие лесопилки с семьями, в основном тоже бывшие зэки, и барак, если присмотреться, бывший лагерный, и весь поселок — типичная зона с ровными рядами бараков, клубом-столовой, баней и кипятилкой. Неудивительно, что Монахов — человек здесь новый — торопится поскорее построить другой поселок, не похожий на прежний.

— Осуждаю я нашу интеллигенцию, — отдышавшись, говорит Вахромеев, — всех, кто с первых дней зарождения лагерей вкалывал, и тех, кто вкалывает теперь. Запомни, Сережа, наши концлагеря создал сам народ! Только в России возможно такое. Большевики придумали Соловки — пробовали: пойдет — не пойдет. Пошло. Создали Беломорканал — уже крупнее. Опять пошло. Они нащупывали пути развития экономики, прекрасно понимая, что традиционные пути развития государства не для их системы. И нашли: подневольный труд! Думаешь, они сажали врагов народа? Чепуха. Они сажали сам народ! Врагов они давно уничтожили, а с народом экспериментировали. Сначала срока давали небольшие, призывали «исправляться». Те, кто побывал на Соловках, рассказывали, какие грандиозные спектакли устраивали там для приезжих знаменитостей. Даже Максим Горький попался на их удочку, описал жизнь зэков чуть ли не как сплошной праздник. А может, сам боялся, кто знает... После Беломорканала арестанты повалили тучами. Уголовникам по-прежнему давали маленькие срока: на них где сядешь, там и слезешь, а нашему брату не повезло. Интеллигенция, конечно, поняла все с самого начала, но — вкалывала. Каждый хочет жить. Но ведь именно с интеллигента дерут три шкуры! С них и простых мужиков! «Великие стройки коммунизма» — руками рабов! Каково? Сколько построили и еще сколько построят? Для кого? Для себя. Для избранных. Определили раз и навсегда кому жить, а кому... — Он закашлялся долгим нудным кашлем. — Проклятый катар!

— Где же выход, Сан Саныч? Похоже, его нет.

— Да нет, выход есть... — он замаялся и продолжил с неохотой: — Выход, конечно, есть, да только не все его принимают. А ведь всё очень просто: не

повторять ошибок предшественников. Тех самых, которые давно уже там... — он махнул рукой в сторону старого лагерного кладбища. От поселкового оно отличается размером и тем, что над могилами нет надгробий. — Теперь в отдельные могилы кладут, а до войны и долго после — только в братские, сиречь в яму. Ну вот скажи: чего они добились?

— Кто?

— Да те, что там лежат? Вкалывали, вкалывали — кто восемь, кто десять — а что получили? Креста и того нет. Между прочим, урки не вкалывают! Бились с ними, бились, и уговаривали, и морили — так ничего и не сделали. Пришлось узаконить. Как видишь, перед настоящей стойкостью даже большевики отступают. Я не идеализирую блатных — боже сохрани! Их стойкость, в конечном счете, за счет нас, но представь на миг, что все мы вместе отказались работать! Что получится!

— Пробовали уже. Постреляют — и всё, либо измором возьмут. Вы правильно сказали: человек жить хочет.

— Вот вот! Именно! Хоть на коленях, хоть вечно в голоде, хоть в крепостных у Пашки-вертухая, хоть год, хоть два... О других он не думает, даже о собственном сыне — тот тоже здесь будет. Когда подрастет. Потому как — корень один. Намечен к уничтожению до десятого колена... Да, слаб сын человеческий. Особенно если в душе нет Бога, а есть желудок, требующий пищи. Вот ему, желудку, и служит... Ах, как все у них продумано! Даже это: сначала лишили Бога, отвернули человека от него, потом подчинили себе через плоть голодную. Гениально! А насчет того, что, если все откажемся, постреляют, — верно лишь наполовину. Конечно, погибнут многие, но зато, возможно, исчезнут лагеря — это страшное порождение ленинизма. Лагеря существуют из-за того, что большевики не хотят платить настоящую плату за работу. Хотят, как в древнем Риме: сами властвовать и жизнью наслаждаться, а других заставлять на себя работать. В этом, а не в надуманных «врагах народа» корень наших лагерей. А впрочем, читайте Ленина, юноша. Наша беда в том, что мы его читали

невнимательно, а ведь он, по сути, ничего не скрывал. Кстати, у меня есть почти все его произведения, изданные при его жизни. Не хотите почитать? Напрасно. Очень серьезные мысли.

— Поостереглись бы, Сан Саныч. Знаете ведь, что они с вами сделают, если услышат.

— Христос тоже знал... — загадочно ответил Вахромеев.

* * *

Возвращаясь в «мезонин», я еще в сенях услышал, как читает бывший артист драматического театра:

И блеск, и тень, и семена свободы
В мир унесут копыта их коней.

Слушателей в этот раз было двое: Петр Булкин и Жак Меляев, остальных распугал арест Туманова. Говорили, его содержат на пятом ОЛПе, в БУРе.

— Ну, как там, больше никого не взяли? — спросил Счастливчик. Похоже, он еще не вылезал из своей «мансарды».

Я пожал плечами и потянулся к баку с водой.

— А на тебя запрос поступил, — вдруг сказал Меляев, — дело затребовали, пересматривать будут.

Ковш с водой дрогнул в моей руке. Хоть выдержкой Бог не обделил, да и слухи были уже не слухами, но, когда касается самого себя, хоть какие нервы не выдержат.

— От кого узнали?

— Люська-машинистка сказала.

Воцарилось молчание. Стало слышно, как внизу, в «чистых комнатах», тикают на стене ходики.

Люська, о которой шла речь, работала на пятом ОЛПе — моем «родном» ОЛПе, за которым я числился, куда каждую ночь должен был возвращаться на ночлег и с которого только меня могли освободить.

— Надо бы отметить, — прогудел Булкин, — полагается.

— Рано, — отрезал Счастливчик, — сглазить можно. Ты вот что, сходи сам к Люське и всё разузнай. Она тут недалеко живет.

Где живет Людмила Филатова — маленькая блондиночка с кукольным личиком, я знал не хуже других. Освободившиеся с пятого ОЛПа сначала кидались на женщин и лишь после — на жратву и выпивку. С ней жили обычно неделю, потом уезжали. Но проституткой она не была, просто ей очень не везло с замужеством.

На мой звонок она открыла сразу. Стояла в прихожей, не зажигая света.

— Знала, что придешь. Извини, у меня не убрано...

— Скажи, Люся, это правда? Ну, то, что меня... мое дело...

— Правда. Мы готовили на троих, но тех двух, — она назвала фамилии, — не пропустила надзорслужба. У одного побег, у другого неподчинение надзирателю.

Мое сердце трепыхнулось и ушло в пятки.

— Но у меня же... Люся, у меня же два побега!

Она ответила не сразу. Стояла, думала.

— Видишь ли... В общем, так уж вышло: побегов за тобой не числится. Когда ты прибыл с этапом на наш ОЛП... Помнишь, осенью позапрошлого года? И вас обыскивали у вахты...

— Да, у меня тогда еще рукопись отобрали, а потом в карцер посадили за то, что возражал.

— И через сутки выпустили. Думаешь почему?

— Наверное, потому, что это не «колюще-режущее».

— Нет, не поэтому. Посадили за драку и выпустили...

— Постой, значит, это ты?

Она засмеялась.

— Дошло? Да я тебя, дурачка, еще тогда приметил. Эх, вы, мужчины, ничего-то не понимаете!

Кинолента памяти в моем мозгу начала прокручиваться в обратном направлении, я вновь увидел тот злосчастный день восьмого сентября, холодный дождь, то и дело переходящий в снегопад, столы возле предзонника, людей в белых халатах за ними, охрану с собаками и наш этап — толпу совершенно голых людей на осеннем ветру...

— Так ты была там?

— Была. Личные дела вместе с Федоровым прини-

мала. Тогда же это преступление и совершила, — она засмеялась, — теперь понял?

Я понял. Мое тело, обмякнув, поползло вниз, к ее животу, ногам, в носу защекотало. От платья шел запах чистоты, ветра и каких-то цветов — божественный, неземной запах!

— Ну, ну, что ты! Вот уж не думала... Пойдем в комнату, я тебя чаем напою с малиновым вареньем. Ты любишь малиновое варенье? Да успокойся, дурачок, с тобой все в порядке. Хорошо, что вовремя сообразила...

Затем мы долго сидели за чаем, я что-то ел и пил, не понимая вкуса и почти не слыша голоса Людмилы.

— Ты был строен, как кипарис. И без наколок. И взгляд — не лагерника, а гордый и ...насмешливый. Как будто ты над всем происходящим смеялся. Словом, ты не был похож на остальных. Подумать только: к тому времени ты отсидел больше четырех лет, имел два побега! Тогда я всего этого не знала, думала, парень прямо из тюрьмы, ничего не понимает, отсюда — гордость, потом обломается, согнется... Словом, пожалела. А потом в зоне ты организовал художественную самодеятельность, и я ходила на ваши концерты.

— Да, ты всегда сидела в первом ряду, справа.

— Мы все сидели в первом ряду — вольнонаемные и охрана, а справа — потому что там из окна не дуло... Да, так вот: у тебя все было на уровне. Ты что, кончил театральный? Нет? Странно... Впрочем, я ходила не из-за этого. Не только из-за этого, а больше, чтобы посмотреть на тебя. А ты не обращал внимания...

— Зэку не положено пялить глаза на вольняшек.

— ...потом тебе выдали пропуск, и самодеятельность умерла.

— Что, пропуск — тоже с твоей помощью?

— Нет, просто Монахову понадобился архитектор.

— Но я такой же архитектор, как артист и художник!

— Неважно. Ты на одиннадцатом ОЛПе что-то построил...

— Открытую эстраду и арку возле вахты. Чепуха, в общем-то.

— А Монахову понравилось. По его понятиям, хороший художник может быть и архитектором. Кстати, он не прочь задержать тебя в Решетах! — она опять засмеялась и откинулась на спинку стула. Теперь в ее взгляде появилось нечто от старшей сестры или пионервожатой. Право смотреть на меня свысока она имела, ее поступок требовал не меньшего мужества, чем мои дурацкие побеги в никуда.

— А что с теми документами?

— Они у меня в сумочке. Хочешь убедиться?

— И ты два года хранила?

— Могла бы и дольше. Ради твоей благодарности...

Она поднялась со стула, подошла и положила руки мне на плечи. Я смотрел на нее снизу вверх. Пожалуй, она была старше меня лет на пять, под слоем пудры угадывались морщинки, в углах губ залегли складки.

— Конечно, Люся, я тебе благодарен...

— И это все?

— А что еще?

Ее руки мгновенно ослабли, а потом и вовсе упали.

— Что ж, и на том спасибо. — Она отошла к окну, достала сигареты, закурила. — Освободишься — уедешь?

— Конечно. Я ведь сюда прямо из армии. Родных не видел одиннадцать лет, с тех пор как на фронт пошел в сорок третьем.

Она затанулась сильно, со всхлипом.

— Правильно, уезжай. Счастья тебе, парень. Дай хоть поцелую на прощанье!

Уходил я поздно. Выйдя из подъезда, немного постоял на крыльце. Требовалось дойти до ОЛПА, не налетев на патрулей, — как-никак, я все еще был ээком! Неожиданно на втором этаже стукнуло окно, и к моим ногам упал конверт.

— Возьми на память обо мне! — сказала Люся. Потом окно закрылось, занавеска задернулась, свет потух.

Я разорвал конверт. В нем лежали странички из моего личного «дела», касавшиеся двух побегов.

Свобода пришла ко мне 12 сентября. Друзья узнали об этом раньше, и, когда я примчался в «мансарду», все были в сборе.

— Едешь? — Счастливчик, как следователь на допросе, «ел» меня глазами. — Ну и правильно. Я бы тоже уехал, да поезд мой ушел. А вы молодые, вам можно и рискнуть. Привьетесь где-нибудь, глядишь, и доживете до пятидесяти... — и вдруг заорал на весь дом: — Ванька, дуй за водкой! Санька, сбегай к Катерине за капустой да гитару прихвати: Серегу-ху-дожника провожаем! И чтоб — никаких баб! Мужики гуляют.

Всю ночь, до утра тринадцатого, гудела мятежная «мансарда» от топота ног, блатных и пионерских песен, забористого лагерного мата — то ласкового, со слезой, то злого, с зубным скрежетом, — от признаний в любви и верности до гробовой доски. Сидела внизу на высокой кровати с перинами накаленная от ярости до вишневого цвета хозяйка дома, дежурили в палисаднике дружинники и участковый, шушукались под окнами любопытные девчата, и гудели за ближними домами дальние поезда, унося очередных счастливиц в землю обетованную — Россию.

Проснулся я в «чистых» комнатах, на хозяйском половике, возле кровати с высокими перинами. Самой хозяйки не было — еще затемно ушла из дома, дабы не видеть «бесстыдного мерзоства и паскудства». В обеих ее комнатах — на печке-лежанке, на большом, окованном медью сундуке, на пуховых перинах и просто на полу — спали бывшие эки. Между ними, стараясь не наступить на кого-нибудь, бродил Затульный, искал своих бригадников. Увидев, что я не сплю, сказал:

— Двух найшов, а ще троих нема: Потапца, Завьялова и того... Тетери. Як прийшли на стройку, так и сгнули. Вохра у лиси шукає, тильке я думаю, вони здесь, бо дуже до горилки охочие...

Я хотел подняться — Потапек с подручными должен сегодня ставить стропила, — но голая женская рука обвила мои плечи и уложила меня обратно, на половик.

— Ты кто? — задал я резонный вопрос.

— Дак Дуся же! — был ответ. — Со второго ОЛПу! Пятерых у нас вчера сактировали. Верка, Зейнапка и Катька с дневным в Красноярск укатили, а мы с Зойкой Кренделевой остались: ей в Киев, а мне в Воронеж. Сидим на станции, а тут ваш дружок Саня Меляев — курносенький такой, ласковый — говорит: «Пойдемте, девушки, к нам, мы вас не обидим, мы своего друга провожаем, и все у нас есть: и вино, и жратва». Мы и пошли. А что, верно, вы кого-то провожаете или он нас на понт взял?

Я с трудом поднялся, шатаясь дошел до рукомыльника, хотел напиться, но он был пуст, как моя голова, и так же гудел при постукивании. Дуся полулежала, опираясь на локоть, и ее тощая грудь, вывалившись из мужской майки, касалась половика.

— Точно: на понт взял! Говорила Зойка: «Давай смоемся!» — а я, дура, уши развесила!

— Вас не покормили? Или вина не хватило?

— Я чего, за водкой, что ли, шла? А жратвы у меня до Воронежа хватит.

— Тогда в чем же дело?

— В чем? — она не спеша, даже как-то задумчиво, сняла с себя майку, трусы, юбку и осталась совершенно голой, а поскольку я медлил, пояснила: — Мы с Зойкой что, хуже других? Пять лет в зоне! Мужики — только попки на выпшках, а мне живого хочется. Да ты не смотри, мне ж всего двадцать годочков. Я ж не мужиками — лагерем измочаленная. А мне хочется! Один только разочек, перед самым арестом, попробовала... Ну, чего ты? Чего стоишь-то? Думаешь, больная? Да здоровая, здоровая. Ну, иди же, иди, миленький! Может, я тебя одного и ждала...

Я выскочил в палисадник, с жадностью хлебнул свежего, уже довольно холодного воздуха. Из дома, постанывая и кашляя, выходили вчерашние эки, дрожащими пальцами свертывали сигарки, затягивались и блаженно вздыхали, подняв глаза к небу.

— Свободушка! Вот она, родимая! Слышь, художник? Свобода, говорю, матушка: что хошь делай, хошь — водку лопай, хошь — чего хошь...

Некоторые, еще не совсем проснувшись, мочились

тут же, с крыльца. Серыми тенями прошмыгнули Завьялов с Тетериным, за ними Потапеч. Перемахнув через забор, подобрали какую-то доску и, уцепившись за нее втроем, чинно пошли на стройку.

Я вернулся в дом, нашел в «мансарде» Счастливи́чка. Возле него на топчане спала девица.

— Вот уж теперь меня Уля, точно, выгонит, — сказал он, с удивлением разглядывая раскиданные на подушке женские волосы. Зажав обеими ладонями свое лицо, принялся мять его, потом спохватился и начал разглаживать... — А ведь ничего с ней не было, ей-богу! Помню, выпил и лег... А откуда она взялась, хоть убей... Да и кто она, ты не знаешь?

— Это Симка Малина, дочь надзирателя сержанта Малина.

Басов по-молодому вскочил, стал одеваться, бормоча:

— Ей-богу, ничего не было! Она же молодая, может, чиста как ангел, а я старик. И чего она тут? Слушай, проводи ее! Она, кажется, выпила лишнего.

Этого «ангела» я знал давно. Бесконвойницы женских лагунков подрабатывали: пробирались рано утром, до прихода бригады в оцепление, а когда пригоняли работяг, обслуживали желающих. Промышляли этим и только что освободившиеся зэчки — эти вообще ничем не рисковали. Года три назад к ним начали присоединяться жены некоторых надзирателей. Поговаривали, что мужья сами толкали их на такое дело, помогали устроиться в «заначке» на лесоповале или на стройке. В Решетах первой начала заниматься этим промыслом жена сержанта Малина — Роза. Говорили, что сержант бил ее, если приносила мало. Работая в лесоповальной бригаде, я не раз видел ее под кучей хвороста обнимающей кого-нибудь из работяг. Год назад по той же дорожке пошла ее пятнадцатилетняя дочь.

Зачерпнув ковшом воды из бачка, я напился, а остатки вылил на голову спавшей. Она вскочила, фыркнула и уставилась на меня.

— Ты что? Да ты забыл, кто ты есть? Да я ж тебя, суку... Да мы же тебя в БУРе сгноим!

— Уже не сгноите, — я зачерпнул еще и плеснул ей в физиономию. Она запустила в меня ботинком Басова.

— Ну, ты меня попомнишь! Считаю себя в зоне, «архитектор»! — напарив на полу свой лифчик, не торопилась надевать, сидела на топчане, белея в полутьме тугими грудями. — Все вы тут будете меня помнить.

— Чего вы? Ну, чего вы, ей-богу? Как взбесилась... — Басов прыгал на одной ноге, тщетно пытаясь попасть другой ногой в штанину. — И потом, не кипятком же он в тебя плеснул!

— А ты заткнись, старый козел! — Малина подбирала волосы, держа шпильки во рту, и оттого говорила невнятно. — Завел притон, бандерша? Со всего Краслага блудей собираешь. Сколько с пары берешь?

— Какой притон? Какие пары? — Счастливчику все не удавалось надеть брюки. — Ты что болтаешь, идиотка?

— Я идиотка? — точным ударом в подбородок Малина сбила Счастливчика с ног и двинулась на меня, прихватив с полки молоток. Но тут сильная женская рука выдвинулась из-за моего плеча и схватила Серафиму за волосы.

— Я те покажу, как чужих мужьев избивать, — сказала Ульяна Никитична и отбросила Малину к двери. Затем она обратила свой взор на супруга. — А ты, милоч, всё порточки свои надеть не можешь? Да-ко помогу! — и вlepила Счастливчику затрепичну. — У, кобелина! Свежатинок захотелось? Солони-на надоела? Я те покажу свежатинку! — однако последний удар был чисто символическим: носком ботинка — по мягкому месту. Затем Ульяна Никитична величественно выплыла из «мансарды».

Счастливчик поднялся с пола, надел штаны и пропел своим чудесным баритоном:

Я помню чудное мгновенье,
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

Следующей ночью за мной пришли. Хмурый, заспанный отставной надзиратель Семен Гапич пальцем откинул крючок на двери, вошел и зажег свет.

— Чего запираетесь? Не положено. — Тут он вспомнил, что мы уже не зэки, и поправился: — Мабудь, не украдут вас...

После выхода из зоны, я поселился у Вахромеева: огорченный моим решением после освобождения уехать домой, Монахов слезно просил не бросать стройку, обещая платить большие деньги.

— Я до тебе, — кивнул головой Гапич, — треба доставить у целости.

— К кому доставить? — удивился я. Монахов ногами не вызывал...

— До якого-сь полковника. Николы его не бачил. Казалы, следователь с Красноярску.

— Как следователь? Зачем следователь? Я же — вольный!

Гапич пожал плечами.

— Мени казалы, я прийшов. — Он работал посыльным.

Сердце мое упало. Вообще в последнее время оно что-то слишком часто падало... Неужели и до меня добрались? Я не замечал, что все время стою с поднятыми руками — надевал рубашку. А почему бы нет? Дружу с матерым врагом народа Басовым, с классово чуждым Вахромеевым...

— Копаешься, як немка у заднице, — напомнил Гапич и зевнул.

— Так вы идите, Семен Иванович, я дорогу знаю.

— Ни. Приказано доставить.

Господи, неужели опять арест? Не успел выйти... Я увидел глаза Сан Саныча. Прежде маленькие, острые, с крошечным зрачком, они сейчас странно расширились, стали еще более светлыми. Не сказал, а прошептал так, что даже Гапич не услышал:

— Сережа, будь мужественным!

Я надел лагерный бушлат, хотя уже успел обзавестись приличным пальто. Если посадят, Вахромеев продаст — всё польза...

Гапич шел впереди, не оглядываясь, и это наводило на мысль, что случившееся — не арест. Арестовывать Гапича не пошлют. Он из бывших ссыльных, да и возраст... Его раскулачили на Украине, в начале всеобщей коллективизации, и сослали в Сибирь вместе со всей семьей. Везли в заколоченных досками вагонах, в пути давали только воду. Из семи детей Гапича умерло трое. Выгрузив на станции Сосновка, развезли на подводах по тайге. Гапичам и Нечипоренкам досталось место на берегу Тунгуски, в ста сорока километрах от ближайшего села, где жили староверы, сосланные еще раньше. Остановив лошадь, один из милиционеров воткнул в землю кол.

— Тут будут жить Нечипоренки. — Затем прошел сто метров вверх по течению и воткнул второй кол. — А тут Гапичи.

И уехал. Кругом тайга дремучая, лиственницы до неба, волки воют, а у ссыльных на две семьи два топора и одна пила. Ночевали кучкой под большой сосной, а утром начали копать землянку — одну на всех. Первую зиму жили коммуной: Тарас Нечипоренко прилачился лепить из глины плошки и глечики, Семен обжигал их на костре, его старшая дочь Оксана обрабатывала неровные края острыми камнями. Топором делали ложки. Когда построили первую хату, на полках стояло вдоволь всякой глиняной посуды. В тайге собирали грибы, орехи, ловили силками зайцев, потом догадались копать волчьи ямы для более крупной дичи. У тунгусов научились вялить мясо над огнем и больше не бедовали.

Когда в красноярскую тайгу пригнали первых заключенных, Гапич нанялся в охрану. Через два года к нему присоединился старший сын, а еще через год младший. Сейчас у Гапичей два больших дома, восемь коров, шестьдесят овец, двадцать свиней, множество птицы. Дома их окружены высокими заборами из лиственницы, ворота сторожат овчарки. Закам за эти заборы иногда случается заглядывать: каждый надзиратель и офицеры охраны частенько берут их для своих хозяйственных работ. Я сам не раз пилил дрова во дворе у Гапичей, чистил стойла, косил в тайге, скирдовал. За это Гапичи кормили меня жир-

ными щами и гречневой кашей, а Семен Иванович, случалось, подносил чарочку — он ценил работающих и честных. Когда начальству вздумалось перевести меня из бригады лесорубов в художники, Гапич стал посещать меня в клубе. Сделав обход зоны, приходил в мою «кабинку» за сценой и садился на табурет возле печки. Я тогда усиленно практиковался в рисовании с натуры, и добровольный натурщик был очень кстати. Гапичу его портреты нравились, но еще больше нравилось то, что я с него не брал денег, как с других. Очевидно, от скуки он начал рассказывать. Сперва я узнал историю его семьи, потом семьи Нечипоренок, затем подробности женитьбы старшего сына, затем младшего, а однажды рассказал такое, чего, наверное, не знал никто.

Зимой 1938 года с очередным этапом в лагерь прибыл заклятый враг Семена Ивановича Степан Остапенко, но уже не как начальник Выселковской милиции, а как «враг народа». По словам Гапича, он глазам своим не поверил, решил уточнить: уж больно тощ был некогда упитанный милицейский начальник.

— Не пошло ему на пользу мое добро, — задумчиво говорил Семен Иванович, глядя на огонь. В нем, как я понял, он видел своих безвременно погибших детей — двух мальчиков и одну девочку.

— Усе животом маялись. Плакали, маты звали... А маты сама в бреду металась — думали, не выживет. Из вагонов нас не выпускали, доктора нема, хлеба нема, ничего нема... — Гапич достал тряпочку, вытер глаза, высморкался. — Диток похоронить не дали. Якие-то люди приняли, унесли, а похоронили, чи ни, кто знает... — Он снова вытер глаза. — Ну, я пиду до дому.

Страшную историю он досказал лишь через месяц. Как и раньше, пришел после обхода, сел у печки.

Конвоировали бригады не надзиратели, а стрелки охраны, в очередь: сутки на вышках, два дня в конвое. Ребята молодые, срочной службы, Гапич им в отцы годился. Но была одна небольшая зацепка: когда солдат не хватало, в конвой брали надзирателей — тоже в порядке очередности. Только через полгода повезло Гапичу: назначили конвоировать бригаду,

в которой был Остапенко. Едва узнал его Гапич. Не жалуется лагерь ни друзей, ни врагов. Когда пришли в оцепление, Остапенко кинулся разводить костер. Бригадир хотел прогнать — на такое дело только фитилей ставили — Гапич велел оставить. Сидел на валежине у огня, хмуро смотрел в спину суевившегося у костра Степана. Сколько лет молил Бога об этой встрече...

— Пойдем за топливом, — сказал и голоса своего не узнал: будто душил его кто-то... А Остапенко — с радостью, лишь бы лес не валить, идет впереди, болтает о пустяках. Между прочим, сказал, что служил в милиции, большим начальником был... Лучше бы не говорил! Последние сомнения у Гапича исчезли: правое дело задумал, Божий суд вершит!

— А ну, швыдче! — не заметил, как произнес по-украински. Остапенко насторожился, вперил в конвоира тревожный взгляд.

— Чи вы с Украины, гражданин начальник?

— Не твое дило, — ответил.

Спустились в балочку, поднялись на сопку, опять спустились. Остапенко заметался, да поздно: отсюда кричи — не докричишься, да и кому кричать? Кто услышит? А если и услышат, не поймут: на лесоповале все кричат: бригадиры на работах, те — на лошадей и друг на друга, и просто так, от злости и тяжелой работы.

Снял Гапич с плеча винтовку, щелкнул затвором. Остапенко повалился в снег.

— Не губите, гражданин начальник! За что? Я же свой! Я в милиции служил и вам услужу!

— Подывысь на мене, — попросил Гапич. Остапенко поднял глаза и прочитал во взгляде конвоира свой приговор.

— Семен! Це ж ты... А казали, нема бильше Гапичей...

И выстрелил Гапич, и хлынула из головы Остапенко черная кровь, задымилась на снегу.

Услыхав выстрел, встревожились конвоиры, положили своих бригадников в снег, лицом вниз, сорвались с места разомлевшие у костров собаководы, бросились вдоль контрольной лыжни.

На Гапича наткнулись случайно: искали за оцеплением, а он с убитым был в оцеплении. Удивились: лежит в снегу зэк, из пробитого лба кровь струится, а над ним стоит старик-конвоир и рукавицей глаза вытирает...

Подскакал на лошади начальник конвоя, спрыгнул пружинисто — молодой еще, — подошел.

— Чего ты, старый? Нервы не выдержали? Бывает... — Вгляделся в убитого. — Знакомый. Вчера в надзорслужбу приходил, донос приволок. Толковый, однако, донос. Ладно, оформим как попытку к бегству. Всем по местам! — и вскочил на лошадь.

Просто, оказывается, убить человека, а Семен Гапич над этим столько лет думал...

Вот о чем поведал мне Семен Иванович в одну из ночей прошлой зимой. Как всегда, пришел после обхода, сел у печки и начал... Признаться, в какой-то момент мне стало не по себе: уж не сумасшедший ли? Понял, когда Гапич уволился из вохры, — болела душа, не смог больше... Не просто это — убить человека!

Нет, не пошлют Гапича арестовывать вольного. Только почему — к следователю? Трахнуть старика по голове легонько да рвануть куда глаза глядят? А если это все-таки не арест?

Нет, Семен Иванович, не подведу я тебя, не сбегу, а грех твой давний, что ты мне поведал, — вовсе и не грех — кара человеческая.

Чтобы не искушал меня беззащитный Гапичев затылок, я стал смотреть по сторонам. Ночью лагерный поселок кажется большим городом. На зоне через каждые десять метров горит фонарь, внутри зоны, возле каждого барака и вдоль дорожек, — также. Предзонник снаружи освещен прожекторами — по два с каждой стороны забора. Кроме того, в каждом поселке имеется какое-нибудь предприятие, завод, мастерские, на базе которых и возник этот поселок. Они работают круглосуточно, и освещение там под стать зонному, поскольку обслуживается все теми же заключенными. Сам поселок всю ночь освещен. В домах живут охранники и специалисты, у тех и других рабочий день не нормирован. Кроме освещенных

окоп, возле каждого дома горит фонарь. Это уже требование безопасности: беглецы — народ решительный, но боятся света. Если к поселку подходит железная дорога, то количество огней удваивается.

Следом за Гапичем я вошел в вестибюль хорошо знакомого здания. За столиком дежурного сидел солдат и спал, положив голову на регистрационный журнал.

— Дывысь, хлопец, уворуют урки, и ридна маты не найде, — предупредил Гапич. Солдат вскочил, ошале-ло тарашил на нас глаза.

— К полковнику Бурылину на допрос, — пояснил Семен Иванович.

— Сейчас доложу, — сказал солдат и поднял трубку.

Следователь оказался высоким, очень худым, начинающим сидеть человеком приблизительно сорока лет. На бледном лице — потухший взгляд серых, ничего не выражающих глаз. Все, кто долго общался с зэками, умеют прятать взгляд: ничего не прочтешь, даже если — глаза в глаза...

— Можете идти, — это Гапичу. — А ты садись, — это мне.

Сажусь напротив канцелярского столика, на котором, если не считать телефона и стопки бумаги, ничего нет. А что, собственно, должно быть? Пресс-папье, которым меня ударил следователь шесть лет назад, или толстый том основоположника марксизма, которым, как выяснилось, тоже можно ударить? Ах, не все ли равно! Почему я сейчас не сосредоточиваюсь на вопросах, которые мне будут задавать? Мне очень нужно сосредоточиться! Значит, так: с Басовым знаком недавно, изредка бывал у него с целью... с целью... Допустим, выпивали. Нет, лучше слушал его пение. А вот никаких радиопередач не слышал! Кроме, конечно, динамика. Что еще спросит? Наверное, о чем беседовали. Да ни о чем! Ну, если будет настаивать, то — о бабах. Мужики всегда говорят о бабах и водке.

— Где тебя арестовали? — спросил следователь.

— В Минске. Я служил в артиллерийском полку. У нас тогда в одну ночь около двухсот человек арестовали. Всю ночь возили в «студебеккерах».

Заговорил! Разболтался! Надо сдержанней, только о чем спрашивает. А полковник, похоже, не слушает, ходит по кабинету, открывает один за другим ящики стола, что-то ищет. А меня так и подмывает!

— Тюрьму набили битком, ни сесть, ни лечь. Спали стоя...

— А где велось следствие?

Оказывается, слушает.

— Да в Минске же, в центральной тюрьме. Это первое следствие... — Что же он все-таки ищет?

— А что, было второе?

— У меня было три.

— Почему так много?

— Нужно иметь богатую фантазию, чтобы сочинить обвинение человеку, который не совершал никакого преступления.

— У тебя были талантливые «писатели»?

— Гениальные. Они сочинили три тома. По одному на каждое следствие. Правда, два последующих просто переписывали с первого.

— Ну, вот, а ты говоришь, гениальные. Это же просто бездари.

Опять что-то ищет. А может, тянет время? Ему нужно, чтобы я потерял бдительность, чтобы расслабиться, и тогда он задаст ТЕ вопросы...

— Что такого страшного я сделал? Сказал, что «студебеккер» — хорошая машина.

— Ну да, это, и в самом деле, машина что надо. Ты-то тут при чем?

— Так там еще «полуторка» была...

— Какая «полуторка»?

— Которая хуже «студебеккера».

— А... — он засмеялся и стал совсем иным человеком с добродушным интеллигентным лицом. И вдруг я понял, что он ищет: курево!

— Гражданин полковник, вы, случайно, не курево ищете? У меня целая пачка «Беломора»...

— Чего же ты молчишь? — вскричал полковник. — Давай сюда!

Прикуривал торопливо, спички ломались в пальцах, затягивался с жадностью, дым выпуская долго, прикрыв от удовольствия глаза. Злой курильщик!

— Тебя как звать-то? Сергеем? Надо же! — очень удивился. — У меня сын Сергей. Такой же, наверное, шалопай и по возрасту подходит... Ну ладно, черт с ними, с «полуторками». Ты фамилию «Филипóвич» в своих одиссеях не встречал?

На какой-то момент я лишился дара речи. С Иваном Филипóвичем судьба свела меня в минской тюрьме зимой сорок девятого. У обоих на руках имелись приговоры: у меня в «десятку», у него в «четвертак». Его судили как власовца. Ни на какое снисхождение Иван не рассчитывал.

«Все равно весь срок сидеть не буду, сбегу».

Я смотрел на его сильное, тренированное тело и думал: а чем я хуже этого власовца? Тем более что не совершал никакого преступления. Разговорились.

«Беги, не бойся, — сказал Иван, — чем в лагере погибать, лучше погулять вволю, а там что будет».

На всякий случай, он дал мне адрес родственников. Его я заучил наизусть, но бежал, не рассчитывая на него: если там живут родственники осужденного, то бежать к ним — самоубийство.

Неужели речь сейчас пойдет о моих побегах? Стало быть, мое освобождение — по боку?

— Так встречал или нет? — полковник наблюдал.

Если сказать «нет», сразу уличит во лжи.

— Так точно, гражданин начальник, встречал.

— Хорошо его помнишь?

Я рассказал все, что знал о Филипóвиче. Полковник слушал внимательно, хотя и несколько удивленно.

— Ладно, на первый вопрос ты ответил честно. Вопрос второй: о чем вы с ним беседовали в камере? Ведь не сидели же молча?

Вот оно! Филипóвич сбежал! Сейчас будет спрашивать насчет его родственников, знакомых — так начинается каждое следствие о побеге. Ну, от меня-то вы ничего не узнаете. Иван попал в плен раненым — я видел сквозное ранение в спину — и к Власову пошел, чтобы перебежать к своим — другого выхода не было, это знают все. А у Власова служил при штабе генерала Малышкина, значит, сам ни в кого не стрелял...

— Не будем играть в кошки-мышки, — сказал следователь и протянул мне бумагу, которую уже давно держал в руках. — Это протокол допроса твоего знакомого.

Я взглянул на подпись. «И. Б. Филипович». У меня мгновенно вспотела спина. Значит, он не в бегах? Тогда при чем тут я? Поднимаю глаза и читаю вверху: «В Главную Военную Прокуратуру вооруженных сил Советского Союза». Донос? Но на кого?

«... И тогда, — писал Филипович, — доверившись мне, Слонов рассказал, что состоит в террористической организации, целью которой является свержение советской власти...»

Я с изумлением поднял глаза на следователя.

— Читай, там еще интересней, — пообещал он.

«Свергать власть организация собирается путем серии террористических актов, для чего привлекает в свои ряды несознательных граждан и тайных врагов советской власти».

— Бред какой-то! Он что, сумасшедший?

— Закури, — сказал следователь, — помогает...

Его глаза смеялись. И тогда я стал читать спокойнее.

«Во всех союзных республиках у организации имеются центры. Желая принести пользу Родине, я уже тогда старался запомнить фамилии руководителей. В Белоруссии центр возглавляет человек по фамилии Карпович, в Литве — Иванаускас, в Латвии — Довидайтис, на Украине — Горобец, в Грузии — Габриелян, в Армении — Петросян, в Киргизии... — Я перевернул страницу. — Связь осуществлялась «змейкой»: каждый рядовой террорист знал только командира отделения и одного товарища. Этим объясняется... — Я опять перевернул страницу. — Центр организации находится в Минске. Слонов подробно описал мне этот дом, и если бы я вдруг оказался в Минске, то мог бы...» Стоп! Ему очень хочется попасть в Минск!..

— Он же в Минск хочет! — сказал я вслух. — Он же, наверное, в каторжных лагерях. Ему вырваться хочется!

Полковник, не спуская с меня глаз, забрал бумагу, положил на стол.

- Появись такая бумага раньше... — начал я.
Он перебил:
- Но ведь она не появилась!
- Действительно... Выходит, Иван меня пожалел?
- Не знаю, не знаю, — полковник сел за стол, придвинул папку с бумагами, — не знаю, почему он не донес раньше.
- Донес?
- А как это называется на вашем жаргоне? Любовное послание?
- Действительно... — меня начал бить озноб. — А сейчас... меня повезут в Минск?
- Сейчас не те времена, — сказал следователь, — хотя и не полностью, но изменились, поэтому тебе отвечать на мои вопросы. Итак, что ты скажешь по поводу показаний Филиповича?
- А что тут говорить? Вранье все. Ничего такого я ему не рассказывал. У него, наверное, изменились условия содержания. Шесть лет молчал, потому что было терпимо, а теперь стало хуже, вот и хочет вырваться хотя бы на месяц.
- А ты философ! И много у вас на ОЛПе философов?
- Там все философы... — говорить мне больше не хотелось, все было ясно, но меня смущала его улыбка. Вот он встал, подошел ко мне и с минуту смотрел прямо в мои зрачки, а потом нанес неожиданный удар:
- А ведь все это ты действительно говорил, Слонов! Так-то... Не надо принимать нас за дураков. И раньше болтали сами, и доносы друг на друга строчили, и соседа своего, фактически, сажали, мы только оформляли документы. Я после войны в Германии служил, в Чехии был, в Польше. Нигде такого нет, ни в одной стране!
- Гражданин следователь, вы что же, верите всему, что писал Филипович?
- Не о том речь. Врал ты, а не Филипович, вот в чем дело. Филиповичу век бы до такого не додуматься. Парень из белорусской деревеньки, до войны окончил восьмилетку, по комсомольской путевке был послан в военное училище, а тут война... Дальше плен,

власовская армия. И то, что пошел туда, чтобы затем перебежать к своим, тоже похоже на правду, вот только не был он у Малышкина в штабе — рылом не вышел. У Малышкина был наш человек... И то, что его донос опоздал, он тоже не допер, так что давай признавайся, Слонов, чего уж...

Холодный пот выступил у меня на лбу. Что же теперь будет? И вдруг понял: ничего не будет! Следовательно не станет раздувать мыльный пузырь — себе дорожке, начальство подумает, дурак Бурылин, пора на пенсию. В крайнем случае, меня отругают... Тут я снова вспомнил о «голосах» из-за бугра. Что, если история с письмом Филиповича всего лишь для отвода глаз и через минуту следователь спросит: «Расскажи, о чем вам поведала радиостанция «Свобода»? Это уже не бред, это преступление, и свидетелей хватает...

Должно быть, у меня был в этот момент совсем неказистый вид, потому что следователь снова подошел лицом и спокойно сказал:

— Ладно, не переживай, будем считать, ты сам во всем признался.

— В чем признался?

— В том, что болтал.

— Но я...

— Ты допустил глупость, достойную школьника. А Филипович оказался еще глупее.

— Какую глупость?

— Фамилии «главарей» у тебя точно соответствуют наиболее распространенным фамилиям в данной республике. Сечешь?

— Секу...

— Так не бывает. Вернее, бывает у националистов. Ты же замахнулся на общесоюзную организацию.

— Гражданин полковник...

— Ладно, замнем для ясности. И займемся делом: раз есть входящая, значит, должна быть и исходящая. У тебя папирос больше нет? Что же ты, братец, идешь на допрос, а куревом не запасся? Ладно, поскучай, а я за тебя поработаю.

Он работал, а я не менее напряженно думал. Если бы полковник знал все, что я врал Филиповичу!

Бедняга Иван запомнил сотую часть. Но я не врал! Я фантазировал! Эта страсть обуревала меня с детства. В школе терпел неприятности от учителей и товарищей, в армии попал в беду. Арестовали меня не за «полуторку», хотя могли и только за это. Арестовали за некий союз, который я организовал в своей части. Тайный союз бывших десятиклассников с уставом и программой, сборищами в курилке. Детство, оборванное войной на самом интересном месте, продолжалось — нам все еще было неполных ...адцать.

Один бывший профессор говорил, что мозг человека — загадка даже для ученого. Кроме известных каждому школьнику сведений о извилинах, в нем есть что-то такое, что с рождения определяет склонность к чему-то конкретному. У будущего бухгалтера он совсем не такой, как у будущего художника, поэта, певца, а ученым, по его словам, становятся еще до рождения. Зэки, слушая его, хохотали, а я вспоминал Пушкина: по математике у него были сплошные двойки. С другой стороны, рассуждения того старика-ученого шли вразрез с марксистско-ленинской теорией и смахивали на другую, преданную анафеме советской официальной наукой.

Фантазировал я всегда и всюду, но особенно плодотворно — в одиночке минской тюрьмы, где по воле следователей пробыл около года. Там сочинял и стихи, и прозу. После, в лагере, получив доступ к карандашу и бумаге, пытался записать придуманное в одиночке, но вспомнил лишь кое-что. Теперь это кое-что лежало в заначке у Вахромеева и представляло собой шесть общих тетрадей, исписанных убогим почерком. Друзья были уверены, что все, о чем писал, я видел своими глазами, во всех боях и приключениях участвовал, всех героинь любил и вообще только записывал виденное... Я никого не разочаровывал. Почему-то люди больше ценят литературу достоверную и пренебрежительно относятся к бесценному дару писателя — фантазии.

— Ну вот, — полковник потянулся так, что хрустнули суставы, — ознакомься и подпиши.

Из протокола допроса я узнал, что попал к очень

строгому, даже жестокому следователю, дотошному, ехидному, опытному. Вопросы, задаваемые мне, отличались продуманностью, а ловушки, в которые я попадал, были просто гениальны. Только благодаря все-му этому следователю Бурылину удалось установить, что в донесении заключенного И. Филиповича нет ни слова правды.

— Что со мной будет? — спросил я, все еще опасаясь за «голоса».

— Если бы это от меня зависело, то я бы приказал тебя высечь, а что решит начальство — узнаешь сам. Во всяком случае, брать с тебя подписку о невыезде считаю лишним.

Когда я, в полном изнеможении, опустился на ступеньки Управления, ледяные от ночного инея, колокол на зоне пятого ОЛПа возвестил о начале нового трудового дня. Ноги меня не держали, губы пересохли от жажды, глаза сами собой закрывались. «До чего же мы стали нежными!» — вспомнил я голос своего первого следователя, вырубившего мое сознание ударом кулака, и вздрогнул от легкого прикосновения. Открыв глаза, увидел склонившегося надо мной Счастливика. Лицо его было серым, осунувшимся.

— Били? — прошептал он, косясь на закрытую дверь Управления. — Вот суки! А говорили, теперь не бьют!

— Та ни, нэ били, — позади меня стоял Семен Гапич, — крику ж нэ було...

— Сапогами? — допытывался Счастливичик, щупая мои ребра. — Меня тоже все больше — сапогами...

— Кажуть тобі, що нэ били! — рассердился Гапич. — Я бы чул...

Возле конюшни нас встретил Вахромеев, одетый по-зимнему. В руке он держал узелок.

— Ну что, Сереженька, они всё знают, да? А почему отпустили?

— Куда это вы собрались, Сан Саныч? — спросил я, улыбаясь.

— Да, наверное, туда же, куда и ты, — растерянно ответил он и вдруг обнял меня за плечи, — Сереженька, я ведь думал...

— Ну и что? И я думал, и все мы думаем и еще долго будем думать об одном и том же. А теперь давайте выпьем чего-нибудь, а то как бы у одного из нас не поехала крыша...

* * *

Еще раньше, от опытных эков, я слышал, что освободившихся из лагеря некоторое время «держит» тайга. Зависит это от того, сколько лет пришлось эку жить в тайге: чем больше, тем крепче она его держит...

Меня она тоже «держала». В каком-то странном оцепенении я слонялся по поселку, исполнял по просьбе Монахова ту же работу, по привычке не требуя денег (а он — тоже по привычке — мне их не предлагал), ходил на кладбище, сидел на безымянных могилках, потом шел в конюшню и умолял Сан Саныча не губить свою молодость, ехать на «материк», а вечером пил в станционном буфете горькую.

Вместе со мной пил водку Жора. Напившись, кричал, что всегда считал меня своим другом, что его напрасно пугают отставкой, что он и сам бы с удовольствием сбросил погоны, если бы не жена, заявившая, что «с голой жопой и без погон» он ей не нужен.

— Ах, Дуся, Дуся! Сказала: «Разведуся...» — он поднял голову и посмотрел на меня мутным взором. — Послушай, а ведь это стихи. Может, мне в поэты податься?

Начальниками КВЧ в лагерях ставят абсолютно не годных к нормальной службе офицеров, как правило, безвольных, безынициативных. Жора Пронькин пребывал в этой должности пятнадцать лет. Никакой иной профессии, кроме «возглавления культуры», у него не было.

— А правда, что поэтам здорово платят?

Подожла официантка, смахнула полотенцем со стола крошки, поиграла глазами.

— Вчерась лимону навезли — ужась сколько. Что ни работаю — первый раз. Может, принесть? От цинги первое средство. Опять же с коньячком заказывают...

Жора пьяно махнул рукой.

— Перевод денег. Я как-то в Красноярске был. В Управлении Краслага. С дочкой. Там в буфет тоже лимону привезли. Все кинулись. Я тоже купил. Дочка откусила — заплакала, я попробовал — скулы свело. Клюква и то лучше. И за что деньги дерут?

Я вспомнил Басова, его неимоверную, до судорог в скулах, страсть к этим фруктам, взял десяток и, прихватив по совету официантки бутылку коньяка, вышел из буфета.

У входа стоял и курил «Беломор» вертухай Пашка.

— Широко живешь. Все патреты лепишь? Слепи с меня.

— Хочешь лимона?

— На хрена он мне! — обиделся Пашка, и даже глаза его сузились до щелочек: уж не смеется ли над ним вчерашний зэк?

Кто-то робко тронул меня за рукав. Обернувшись, я увидел... нет, не человека, а жалкое его подобие: согнутое, колченогое существо с морщинистым лицом, беззубым, ввалившимся ртом, слезящимися глазами в венчике красных век. Голос у него был хриплый, простуженный.

— Гражданин начальник, не сочтите за дерзость... Но, если возможно... маленький кусочек! Как воспоминание...

— «Гражданин начальник»! — хохотнул Пашка. — Этот начальник позавчера казенный бушлат скинул!

— губы его кривились. Похоже, он меня, вольного, ненавидел больше, чем зэка.

— Знаю, — спокойно сказал человек, — но из уважения... Так могу я надеяться, гражданин начальник? Голубая мечта двадцати лет...

Я дал ему два лимона, он поблагодарил, но не ушел, а двинулся следом за мной. Возле дома Ульяны я сказал:

— Здесь живет мой друг. Прекрасный человек. Но у него — жена! Тоже достойная женщина...

— Вашего друга зовут Валентином Владимировичем, — сказал мой спутник, — он действительно хороший человек.

Мы вошли в дом. На кухне голый до пояса Счастливчик стоял, наклонясь над тазом, а Ульяна Никитична лила ему на спину воду из чайника. Басов орал как поросенок, но от горячей струи почему-то не увертывался.

— Ты кого привел? — закричал он, увидев моего спутника. — Это же Герка Рыдалов! Его весь Краслаг знает. Бывший чекист. Теперь по столовым миски вылизывает.

— Не верти башкой, — сказала Ульяна, — в уши налью.

— У него руки в крови, — не унимался Басов, — в тридцатых годах лично пытал арестованных.

— Я только вполнял приказ, — заученно проговорил Рыдалов, — к тому же я пострадал...

Басов вытерся чистым полотенцем, надел рубаху и, оглядев нас еще раз, махнул рукой.

— Ладно, заходите оба.

Хозяйка подала на стол жареную картошку со свиной, соленые грибы, огурцы и холодец своего изготовления. Обозрев стол, Счастливчик в восторге поднял руки.

— Под такую закуску, Уленька, грешно не выпить!

Уленька показала ему кулак. Басов стал без интереса тыкать вилкой в тарелку, я вообще ни к чему не притронулся — после освобождения неожиданно потерял аппетит — и Рыдалов уплетал за троих.

— Меня Феликсу Эдмундовичу рекомендовал сам Лев Давидович Троцкий, — ни к кому не обращаясь, начал он, — мы с ним знакомы еще с эмиграции. Интеллигентный человек.

— Троцкий — предатель и изменник, — скучно напомнил Басов.

— Если кто и был настоящим коммунистом, так это Лев Давидович.

— Опять ты за свое? — повысил голос Счастливчик. — Мало тебе двадцати лет зоны?

— Он был культурным, образованным человеком, — не унимался Рыдалов, — в Кремль въезжал не иначе как с музыкой. «Марш Родомеса» называется. На заднем сидении его автомобиля стоял граммофон, и матрос ставил эту пластинку. Кто еще из вождей,

скажите мне, так понимал революцию? Для него это поэзия, романтика, а для них... Конечно, я не имею в виду товарища Сталина... Для остальных революция всего лишь средство, с помощью которого они пришли к власти. Даже матросы это понимали! — Рыдалов достал откуда-то грязную тряпочку и вытер слезящийся глаз. — Конечно, барские замашки у него имелись, и за это мы его критиковали...

— Ты лучше про своего Феликса расскажи, про то, как вы с ним допрашивали в подвалах Лубянки, как руки выворачивали, кости в тисках ломали!

— Что ж, это тоже был рыцарь революции, неподкупный, честный, но Лев Давидович все равно выше.

— Ну, хватит, — сказала Ульяна Никитична, отбирая холодец. Воспоминания бывшего чекиста ее не трогали, беспокоил быстро убывающий холодец.

Неожиданно Счастливчик положил мне руку на плечо.

— Вот хочешь верь, хочешь нет, а я Сталина за некоторые поступки уважаю.

— За какие именно?

— А вот хотя бы за этот. Никто, кроме него, эту кодлу, — он указал пальцем на сгорбившегося на своем стуле Рыдалова, — не уничтожил бы. Не посмели! А он всех этих троцких, бухариных, зиновьевых, радеков и прочую сволочь — к ногтю! Из верных ленинцев только придурков оставил Калинина да Ворошилова. Ну, разве еще кое-кого, но обязательно — придурков. Остальных — в землю, чтоб не смердели! В первом поколении! И на заслуги перед революцией и Лениным не поглядел. Они небось рассчитывали и дальше с музыкой в Кремль въезжать, а там, глядишь, их высерки поехали бы, а там и внуки... Не вышло. Встречал я их тут... А больше на Колыме, в Магадане... Конечно, цель у него была одна: боролся за власть, поэтому я его не идеализирую, но что есть, то есть: сделал доброе дело. За муки народа нашего, за проклятую революцию, за расстрелянных, замученных, ни в чем не повинных, за жен их за детей! Думаю, он бы и до Ленина добрался, не сдохни тот раньше. А жаль: пусть бы кровушкой своей умылся, марксист проклятый!

В комнате давно уже царило гробовое молчание. Даже Ульяна смотрела на Счастливого со страхом. Глаза его, и без того большие, теперь, казалось, вот-вот вылезут из орбит, рот кривился, щека подергивалась, лицо посерело и было мокро от пота.

Схватив мужа поперек туловища, Ульяна поволокла его в кровать, я бросился ей помогать, и в комнате остался один Рыдалов. Когда, успокоив Счастливого, мы вернулись, Рыдалова за столом не было.

— Ой, лихо нам! — запрѣчитала Ульяна. — Дonesет проклятый чекист, а Валентин еще одного срока не выдержит!

Схватив куртку, я выбежал на улицу. В конце ее, припадая на левую ногу и сильно раскачиваясь на ходу, ковылял Рыдалов. Я бросился за ним, но Рыдалов не зря работал в подручных у Дзержинского, он сам ждал меня, вжавшись в щель между бревнами углового дома и забором. Не заметив, я проскочил мимо в полуметре от него и остановился. Будь у Рыдалова нож, он мог бы зарезать меня как цыпленка. Думаю, никто не стал бы меня искать — уже не ээка, но еще не вольняшку...

— За душой бежишь, сучонок? — сказал он. — Так за ней ангелы приходят, а ты черт! — он вылез из своего укрытия. — Чего стоишь? Бей! Коли! Ведь за этим бежал. Дурачок! Думаешь, мне моя жизнь дорога. Это вам она видится Северным Сиянием, притягивает, а для меня она давно кончилась. Я давно мертвый! — он распахнул бушлат. Под грязной нательной рубахой угадывался скелет, обтянутый кожей.

Я плюнул и пошел прочь. И услышал позади хриплый смех. Смеялся Рыдалов.

— Что, парень, трудно убить человека? То-то! Это уметь надо. Вот урки — те умеют. А ты не урка. Тебе, чтобы убить, надо быть уверенным, что ты прав, что так надо и что другого выхода нет. А ты ни в чем не уверен, так что проваливай.

Недалеко от дома Ульяны мне преградил дорогу пьяный Пашка.

— Суки! — орал он. — Свободы захотели? А этого не хотите? Все вы на крючке! Раскололся ваш красавец Туманов, всех заложил! Теперь подохнете на нарах!

Я дал ему по зубам и, перешагнув через него, упавшего, вбежал в дом. Выслушав, Счастливчик сказал:

— Я вам, дуракам, давно твержу: смывайтесь, пока не поздно. Эх, Ваня, Ваня! Вот уж не думал... Небось фотографию свою пожалел: разделали бы ее на допросах, а бабы красивых любят. Очень он берег свою внешность. Зеркальце у меня выпросил... Ну да ладно. Ты, Серега, сей же час дуй на станцию. Может, еще успеешь... Обо мне не думай. Мне в лагере даже лучше: одевают, кормят, моют, а помру — похоронят за Черной речкой, и все дела.

Мы обнялись. Ульяна плакала навзрыд.

Несмотря на напутствие Счастливчика, я все-таки забежал в конюшню к Вахромееву. Во-первых, чтобы проститься. Во-вторых, в записке, как раз над стойлом Спокойного, лежала моя рукопись. Писал, конечно, урывками, но зато, с тех пор как прибыл в лагерь, регулярно переделывал написанное. Много раз ее собирались конфисковать, но спасал закон: рукопись — ценная вещь и должна храниться наряду с личными вещами заключенного до его освобождения. Как ценную вещь, мне ее не выдавали, но позволяли добавлять новые страницы. Выдали полностью после освобождения, потрепанную, со следами жирных пятен. Скорей всего, читал придурок-каптерщик Матвей Смилга — бывший секретарь Зиновьева.

Комнатку Вахромеева я нашел разоренной: дверь распахнута, окно выбито, по полу разбросаны газеты, бумаги, тряпки. Моих тетрадей тут не было. Я нашел их в записке, целыми и невредимыми, перевязал веревочкой и спрятал за пазуху. Уходя, неосторожно стукнул дверью. Тотчас под потолком зажглась лампочка. Свистящий шепот произнес:

— Кто тут?

Этот шепот был мне хорошо знаком. У Вахромеева имелся начальник — тоже бывший зэк, а теперь заведующий конюшней Яков Михайлович Цыва, по словам Вахромеева, прекрасный человек. Несколько лет назад в зоне урки ради развлечения влили ему в горло электролит...

— Спускайся, — прошептал он, — дело есть.

— Где Сан Саныч? — спросил я. Цыва горестно покачал головой.

— Говорили ему... Упрямый старик. Разве так можно? — он вынул из кармана готовальню и протянул мне. — Вот, велел передать...

— И больше ничего?

— Сказал, чтобы ты когти рвал. Петьку вашего в поезде взяли. Сегодня утром. Жака полчаса назад повели. Еще двоих не разглядел. Тебя искали. Сержант Малин здесь сидел, теперь, наверное, обедать пошел, так что торопись...

— Все! Бегу на станцию! Прощайте!

Цыва ухватил за рукав.

— Туда тебе нельзя: пасут. — Он отворил дверь в дежурку. За столом сидел Иван Затулый. — Вот он довезет тебя до Нижней Поймы, там сядешь на дальневосточный и — мимо нас, до Москвы. Счастливчику предлагали — отказался. Жаль. Пропадет хороший человек.

Мы вышли. Возле конюшни, под навесом, чтобы не заметили издали, стоял выдавший виды ГАЗик. Затулый откинул спинку, я забрался внутрь. Цыва бросил в машину какой-то узел.

— Тут твои шмотки. Пальто не нашел. Наверное, Пашка увел. Ничего, в куртке доедешь, в Москве тепло. Трогай, Ваня.

* * *

Утром следующего дня я сидел в купе поезда Владивосток — Москва, одетый в дешевый, но вполне приличный костюм, велюровую шляпу и лагерные ботинки. Мои новые, очевидно, пропали при обыске у Вахромеева. Моими спутниками были два геолога — молодой, безусый, весь в чирьях, и пожилой, плотный человек с густой черной бородой и начинающими седеть кудрявыми волосами. На обоих были одинаковые куртки на собачьем меху, березентовые плащи с капюшонами и болотные сапоги.

Раздевшись, молодой с криканием и стоном забрался на верхнюю полку и, повозившись немного, захрапел. Его спутник, рассовав по полкам рюкзаки,

ружья и какие-то ящики, сел к столику, достал из заднего кармана брюк плоскую алюминиевую флягу и сделал большой глоток.

— Зэк? — он подмигнул мне. — Не беглый? Впрочем, мне все равно, — он сделал еще глоток.

В эту минуту в купе вошла девушка с небольшим чемоданом и, оглядевшись, строго спросила:

— Курящие есть? Если есть, прошу не курить, я не выношу табачного дыма. А девятое место освободите, оно мое.

— Какое счастье! — вскричал геолог. — А у меня восьмое... Да вы проходите, не бойтесь, я не кусаюсь... Давайте ваш чемодан. О! Наверное, учебники. Вы учительница? Начальные классы? Восьмилетка? Неужели средняя? Вы так молоды...

Затем, не дав девушке опомниться, схватил ее за талию и усадил рядом с собой, как бы говоря мне: эта — моя... Бедняжка молча переводила тревожный взгляд с меня на него и обратно. Вероятно, она подумала, что мы — из одной пайки. Жизнерадостный геолог заметил.

— Э! Слушайте, не смотрите на него! Он — зэк. Видите ботинки? А беглый или нет, мы узнаем. — Он явно разыгрывал роль оперативника. Достав какое-то удостоверение, раскрыл его, но заглянул в него сам и тут же положил в карман. — Ну так как, сам будешь колотиться или применить силу?

— Да иди ты!.. — кровь бросилась мне в лицо. Неужели теперь всю жизнь всякий проходимец будет с ходу узнавать во мне зэка? Что же за печать шлепает каждому из нас проклятая зона? — Тебе-то что? Ты же не опер!

Получив отпор, он слегка смутился.

— Верно, не опер. Геолог. Начальник партии и, между прочим, член бюро! — он свирепо взглянул на меня, но затем его взгляд смягчился, он снова достал флягу, сделал глоток и неожиданно протянул ее мне. — Не обижайся. Бдительность — прежде всего. А это — «Армянский». Высший сорт.

Я молча отодвинул его руку. Девушка приободрилась: я не из компании нахала... Подумав, она пересела от геолога ко мне.

— Ну вот, — он разочарованно поджал губы, — даже пошутить нельзя.

— Шутить надо осторожно, — назидательно проговорила она, — чтобы не обидеть человека. А вы так бесцеремонно... Может, этот молодой человек вовсе не из заключения. Правда, ведь? — она с надеждой взглянула на меня.

— Да зэк он, зэк, — презрительно повторил геолог, — только, похоже, не беглый, — он снова отхлебнул. — А вы, по-видимому, едете на место работы? С похвальной грамотой закончено Канское педагогическое училище, и получено назначение в Тьмутаракань...

— А хотя бы и так! — с вызовом ответила девушка. — Все равно вы не имеете права вмешиваться.

— В вашу личную жизнь? Да я и не вмешиваюсь, просто подбираю кадры для своей партии. В настоящий момент мне нужен радист и повариха. Вы умеете готовить? Кстати, как вас звать?

— Ниной, — машинально ответила девушка, завороченно глядя на геолога.

— Отлично, Ниночка, вы мне подходите. Меня зовут Сурен Георгиевич, — двумя пальцами он поправил прядь волос на ее лбу, — так лучше. Люблю красоту и аккуратность.

Нина вспыхнула и... пересела к нему. Скорей всего, до этого ей никто не говорил о красоте, ибо трудно придумать более нелепое личико: круглое, по-детски одутловатое, усеянное крупными веснушками. Брови и ресницы у нее были неотличимы по цвету от кожи, глаза бледно-голубые с крошечным зрачком-точкой.

Но геолог ее уже оставил и обратился ко мне.

— Пойдешь ко мне, парень? Не пожалеешь, честно говорю.

— Я беглый.

— Получишь профессию, будешь зарабатывать больше доктора наук, женишься. Приданое — шестимесячный оклад, трехмесячный отпуск. Ты же умный, я вижу... Решай.

— Вы что, колдун? — спросила Нина.

— Колдун? Пожалуй... Приоденешься как следует, на книжку положишь.

— Я вор-рецидивист, у меня семь судимостей.

— Судимости снимем. Если согласен, сойдешь с нами в Красноярске, в Управлении оформим документы, переночуем в гостинице в номере с ванной, а завтра — в поле. В Саяны.

— Да будет вам! — мне стало скучно. — Сыт я вашими Саянами. Домой хочу.

— Значит, не по пути, — сказал он.

— А я умею готовить! — вдруг сказала Нина.

— Да? Ты что, девочка, в самом деле захотела в тайгу?

— Да. Романтика — моя страсть.

— Э, слушай! — вдруг рассердился он. — Нельзя же так... Надо маму спросить, самой подумать.

— Но я уже взрослая! — настаивала она. — И потом, мне хочется испытать все.

— Да пойми ты! — он наконец обернулся к ней. — Мне нужны крепкие парни. Такие, как он. Но он не хочет. Дурак. Пять человек надо. А у меня всего один, да и тот пальцем деланный. А работа адская, без выходных и отпусков, круглый год без крыши над головой, под дождем и снегом, броски по горам...

— Странная агитация, — сказал я.

— Э, слушай! Это же не для тебя!

— А для меня?

— Каждые два года — отпуск на три месяца. Хочешь, в профилакторий под Красноярск, хочешь — к морю. И все это — с полными карманами. Все девушки твои. Ну, как агитация?

— Учиться хочу, Сурен Георгиевич, не обижайтесь. «Голубая мечта», как сказал один человек. Закончил девять классов, потом сразу на фронт. Потом служба, а потом лагерь. Еще у меня есть дело, которое надо продолжить.

— Э! Какое у тебя может быть дело? Ты же прямо с нар!

— Повесть, Сурен Георгиевич. А может, роман. Пока не знаю.

— Какой роман? Ты что, сам пишешь?

Я кивнул. Он оглядел меня от стриженной макушки до лагерных ботинок.

— Слушай, сколько тебе лет?

— Двадцать восемь. Скоро исполнится...

— Двадцать восемь... Романы надо начинать писать, когда тебе, по крайней мере, сорок. Когда есть опыт и сил еще много. Двадцать восемь! Стихи пишут в эти годы! И только о любви, потому что ни о чем другом думать не могут. И ничего не знают в жизни...

— Чарльз Диккенс написал первый роман в двадцать пять, — напомнил я.

— Хорошо, — согласился он, — если напечатают, пришли почитать. Как называется?

— «Соловей, соловей, пташечка».

— Про птичек? Не присылай. Некогда читать, работа.

— Не пришлю.

Мы замолчали. Но тут подала голос наша попутчица.

— Вы что же, передумали, товарищ геолог? Зачем тогда звали? Я люблю путешествовать. И потом, я комсомолка! Вам что, дороже бывший заключенный? Вы ему больше доверяете?

— Путешествия, романтика... — Сурен Георгиевич потер ладонью колено. — Вот она, романтика: ревматизм! Говорят, на всю жизнь. А звал, потому что — заносит... Как вырвусь из тайги да увижу такой персик, так и заносит... Я еще не старый. Но ты не в моем вкусе, девочка. Поезжай к маме. Моя работа не по тебе.

— Но вы же меня совсем не знаете! — пошла в наступление Нина. — Я спортсменка, мой папа военный, и, в конце концов, вас могут заставить!

Бедный Сурен Георгиевич! После такого натиска он как-то сжался, стал меньше ростом и, не ответив, полез к себе на полку. А я смотрел на Нину. Похоже, она в самом деле закончила педагогическое училище с Почетной грамотой и не представляла до этой минуты, что кто-то станет ей в чем-то отказывать. Чего доброго, в Управление нажалуется. Впрочем, она вскоре успокоилась и начала обстоятельно готовиться ко сну.

А я смотрел в окно. Назад, в прошлое, уносилась

тайга. Точь-в-точь как шесть с лишним лет уноси-
лась назад моя милая Родина. Всегда что-то уносит
от нас неумолимое Время.

Сурен сказал, что я ничего не видел в жизни. Доро-
гой геолог, вас в очередной раз «занесло». Жаль, что
вы уже спите и не слышите. Это с высоты ваших
пятидесяти мои двадцать восемь кажутся детским
возрастом. Но наше поколение не молодо, оно, ско-
рее, слишком зрело. Прямо из детства мы шагнули
в голод, холод, в кровь и смерть. Ваши красочные
описания будней профессии — детский лепет по срав-
нению с тем, что пришлось испытать нам, семнадца-
тилетним солдатам. А потом это несчастье... Вас,
кстати, и это миновало, вы взирали на все происхо-
дящее с высоты Саянских гор, вам платили профес-
сорскую зарплату за то же самое, что мы, зэки, дела-
ли бесплатно. Вы и сейчас на меня смотрите свысо-
ка и даже отказались читать мою будущую книгу.
А зря. Она о людях, с которыми вы наверняка ни-
когда не встречались, потому что их давно нет на
свободе. Они живут только в сталинских лагерях.
Точнее, доживают. Россия, которую они любили и
служили ей верой и правдой, их предала. Оболванен-
ная большевиками, запуганная их неистовым терро-
ром, она отдала своих лучших детей на закланье
Сатане. Уже четверть века Зона съедает их одного
за другим. Так поедает своих детей гадюка. Я на-
шел их уже старыми, больными. Они перенесли горя
и мук столько, сколько выпало на долю всему рус-
скому народу. Самое невероятное в том, что они про-
должают любить свою Родину и, умирая, благослов-
ляют ее на жизнь. Они верят в нее даже теперь.
Последние из могикан, осколки благородного россий-
ского дворянства, дышать с которыми одним возду-
хом не пожелали большевики. Я согласился их вы-
слушать. Они прошли через мою лагерную жизнь, как
луч солнца прорезает тьму, отпечатались в памяти.
Я благодарю изверга и тирана, давшего мне возмож-
ность увидеть их, всех сразу, пока они еще были
живы. Это от них я узнал о своей Родине много
такого, что навсегда постарались забыть советские
историки, что скрыто от молодого поколения.

Вы посылаете меня учиться. Но я прошел в Зоне не один университет. В камере минской тюрьмы профессор Панченко читал мне лекции по химии; в заледенелом бараке на Тунгуске о Белой Армии рассказывал воспитанник Пажеского корпуса Владимир Миролюбов; мне, а не вам доверял сокровенные мысли один из верных стражей революции балтийский матрос Фомин; мне, а не вам каялся в смертных грехах бывший надзиратель с Лубянки; в разговоре со мной отводил душу Герой Советского Союза генерал-лейтенант Крюков. Зона, как будто специально для меня, собрала их вместе.

Конечно, я буду учиться. У каждого должна быть профессия. Но это не помешает мне выполнить свой долг перед вечными узниками большевизма.

После Нижнего Ингаша я уже не отрывался от окна — боялся прозевать знакомый поселок. Неожиданно пошел снег, и к Решетам мы подъехали в снежной круговерти. Сквозь метель я с трудом разглядел в начале перрона отставного вертухая Пашку, а в конце — сержанта Малина. Охранники ёжились от ветра, закрывали лица воротниками шинелей и на окна проходящего мимо поезда не смотрели.

И опять я добрым словом помянул Счастливику — Басова: посоветовал старый лагерник указать в документах конечным пунктом не мой родной Ярославль, а мало кому известный городишко во Владимирской области.

1954—1996

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|------------------------------------|----------|
| <i>В. Кутузов. Об авторе</i> | 5 |
|------------------------------------|----------|

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СОЛДАТУШКИ — БРАВЫ РЕБЯТУШКИ

| | |
|--|-----|
| Глава первая. Шаги | 8 |
| Глава вторая. Пятый угол | 39 |
| Глава третья. Настя любит тишину | 80 |
| Глава четвертая. Красная Фемида | 108 |

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. НИЗКОЕ СОЛНЦЕ

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Глава пятая. Этап | 158 |
| Глава шестая. Дочь комбрига | 197 |
| Глава седьмая. Последнее лето | 222 |

Литературно-художественное издание

Александр Коноплин

ШЕСТЬ ЗИМ И ОДНО ЛЕТО

Редакторы *Т. Н. Спирина, В. Д. Кутузов*
Художественный редактор *Т. А. Ключарёва*

ЛР № 01008 от 30.12.96.

Подписано в печать 18.10.2000 г.

Формат 84×108/32. Печать высокая.

Гарнитура School Book. Усл. печ. л. 14,28.

Тираж 1500 экз. Заказ 69.

Издательство «Верхняя Волга» Министерства РФ
по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций.
150000, Ярославль, ул. Трефолева, 12.

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ОАО «Рыбинский Дом печати»
152901, г. Рыбинск, ул. Чкалова, 8.